



**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ**

# **ДВАДЦАТЬ ДВА**

*Издание общественно-культурного фонда  
"МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ"  
под покровительством комитета ученых  
при общественном совете солидарности с евреями СССР  
Лауреат премии Р.Н.Эттингер за 1984 год*

# **79**

**октябрь-декабрь 1991**

## СОДЕРЖАНИЕ

**ЛИТЕРАТУРА:** Анатолий Добрович. Александру Вернику (стихи). — Семен Гринберг. Разговоры и сонеты (стихи). — Давид Юст. Мандарин. — Людмила Улицкая. Второго марта того года... — Сергей Рузер. В клубе. — Елена Макарова. Два рассказа ..... 3

**ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ:** Советское еврейство — ситуация и перспективы ..... 96

**ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ:** Эдвард Норден. Пересчитывая евреев..... 118

**КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ:** Леонид Кельберт. Еврейское кино в Оберхаузене. — Роберт Алтер. Современная литература и израильский роман. — Лег Оф. О слепоте и бессмертии ..... 133

**ГОРИЗОНТЫ НАУКИ:** Владимир Файвишевский. Что движет историей? ..... 163

**РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ:** Бен-Барух. Человек в поисках и после поисков смысла ..... 178

**СУДЬБЫ ИДЕЙ:** Лутц Нитхаммер. Размышления о пост-истории..... 188

**ЛЮДИ И КНИГИ:** Дмитрий Сливняк. Русский герой в Иерусалиме. Михаил Копелиович. Искусству принадлежит ..... 208

*На последней странице обложки: Виктор Богуславский. Из рисунков 1978 года.*



## ПАМЯТИ ДРУГА

Умер Виктор Богуславский. В одночасье, как резкий хлопок в ладоши, — умер. Посидел с друзьями, чутко выпил, поспорил, вернулся домой, лег и — вот.

Умер один из самых ярких людей алии семидесятых. Человек парадоксального, отчетливого и независимого склада мыслей, человек дела и труда — страстный, веселый, красивый.

Его биография точна и последовательна, судьба плотна событиями, устойчива и жестка — судьба архитектора, очень профессионального, очень гибкого и активного, спроектировавшего и построившего без малого половину поселенческого Шомрона. Его дом и могила — в Баркане, высоко.

Над самарийским пейзажем. Он любил Израиль и строил его. Он сам, вытянутый как струнка, руки в карманах курточки, насмешливый, по-европейски — а на самом деле по-петербургски — изысканный и поэтически неюркий, умеющий, а это в крови, держать спину, он сам был частью нашего пейзажа — природно-каменистого и человеческого.

Виктор Богуславский сел по ленинградскому самолетному делу. Вел себя на следствии и в лагере безукоризненно. Так всегда вел он себя с противниками. Иронично, холодно. И безукоризненно. Основным его качеством было — самостоятельное, личное, этически отчетливое обоснование поступка и жеста: качество благородства и великодушия.

Он умер молодым, как жил и действовал, и поступал. Умер в пятьдесят лет молодой смертью.

Он был азартным полемистом, публицистика его всегда носила незатертый оттиск его личности, только его опыта, автограф его персональной судьбы. Он был пристрастен. Его пристрастности было на что опираться — она опиралась на честь, ум и страсть.

Виктор Богуславский был одним из основателей нашего журнала, постоянным членом редколлегии, нашим постоянным автором. Спасибо ему. За то, что он был нашим другом. Таким мы его любили. И любим.

Могила его в Баркане.

Нагорье.

Высоко, под самым небом Израйля.

Он так хотел.

## ЛИТЕРАТУРА

Анатолий Добрович

### АЛЕКСАНДРУ ВЕРНИКУ

*Скажи мне кто двенадцать лет назад,  
что вдруг по-бусурмански трекать стану, —  
я б рассмеялся шутнику в лицо.*

*А.Верник*

На балалайку — ту, которая на "тум", —  
невольная настройка дум.  
На флейты Питера, гитары подворотен.

Перед лицом твоим, Ерусалим,  
мы что творим? — стихами русскими сорим.  
Татарской воли путь бесповоротен.

А в тех стихах ни стебель и ни ствол  
не проскрипел, и персик не процвел,  
и не пробился запах флер-д'оранжа.

На холмах Друзии ночная мгла суха.  
Нет капилляров у стиха —  
вобрать не то, что было раньше.

Евроазиатский глаз дерет пейзаж скупой  
без маковок, лугов и пойм.  
Но плотен ямб александрийский.

И чем вольней ненужный русский дар,  
чем герметичнее словесные изыски, —  
тем крепче кость и подлинней загар.

### ЭЛЕГИЯ

Нашей родины формат карманный,  
лик ее террасный и барханный  
сообщают вертикаль уму.

Глыбы, камни, черепки повсюду:  
То Гончар небесный бил посуду,  
не понравившуюся Ему.

Вот секрет особенности края:  
это — брошенная мастерская.  
Мы Ему опять не удалось.

Чтобы в этом живо убедиться,  
выйди в город, погляди на лица,  
вникни в излагаемую мысль.

Для того мы вышли из Египта?..  
Мелочно, корыстно и негибко  
жизнь влачится, злобой налита.

И опять о снувшемся, о мнимом,  
о желанном, но неисполнимом  
говорят священные места.

### ИНОРОД

На том, как делается жизнь  
без осуждения сошлись  
румынский лавочник и сутенер тунисский,  
бакинский замначснаб и польский адвокат.

А нам, пожалуй, поздно отвыкать  
от слов про звезды и про путь кремнистый.

Московско-петербургский инород,  
летевший первым в зал, потом из зала —  
с мерцанием пенсне, цитат, острот —  
его корова языком слизала.

Вот разве шляпу вежливо стащить,  
когда беззлобно и невинно  
выглядывают вор и ростовщик  
из-за спины солдата и раввина.

Прости нас, родственник. Земля — она твоя.  
А мы — с луны. И нам еще неимется!  
Мы замолчим. Есть Бабий Яр немотства:  
сухим ивритом поросли слова.

## СТИХИ ПОСЛЕ ПУТЧА

Прийти к тебе гостем заморским,  
чтоб терся о грудь что ни шаг  
не крестик, добытый притворством, —  
мой древний, мой царственный знак.

Без слова обнять тебя, вместо  
слащавых и едких гримас,  
покорно-ныряющих жестов,  
пугливо-бессовестных глаз.

На санках слетать по-ребячьи,  
сплясать со стаканом в руке,  
на Лене с братвой порыбачить,  
лениво проплыть по Оке.

Винясь, что уже не с тобою,  
а все разделяю судьбу,  
подумать: "Ведь я для того и..."  
Но сразу — губу за губу.

Прийти к тебе гостем заморским .  
Пройтись многозвонным Загорском,  
где все еще Бог — полу-Бог  
и храм еще — детский лубок.

Откладываю на завтра  
покупку билета домой,  
среди шумного бала внезапно  
заплакать: я выкормыш твой.

Вернуться озябшим и грустным  
в мой древний, мой царственный град,  
где жить мне евреем на русский,  
на русский, на собственный лад.

## РАЗГОВОРЫ И СОНЕТЫ

Смоленской области в деревне Пятидворке,  
Где, собственно, не пять, а только три избы,  
Где под березами тесовые столы  
Уставлены бутылками водки,

Царит спокойствие — ни траурно, ни горько,  
И дым, как продолжение трубы,  
И пятна озими, и белые стволы,  
Горстями семенящие с пригорка,

Где, омываемы невидимой водой,  
Вступают в лес, белесой чередой,  
Гусиные отбрасывая тени,

Которые хранит и стелется Десна...  
Дай, Господи, покоя мне и сна.  
Покоя полного и сна без сновидений.

\* \* \*

Где солнце засветло касается дерев,  
И сразу не понять, где был, где небылица,  
Где жало соловья ломается, как спица,  
Где лад его и боль, плевроит или припев,

На шаткое крыльцо ступаю, захмелев,  
Из темноты избы, где теплится божница.  
Глубокой ночью луна-отроковица  
Плывет среди Весов и голенастых Дев.

Тела мужчин остались в глубине  
За дверью, в позах Ноевой и Хама,  
На струганом полу, понятные вполне.



Я возвращаюсь к ним, напившись из-под крана,  
Наощупь поискать на самом дне стакана  
Смеси отчаянной — сивухи с каберне.

\* \* \*

Трава в поселке так же хороша,  
Все те же подорожники и кашки,  
Знакомый бич в оранжевой рубашке  
Лежит у магазина, не дыша.

Поодаль, где парит его душа,  
Где царствуют стаканчики и чашки,  
Официантки глянцевого ляжи  
Мерцают под подолом шалаша.

И в полумраке не хватает щелки,  
Чтоб разобрать, куда нас занесло,  
Зачем снуют потертые кошолки,  
Как выбраться, где чисто и светло,  
И по траве ведет на берег Волги  
Босых бутылок битое стекло.

\* \* \*

И вновь я посетил знакомые места.  
Здесь каждый бич со мной запанибрата.  
Как в объективе киноаппарата,  
Дома вниз головой кидаются с моста.

На старом кладбище могильная плита  
И эпитафия: "Усопший рановато",  
И имена вдовы, отца и брата,  
И больше ничего — ни древа, ни куста.

Теперь бы выкинуть благочестивый трюк  
И причаститься в местном магазине,  
Но холмики утоплены в полыни,  
Они, как девочки, не угадаешь вдруг,  
Где Волга полосой темносиней  
Очередной опишет полукруг.

\* \* \*

В начале января истаяли снега,  
Московская зима пообветшала,  
А помню, некогда она иной бывала,  
И было правильно — морозы и вьюга.

Не только Чистые, но Яуза-река  
Всю зиму напролет закованной лежала,  
И, как в трубе, метелица летала  
От "Колизея" и до "Спартака"

Идешь по Лялину, лицо в воротнике,  
Дымы стоят, как белые растенья,  
Ровесники мои — лет десять от рожденья  
По Харитонию несутся налегке,

Две домработницы в солдатском окруженье,  
Музыка на невидимом катке.

\* \* \*

Не то, что пьяные — веселые слегка,  
Мы вышли, наконец, из-за забора,  
Покинув на снегу осколки разговора  
И желтые зигзаги кипятка.

Остались позади два здания ЦК —  
ЦК КПСС и комсомола.  
На взгляд со стороны: идут три мужика,  
И на троих — два головных убора,

Две шапки то-есть. Савченко молчал,  
А Ларин шел уверенно и прямо —  
Недалеко, еще один квартал.

Нетрезвый Ларин в роли Дон-Жуана!  
Он даже имена перечислял:  
Моя — Надежда, Ларина — Татьяна.

\* \* \*

А Савченко? А Савченко ушел.  
Одной бутылки оказалось мало,  
И он отправился на площадь трех вокзалов,  
А Ларин поплутал, но вспомнил и нашел

Нас, правда, ожидал накрытый стол,  
И та, потолще, все-таки сказала:  
— А где же третий? "Савченко — осел",  
— подумал я и выпил из бокала.

И сел, и посмотрел на женщину в очках.  
Она, легко покачиваясь, встала,  
И, медленно струясь, исчезла на глазах.  
Все говорили. Музыка играла.

\* \* \*

Я вышел за полночь и поглядел окрест.  
На площади, где Юрий освещенный  
Над нею водрузил свой долгорукий жест,  
Мужик, издалека похожий на бочонок,  
Вблизи торчал, как позабытый шест.  
Просеменили мне наперерез  
Две запоздалицы — барашек и козленок.  
Метро закроют! — времени в обрез,  
Водителем троллейбус оснащенный  
Катил по заводу ненаселенных мест.

Последний спутник нынешнего дня,  
Ни слова вымолвить, ни осушить стакана,  
Он подберет и уведет меня  
От бронзовых коленок истукана,  
Руки простертыя и ног его коня.

\* \* \*

Последние у Битцы остановки  
На них и закругляется Москва.  
Здесь елочки — английские булавки  
И фонарей пугливая кайма.

И деревья — одни стволы и ветки.  
Почти на каждой птичьей голове  
Капешки снежные, как меховые шапки,  
Надвинуты навечно до бровей.

Полночный мир, заснеженный и древний.  
Когда на небе теплится луна,  
Похожи на вечерние деревни  
Неверно освещенные дома.

## МАНДАРИН

Представим себе, что некто декламирует кипплингово рьяное  
"Запад есть Запад,  
Восток есть Восток,  
И им не сойтись вовек"  
сладко и сентиментально, как, допустим, верленово  
"Я слышал твой голос,  
Пронзительный и фальшивый"  
или еще лучше:  
"Прости и забудь  
И не обессудь,  
А письма сожги, как мост".  
Припишем ему, вдобавок, обычное азиатское косоглазие.  
М. Поло, "Мемуары"

Свет вливался в окно, неяркий поначалу, зато он прибывал с каждой минутой, как морская вода в полнолуние в часы прилива, и надежно укрытые в углах, щелях и в крошечней тени прозаические детали выступали по одной, пока все четыре стены, наконец, не соединились. Тогда стало ясно, сколь немного от одной до другой — очень немного.

Н. сидел в бамбуковой качалке, сгорбившись и надев на руку, как муфту, пухлую коричневую игрушку. Он для того и встал пораньше, чтобы встретить рассвет, но ожидание затянулось, он почувствовал себя уставшим и задремал, и вот невидимое солнце прорезало горизонт, а он все еще сидел с закрытыми глазами. Солнце сделало свое дело, но, как он и думал, хорошего самочувствия это ему не принесло. Пока было темно, он мог сидеть, сгорбившись, смежив веки и обманывая себя иллюзорными обещаниями, но теперь уже нет, и хотя ему и не спалось, он до поры до времени ничего не видел — ни стен комнаты, ни неба, ни моря, ни, тем более, земли. Оставалось, как в бреду, как в колыбели, думать о своем здоровье и, тяжело вздыхая, качаться на стуле, отталкиваясь от пола.

На стенах — еле три метра в ширину и два в высоту каждая — образовывавших идеальный квадрат, висели выцветшие гобелены, большей частью на охотничьи сюжеты, почти все светло-коричневые и отливающие серым, подобранные с большим вкусом — но давно. У стены, на которую уже с минуту падал свет, стояла узкая монастырская кровать, аккуратно занавешенная клетчатой тканью. Остальная мебель — всего-то

два плетеных стула, маленький круглый стол, шкаф на витых ножках и пресловутая качалка — была, как и gobелены, не первой молодости и стоила когда-то больших денег. Когда-то все это было в моде.

Да, разумеется, и странно, что Н. еще помнил об этом. Шестьдесят пять лет. Если бы он еще сам их купил — куда ни шло. Но он даже не знал, кому они в те благословенные времена принадлежали. Каково все-таки воздействие земного тяготения — он еще помнил, как обставляли летние домики тридцать лет назад. Речь идет, разумеется, о второразрядных щеголях, его ровесниках, но что ему теперь до них, а нынешнему миру и того меньше. А он все-таки помнит. Когда — в 1882 году.

Две-три книги, стакан в серебрянном подстаканнике с ложкой внутри и желтый луч, плещущийся на ней, — и еще пестро раскрашенная глиняная маска и черный хлыст, тоже не со вчерашнего дня висевшие на стене, — не очень-то много. Н. обвел комнату взглядом, как докучливую компанию, когда ищешь одиночества или стесняешься окружающих, — и взгляд его медленно потянулся от сияющей ложки к иллюминатору, в который, наверно, уже заглядывало солнце, только из другого угла.

Качки совершенно не было, и не только сегодня. Тинь-Ха славилась прозрачностью и приятной незамутненностью своих вод, и Н. уже имел возможность это обстоятельство оценить. Уже давным давно, вообще-то с тех пор, как они прошли пролив, нет, еще раньше, после того, как вошли в южные воды, яхту не качало и не полоскало на ветру. "В заливе, — сказал ему дражайший К., — круглый год тихо, как на озере средней руки, и ветер морщит его не больше, чем лужу." Н., ясное дело, не поверил, но не удивился, когда выяснилось, что К. прав. Впрочем, ветра тоже не было. Что-то служило тому причиной — мелководье, впадина в открытом море, где, говорят, водятся загадочные рыбы, зеленые холмы на западе или черная базальтовая гряда на востоке, отчасти уходившая под воду, — почему нет, более того, все это можно было бы назвать стечением обстоятельств, если бы Тинь-Ха не оставалась в любую погоду тихой, как блюдо с вареньем, так что даже в проливной дождь было видно, какую дробь отбивают на ее синей поверхности капли пресной воды.

Совсем рассвело, и розовые дуги, расцветшие с трех сторон, сдернули стоявшую над водой полосу тумана, как сдергивают покрывало с предмета, который хотят продемонстрировать в выгодном свете, и бухта засветилась в сиянии наступающего дня. Н. знал, что это ненадолго — солнце поднимется выше, розовые блики улетучатся, берег станет зеленым, море — синим, а проявления восторга — совершенно неуместными, во всяком случае для тех, кто привык к соленой воде и чистому воздуху. Тогда он и поднимется на палубу. Что же до того, что одновременно розово и непреходяще — лепестков жасмина, цветущего на краю частных делянок, спускавшихся почти к самому берегу, — то он, слава Б-гу, во-

время распорядился отплыть подальше, пока они не приелись, — главное, от их пронзительного запаха не закладывает нос.

Бухта обходила маленький корабль правильным полукругом, впрочем, обманчиво правильным — любой залив представляется изнутри, а тем паче с берега, более вогнутым и безопасным, чем следовало бы. Так скала или дерево, если на них взобраться, кажутся сверху очень высокими, а с земли, снизу, напротив, какими-то недомерками. Так залив на карте — всегда страшно мал, и все тут.

Корабль, большая паровая яхта, с пышным белым парусным оперением, почти бездействовавшим, но довлевшим над синим и зеленым, на фоне которого черная труба казалась нелепой и глупо встроенной, тем более, что из нее давно уже не валил дым — хотя именно она дотащила яхту в Тинь-Ха несмотря на многомесячный штиль — корабль стоял в полукилометре от берега, как и требовало письменное предписание, наклеенное на его борт в Шанхае. Берег казался с корабля узеньким зеленым браслетом, гладеньким, как и должно браслету, так что маленькие неровности, возникшие где-то посередине, там, где чайные домики вгрызались в горизонт, вполне могли сойти за зубчатые ниши, уготованные для драгоценных камней, которыми его не успели украсить. Только кое-где домики, выступившие из тени, казались белыми под прямыми солнечными лучами — точь в точь как блики света на металле. Н. знал, что там, на берегу, — бескрайние рисовые поля и фруктовые плантации, но знать — совсем не то, что видеть или верить, с тем же успехом можно было подойти вдвое ближе или насколько там позволит осадка или отплыть вдвое дальше — откуда угодно берег должен был казаться ровным убаюкивающим браслетом, да до какой-то степени он им и был. Кстати, береговым жителям даже не пришлось в голову выкрасить в зеленое дощатые мостки, далеко уходившие в воду, — они так и остались некрашеными и потемнели от водорослей и едкого воздуха.

Бухта вполне оправдывала свое название. Свежий утренний ветер несколько не колебал мраморно-сине-зеленую воду, даже не рябил ее, хотя и одевал в белые барашки крутые корабельные борта. Местные рыболовные суденышки уже кружились на порядочном расстоянии от берега и от корабля одновременно, видимо, оттого, что они мешали им в равной мере. Их по-азиатски изогнутые паруса легко скользили, почти прижимаясь к воде, откуда-то добирая скорость и вращательный момент, которые недодавал ветер, пока наконец не застывали на заранее уготовленных местах по воле своих хозяев. Рыбаки, которые провели ночь в море, возвращались домой в то время, как их отдохнувшие коллеги, отстоявшие свое у берега, спешили им навстречу — но это были запаздывающие птички, поскольку все, кого по-настоящему заботил улов, вышли в море и откружились еще до рассвета. "Счастливые люди, — поду-

мал Н., — дабы поймать свое, им достаточно выйти в море пораньше и удачно выбрать место. Во Франции им пришлось бы обзавестись большими кораблями, глубоководными тралями — и все равно этого было бы мало". Постепенно вода из мраморной стала синей, гораздо прозрачнее, так что внимательному наблюдателю могло показаться, что зашевелились камни на дне. Потеплело, да так, что на солнце стало жарко, хотя стоял уже поздний октябрь.

Да, в 1882 году. Это он, пожалуй, слишком хорошо помнил, к чему — неужели к тому, что, куда не ткнись, всплывает дата, наводя на беспардонную мысль, что все, что с ним или на его веку приключилось, именно тогда и приключилось и никакая другая и не запомнилась, а на самом деле — всего-то последний относительно благополучный год, идущий по иному счету. Можно дотянуть и до 1883 года — почему бы и нет? Но это было уже потом. Это когда Проспер О. — он так гордился своей древней аристократической фамилией, скорее, в общем, аристократической, чем древней, что Н. иногда очень хотелось доказать, что она украдена, — старший пристав округа, явился рано утром, когда Н. еще спал, и описал его обстановку. Кое-какие предметы он мог, хотя и не без труда, припомнить, выкупленные, те, которые он потом сохранил, даже чернильные пятна, оставшиеся на стульях там, где к ним прицепили густо исписанные чернилами бумажки. Он жил тогда в департаменте Сены, в модном старом квартальчике, задешево снимая второй этаж обветшалого исторического особняка и уже десять или двенадцать лет сохраняя его за собой, — даже в самые худшие времена, когда ему бы тесниться в двух комнатках, — наверное, только оттого, что дом и улица упоминались в романах из парижской жизни и в местной хронике уже по меньшей мере двести лет, ну, а с тех пор, как по ним прошло перо Лакло, они стали неуязвимой, хотя и не слишком бережно хранимой классикой.

Да, а свою часть деревни пришлось даже не продать — уступить, все равно сохранить ее не было никакой возможности, особенно при его тогдашнем образе жизни. Это, пожалуй, хорошо, что тогда — через год или два ее пустили бы с торгов, ведь он тратил — какая разница сколько — и ничего не зарабатывал. В 1883, нет, в 1884 году, ранней весной, он снова сунулся в свои бывшие владения, ему было жалко старый родительский дом, но новые хозяева не собирались его продавать, а он не хотел крупно переплачивать и оттого удалился несолоно хлебавши, всех разочаровав, но с чувством исполненного долга.

Он должен был, пожалуй, почти миллион этих самых франков, теперь он отсчитал бы эту сумму, не охнув, и пустое дело мерить пульс — как меняются люди — а тогда свет так сошелся на этом долге, что он начал всерьез подумывать о самоубийстве — даже интересно вспомнить. В итоге он доигрался до того, что Жозеф М., чертов психопат, сказал ему,



когда они пили кофе вдвоем, затворившись в его затхлой, наглухо закупоренной и несколько гнилой квартире, увешанной кровавыми манекенами, — наверное, отсюда его нынешние светло-коричневые: "Если уж о самоубийстве, то почему не об убийстве, мой мальчик?" Скоро должна была вернуться его любовница, он поглядывал на дверь и оттого эти слова звучали особенно веско. Он никак не мог вспомнить ее лицо, но и то — разве упомнишь чужих любовниц? Что до сути дела, идея ему не то, чтобы понравилась, а, скажем, прозвучала, самое меньшее — показалась здоровой, нормальной, как на войне: почему бы не продать жизнь подороже, раз уж до этого дошло? Если бы действительно можно было за дорого уступить руку, ногу или литр-другой благородной крови! Жозефу приходилось и того хуже — он вообще ничего не стоил, и если бы не считалось, что он ждет наследства, кредиторы сжили бы его со свету.

Тридцать лет назад, даже с хвостом. Н. удивился: странно — что это ему вдруг пришло в голову выкупить дом? Что бы он стал с ним делать? Чудес не бывает, былой уверенности в себе дом бы ему не вернул, да и былого здоровья. Может, стоило попытаться выкупить прежние времена, почему нет, но как далеко это могло его завести! Допустим, накупить мебели, если не настоящей тогдашней — она уже развалилась, наверное, — то похожей. Посуда. Он ее видел не так давно в фешенебельном магазине, недалеко от памятника наполеоновскому лихачу, там были даже медные водопроводные краны той эпохи. В чем нет недостатка — это в деревяшках времен Империи, уж больно они прочны. Наверное, неудачный исход войны породил противоположную тенденцию — наши недолговечные стульчики. Хотя, впрочем, лет через двадцать, глядишь, эта дрянца будет цениться наравне с бесподобной мебелью времен Людовика XV, которую, впрочем, современники ругали за аляповатость. Но ее хоть берегли, а в таком случае долго ли стать частью истории? Так что нет ничего невозможного — но даже если все это купить, расставить и поселиться внутри, укутаться гобеленами и опустить ставни — что с того? И что дальше — заказать устрицы? Это может, конечно, вернуть нечто вроде ощущения молодости, но в нее и так легко вернуться, достаточно перечитать дневник или любовную переписку, и кто поручится, что при этом он будет чувствовать себя свежим и легкомысленным, как тогда? Можно избавиться от всего на свете — от опыта, от возраста, от седины, только не от старых травм. Есть все же что-то, что не восстанавливается. Вот, некто, вероятно, человек легкомысленный, замыслил опровергнуть древнего грека. Потом это история стала источником вдохновения для молодых остроумцев, и уж наверняка для нынешних мыслителей. Но Н. не имел обыкновения изучать философские труды.

Что из этого вышло? "Какая разница, — заметил он, — почему бы не войти дважды в одно и то же море? Вы скажете: другая вода, та испа-

рилась, ушла в песок, пролилась, — кто ее знает, — но это убедительно только для тех, кто обращается к проблеме не во всеоружии. Все остальные легко совладают с таким нехитрым вывертом, непривычным, конечно: не бывает воды старой и новой, той и этой, вода бывает только пресная и соленая, вернее, разной пресности или солености, и стоит она все на тех же пяти саженях. Тому доказательство — да это больше, чем доказательство — вот я войду в нее и почувствую то же самое: прохладу, влажность, вязкость; выйду, и с меня будут капать капли, — и что, — кто-нибудь уловит разницу? Пока я сам не изменюсь или не переменятся обстоятельства, река — та же река, простите, море. Вот что значит жить в конце девятнадцатого века!" Хотя прошло добрых двадцать лет, Н. еще помнил этот разговор. Надо быть в высшей степени философом, чтобы до такой степени отключиться от действительности. В ней есть такой философский фактор, как внезапность. Никто из нас, впрочем, с философией не в ладах. Эта речь была встречена продолжительной овацией, а потом слушатели понесли оратора на своих плечах к Сене. Бедняга был до такой степени упоен успехом, что не сразу понял, что его ждет. Под громкий визг студенток его раздели и бросили в воду. Вся прелесть в том и заключалась, что он был превосходный призовой пловец. На следующее утро на двери факультета была припиlena фотография, сделанная после одного его удачного заплыва, — он победно воздымал ладони. На сей раз, однако, он выскочил из воды как ошпаренный и помчался в ближайший подъезд с громкими воплями — шел февраль месяц. Жестокая шутка! По слухам, Скаррон после чего-то в этом роде стал инвалидом. К счастью, сфотографировать эту сцену было невозможно, не та погода, к тому же он ни в коем случае не согласился бы позировать. Значит, в историю она не войдет. Несчастный англичанин!

На стенах висели пышные густо-красные гобелены, которые почему-то казались ему коричневыми. Наверное, при искусственном освещении.

— Правильно, — сказал Жозеф, только с чересчур задумчивым видом, — если уж так худо, отчего не попробовать иные, не столь радикальные средства? Так многие делают. Только самые недалекие люди полагают, что взять с трудом отложенные, а то и последние пятьсот франков и отправиться в игорный дом — это и значит бороться с нищетой до конца. Вообще-то это предел разложения. Пусть так. Но оставим мораль философам. Меня занимает суть дела. Какое же это крайнее средство — ведь в точности так поступают и те, у кого нет никаких материальных проблем, просто развлечения ради. Проиграться и потом пустить себе пулю в лоб! С другой стороны — не грабить же банк!

Нет, если ты готовишься к самоубийству, подумай сначала об убийстве. Прежде чем потерять все (ведь ты атеист): будущее, жизнь, социальное лицо, поступись частью — моралью, привычками, прочими

внутренними органами. Может, подвернется ягненок, запутавшийся в кустах, и чинно-благородно овцы будут целы, волки сыты, да и вообще несколько лет тюремного заключения и угрызения совести — это еще не высшая мера. Брось десять моралистов в воду, за ними — один спасательный круг, и увидишь, как они будут топить друг друга за волосы.

Подскажу как.

Рассуждение разумное, только нужен ли ему для этого Жозеф? Все это уже сто́ раз мелькало в его собственной голове. Был ли он вообще? Был — ибо необходимо услышать это из чьих-нибудь уст. Но кто еще ему это нашептывал — здравый смысл, "живой пес лучше мертвого льва", мудрейший из людей или демон-искуситель? И какая разница?

Н. покачал головой и остро почувствовал, какая она старая. Разумеется, он уже не тот, и колебания на моральные темы вроде бы не для него — затряс головой, и песок посыпался. Разве в те времена у него кружилась голова, плыли черные круги перед глазами? Старость — да, но не так уж он стар. Скорее всего, просто поступил не совсем правильно.

— Разумеется, — сказал он Жозефу, — в точности по Руссо: согласились бы вы убить движением мизинца старого китайского мандарина, обремененного всеми мыслимыми болезнями и пороками, для которого каждая минута жизни — мучение, все это — даже без того, чтобы хоть раз его увидеть, с тем, чтобы унаследовать его состояние в десять миллионов? Кстати, откуда это — "Исповедь", "Эмил" или "Новая Элоиза"? Он, ясное дело, не прикасался к Руссо с лицейских времен. Жозеф тоже, но, может быть, у него была хорошая память. На столике сверкали голубые стеклянные бокалы, на две трети наполненные вином и отливавшие льдом. Наверное, они обменивались улыбками. Он сам ответил.

— После того, что ты сказал, собственно, не ты, Жан-Жак, вернее, имел в виду, — нет, тысячу раз нет, что и требовалось доказать, — до конца, до крайности. Обрати внимание — убить, а не умертвить, это более соотнобразуется с синтаксисом, да и со стилем тоже, почти напрашивается — чтобы никто не сказал, что это все равно. Жан-Жак не позволил увернуться, не в его правилах — никаких мук, кроме умозрительных.

Отчего же было Жозефу его не понять? Впрочем, разве это не то же самое, что знать заранее?

— До конца — да. До самого конца. Ну, а потом, в последний момент, с пистолетом у виска? Другое дело?

— Другое. Понятно, да, один раз да. Чужая жизнь всегда дороже своей собственной, но если заодно и страх, и соблазн... Кто возразит... Руссо и сам бы не удержался. С пистолетом у виска.

— Превосходно, — сказал он. — Вот и подпиши.

Он думал больше о поклепах, которые Руссо сам на себя возвел в старости без того, чтобы его об этом просили, читайте "Исповедь", куда как

хлеще. И не то чтобы после этого книга стала легче читаться. Дети, которых он, будто бы не желая воспитывать, отдавал в приюты — ложь, которую современнику ничего не стоило опровергнуть, а мы не можем, хотя известно, что это чушь на постном масле... Ему было важнее всего разоблачить собственный снобизм, якобы болезненный, поэтому, согласно книге, он сгорал от желания попасть в скучнейшие великосветские салоны, — он забыл, воодушевившись, что повествует о временах, когда гремел и был нарасхват, — и его звонкие уходы с королевских приемов объяснялись банальным недержанием мочи, не позволявшим ему там задерживаться. Мы, разумеется, так и поверили. Во Франции издавна бьют себя в грудь, каясь в вымышленных или, еще хуже, чужих грехах, чтобы скрыть настоящие. Ни в одной стране его признания не были бы сочтены доказательством, следовательно — и то насторожился бы. Но у нас импотенция хуже убийства, как простота хуже воровства. Нет, все-таки убил. Балзак страшно любил эту историю. Д-р Бьяншон у него признавался, что на днях приканчил одиннадцатого мандарина.

Чего Жозеф хотел? Он вел себя себя как торговец недвижимостью, знающий, что даже если покупатель убежит, товар останется и, следовательно, он теряет только время. Весь разговор, с вступлением и заключением, занял четверть часа. Что он сделал с бумагой? Н. признавался, что этот вопрос до сих пор беспокоит. Если бы не документ, развитие событий можно было бы считать чем-то вроде лотереи — падает же в итоге на кого-то жребий. А так это форменное жульничество, если не хуже. Н. натолкнулся на опасное замечание философа-циника, ляпнувшего раз, что все известные ему невероятные истории невероятно плохо документированы, что странно, если помнить об огромном их количестве, поэтому их невозможно расследовать и обсуждать в позитивном духе, зато тем более легко внушить. Может быть, некоторые из них действительно имели место и не имели рационального объяснения, но все-таки, по видимому, концептуальный взгляд на невероятное изрядно зависит от веры в чудеса. Из правила, разумеется, есть исключения, но в том-то и дело, что в жизни мы с ними не сталкиваемся. Нам остается только решать, во что верить, а во что нет. Этой теории, подумал Н., еще стать философией и размыть наше отношение к морали, но вообще-то она хоть и претендует, а все равно не может помочь тому, у кого в прошлом такая подпись. Невероятно, чтобы он имел отношение к дальнейшему, суд отвергнет это предположение, но не из-за его абсурдности, а из-за недостаточности улик. Согласно этой теории, доказательство доказательству рознь. Во что легче поверить — что он виноват или что все это чушь? А потом — кто он знает, что произошло на самом деле? Если начать делить всех, кого суд оправдал — кстати, именно суд утвердил его в правах на наследство, — на правых и виноватых, где конец и край?

В те времена Н. еще содержал А. Странно, что он сохранил в памяти ее имя, но наверное, это оттого, что содержать ее было невероятно трудно. Отчасти из-за нее он и разорился — она проедала две трети его доходов, да еще вперед. Из тумана, витавшего над давними воспоминаниями, иногда, чаще всего в неподходящий момент, проступали ее черты, и, следует признаться, она до сих пор представлялась ему очаровательной. Он и сейчас узнал бы ее подпись. Откуда бы ни брался туман — Н. невольно посмотрел в окно, на запад, дымка, окутывавшая юго-западную часть берега, рассеялась начисто, — но не от давности, — ведь жозефовы бокалы и гобелены он и сегодня мог потрогать — а из-за возраста, из-за происшедших с ним перемен. Она была первая, кто всполошился, и правильно — они и разошлись. Он воспринял великую новость куда спокойнее, впервые в жизни смирно, по-азиатски улыбнулся, опустил глаза долу, смежил веки и стал рассматривать поочередно ножки стула и брюки собеседника. Новость его не столько обрадовала, сколько испугала.

Его собеседником был нотариус Б., опытный, старый, давно уже с трудом передвигавшийся, вызвавший его в свою отнюдь не фешенебельную контору, обставленную мебелью, неплохо имитировавшей красное дерево. На стульях, равно как на панелях, сорок лет назад навинченных на стены, взгляд отдыхал. Тело тоже — ни один из них не шатался, даже обивка не протерлась. Еще раньше, едва прочитав письмо, присланное ему Б. с нарочным, еще не переступив порог, Н. почувствовал, что поздравления слишком сдержанные и жиденькие, может быть, чересчур — почтительные — плохо увязывающиеся с унаследованной цифрой. Что, собственно, ему до этой сморщенной физиономии, вдобавок давно покойной, впрочем, точно он не знал, разве что из общих соображений, но таков уж порядок вещей — не прожил же он сто десять лет, да и не за что ему, добропорядочным он стал, только когда потерял интерес к молодым женщинам. Но нет, — Н. беспомощно покачал головой и облизал губы — он не мог вообразить его мертвым, тот, кто не умер, — живет, ползает, невозможно умертвить человека в воображении, но завидев, хоть издали, похоронную процессию, так легко выбросить этого самого человека из головы! Оттого-то так живучи безымянные герои, через шестьдесят лет бойко свидетельствующие о войне, и малевальщики столетней давности, вдруг ставшие знаменитостями... Они-то, по крайней мере для обывателя, более чем живы, ибо он не только не присутствовал на их похоронах, но даже не читал о них в газетах.

Н. встал, с трудом выпрямился и медленно обошел свою конуру. Как-то можно сделать так, чтобы свежий воздух проникал внутрь, но он все забывал — надо бы спросить. Не выходить же наверх проветриться. Да и ночью — он изо всех сил вцепился пальцами в спинку бамбукового стула. В такой позе он и выслушал Б., его получасовую речь, иронически

почтительную — ибо старые нотариусы не испытывают большого уважения к деньгам.

Одно из четырех, даже трех крупнейших наследств года. Н. подумал, слегка посмеиваясь, что это еще не восточное богатство, — тогда у него были явно преувеличенные представления о Востоке.

Б. высказался весьма определенно. Вообще-то, столь значительные завещания обычно оспариваются, тем более, что мотивы покойного совершенно неясны. И, кстати, деньги должны оставаться в семье, это старинная французская традиция, закрепленная законодательно и восходящая к салическому праву, — но он не будет злоупотреблять его вниманием, — к тому же почти всегда есть что оспаривать. Поэтому-то правительство республики и провело закон, ограничивающий право граждан распоряжаться своим имуществом после смерти. Прежде всего, он не может лишить наследства жену и детей, — разумеется, вы бы и сами не согласились, но в данном случае... — в данном случае их нет, тогда в игру вступают другие наследники, а то и государство. Но наследников нет, родни тоже. Поэтому — Б. так и сказал — его настораживает не столько необычный характер завещания, — чего не бывает, — сколько то, что его абсолютно никто не оспаривает и, по-видимому, оно будет реализовано в полном объеме. Он тщательно проверил — на активы никто не претендует, такое ощущение, что покойный на протяжении многих лет очищал их от долгов и претендентов, — так что он, с одной стороны, поздравляет Н., а с другой — он аж замялся — советует ему призадуматься, что все это может значить. И если верно, что за все на свете приходится расплачиваться, то ничто не обходится дороже, чем дармовщина.

На обратном пути Н. с удовольствием — он и это запомнил — держался около пыльной, зеленоватого стекла витрины лавки восточных редкостей, собственно, не таких уж редкостей, просто в те времена мало у кого в доме стояли китайские диковинки. Разумеется, Н. было невдомек, что все это не так уж и безобидно. Он хотел купить китайскую вазу, превосходную, с неповторимым рисунком, но чертовски похожую на сотни других, которая, однако, украсила бы его салон или лукообразную арку над окном, но, поддавшись внезапному порыву, приобрел вместо нее несколько грошовых гравюр, сделанных черной тушью на толстой желтой бумаге, — все это несмотря на то, что ваза матово поблескивала и как будто напоминала, сколько она стоит.

И все-таки — если он ее не купил только оттого, что все они, как счастливые семейства, похожи друг на друга, то что же? Разве не следует быть умнее? Так можно скомпрометировать любой разумный поступок, кроме того, все китайские вазы отличаются друг от друга — правда, тогда он так не считал. А потом — двадцать лет изучать этот узор? Да и как эти различия уловить? Стало быть, он правильно поступил.

Результаты не заставили долго ждать. Очень скоро он разошелся с А., Аннет. Еще недавно каждая третья его мысль разбивалась о ее звонкий позвоночник, и это было совершенно нестерпимо. Каждая следующая напоминала ему о ней и заодно — о неминуемом финансовом крахе, и только третья и последняя иногда воспаряла в нематериальную высь. Да и то — бывают и материальные, тоже мучительные, выси. А может, все шло в обратном порядке или просто стоило Н. здоровья. Гравюры оказались ужасно действенными. После того как материальные заботы куда-то испарились, он мало думал об Аннет, да и то с прохладцей, и это подействовало на Н. удручающе успокоительно, как лед на нарыв. Положительные результаты чисто медицинского свойства не заставили себя ждать. Пульс стал ровнее, сон — спокойнее, прекратились рези в глазах и в животе, и, к словцу, снова прорезался интерес к природе — Н. стал посматривать по сторонам не только для того, чтобы не попасть под лошадь. Как-то раз он поймал себя на том, что разглядывает мутные воды Сены. Это было на В-ой набережной, там, где с гранитной мостовой уплывает в небеса мост и заслоняет полгоризонта. Н. затесался в компанию зевак, настолько увлеченных рассматривавших реку, что они не успевали переговариваться между собой. Он пригляделся — все они были старше его, чуть ли не его нынешнего возраста. Но это еще пустяк. Н. улыбнулся, как ему показалось, несколько по-азиатски, во всяком случае, кожа на лбу поползла вверх вместе с уголками глаз и лицо покрылось морщинами. Холодная вода.

Его потянуло на возвышенные места, которых в Париже в последние годы стало предостаточно, — или он ошибается, и эту смешную башню построили позже, тогда же, когда и легковесный дворец, — но еще раньше он начал рассматривать плафоны уличных фонарей, скаты крыш и голубые, изрезанные крышами проемы чистого неба, с трудом преодолевая животную, волчью привычку смотреть под ноги, в лучшем случае, на пол-собственного роста от тротуара, давным-давно ставшую необходимостью, все, наверное, для того, чтобы увернуться от грубияна-прохожего. У волка это страх остаться голодным, у человека, тем паче сытого и даже отчасти пресыщенного, — упустить то общее, что еще есть у него с людьми его класса. За неимением лучшего ему приходится их терпеть. Если для того, чтобы выбраться из этого заколдованного круга, нужно деклассироваться — что ж, пускай. Он начал с А., Аннет. Всегда с чего-то приходится начинать. Почти всегда как раз с того, что болит. И обыкновенно все проходит гораздо легче, чем представляется заранее.

Нет, это был никак не эгоизм. Раньше, когда у него появлялись деньги, он тоже не от альтруизма несся к ней, предлагая и даже навязывая подарок, увеселение или трату. Теперь у него пропал вкус к тратам, разумеется, и к увеселениям тоже, и когда он о ней вспомнил, — а то по-

началу ему вообще память отшибло, — Н. улыбнулся, — ему показалось неудобным назначать ей свидание, ничем особенным не одаривая и к тому же не имея ни внешнего повода, ни внутреннего стимула, которые только и могли бы все это оправдать. Это было бы чересчур потребительно, учитывая его нынешнее положение, несамоотверженно и, как ему казалось, чревато упреками — и он с радостью ухватился за такое вот объяснение. Чуть позже, когда до случайных людей дошло, сколько у него денег, стало ясно, что это рассуждение несостоятельно и, следовательно, лишь предлог. С некоторых пор он мог пригласить на чашку чая любую парижскую паршивую овцу, не предложив ей даже сахару — и все равно донельзя ее осчастливить. Несомненно, высокое социальное положение имеет ретроспективный характер и касается старых знакомых. Однако тогда уже было поздно, он совсем отвык, и, невзирая на утрызения совести, продолжал от нее скрываться. Они, разумеется, встретились еще раз или два, но он сознательно ограничил свои любезности поистине монастырскими рамками; тем не менее, она не решилась его упрекнуть — ей-то было ясно, что он чем-то ужасно, до рассеянности озабочен, никак не новой любовницей, — и она постановила с ним к чему не обязывающей деликатностью, не обязывающей даже доискиваться причин и оттого восхитительно подходящей для лентяев, — что его, по-видимому, гнетет смерть его благодетеля, — ведь он так сильно изменился после того, как получил наследство, — что ж, вслух решила она, он настоящий француз, это пройдет, он очухается и снова окажется у ее ног, но, наверное, это займет много времени, — и только это заключение и имело для нее какую-то важность, поскольку исключало перспективу сохранения верности — ждать не имело смысла, к тому же можно было и не дожидаться, тем более, что она уже не первый год хороша собой и должна думать о будущем — а кроме того, это и не повредит в длительной перспективе. Не исключено, что их отношения были обречены с момента, когда они начали строить такие вот словесные конструкции.

Он нанял двух слуг, милую супружескую пару, но вскоре их рассчитал и опять остался вдвоем с Ж., стариком-дворецким его родителей, который без всякого участия Н. вел дела так, что счета всегда были оплачены, квартира убрана, обед в назначенное время стоял на столе, накрытом на нужное число приборов, а те, кто все это осуществлял, не попадались Н. на глаза. Разумеется, это страшно его деклассировало. Светский человек, даже не высшего разбора, даже всего только стремящийся утвердиться в сомнительного толка парижских кругах, которые и светом-то не назовешь, усмотрел бы в таком домашнем укладе только что не самоубийство, потому что для него, как для молодой женщины — белье, порядок в доме — залог уверенности в себе и первейшее условие продвижения по общественной лестнице. Н. имел это в виду, нанимая слуг, но уже вовсе



об этом не думал, когда рассчитывал их, и даже подивился тому, как мало сожалений — особенно в сравнении с надеждами, которые он на них возлагал, — пробудило в нем это увольнение. Н. было совершенно ясно, что теперь он погиб в глазах знакомых, и это-то еще ничего, но его несколько заботило и пугало, что многие из них решат ретроактивно, что он никогда и не был светским человеком и, следовательно, не имел права вращаться среди них. Слишком, слишком уж без боя. Впрочем, куда вероятнее было, что они сочтут его чудачком.

Потом это обстоятельство забылось.

Может быть, на его поведении сказалась природная скупость, которую раньше давило большое самолюбие. Может быть. Но что мы знаем о нераскрывшихся человеческих чертах? Может статься, что мы всего-то комок встроенных в нас свойств, проявляющихся при подходящих обстоятельствах, ну, а уж таиться-то может что угодно, так что на нашу долю только и остается, что выбрать оболочку, антураж, дабы заключить в них свойства, то есть, в общем, жизненный уклад, на котором, как на дне морском, отпечатывается наша урожденная окаменелость. И тогда ему следовало не жаловаться, а наоборот, благодарить судьбу, изрядно способствовавшую выявлению истинных черт его характера, задавленных, наверное, бедностью и противоестественным социальным — он чуть было не сказал — укладом. Но, может, это не совсем так, может быть, человек может меняться, а то ему и меняться не надо: создайте условия — проявится волк, измените — заяц...

Некоторое время Н. пытался разводить тюльпаны. "Может быть, — подумал он и содрогнулся — обилие этих "может быть" ввергало его в состояние тяжелой неуверенности, — может быть, их массивный и замкнутый вид, не пропадавший, даже когда совсем облетали лепестки, формой напоминавшие лопасти пропеллера, гармонировал с его тогдашним умонастроением." Во всяком случае, в них не было буйства. Поначалу он купил несколько горшков и поставил их под огромным окном, смотревшим на внутренний дворик, в которое иногда заглядывало солнце. Ему показалось, что выставить их у парадного окна, выходившего на набережную, было бы не по-китайски, нетактично. К тому же у окон с той стороны были узкие подоконники. Самые первые горшки были навязаны ему бродячим торговцем, чьим-то агентом. Н. наверняка ничего бы не купил, если бы его со вчерашнего вечера не пленили цветы, которые этот торговец оставил в лавке, занимавшей подвальный этаж, куда Н. иногда заглядывал. Для столь ранней весны они выглядели даже слишком ярко.

В конечном счете Н. приобрел не менее двух дюжин горшков с тюльпанами. На подоконнике умещались штук шесть; остальные он расставил по всему дому. Особенную прелесть он находил в том обстоятельстве, что тюльпаны почти не растут, не прибавляют в росте и не кус-

тятся, так что на них можно было с самого начала смотреть как на свершившийся факт. Как и многих других, его заинтересовали цвета, вернее, расцветки, вернее, теплота тона этих расцветок. Поначалу ему показалось, что оттенков множество, но потом он понял, что их всего три-четыре. Затем ему привезли новые, совсем уже не красные тюльпаны. Он начал наводить справки, выяснилось, что за несколько месяцев можно вывести по заказу тюльпан любого цвета, неизвестно только, сохранится ли этот цвет в потомстве. Поэтому его исследовательский интерес опять свелся к оттенкам красного, и он начал придирается к ярко-красным тюльпанам. Что делать с белыми, синими, желтыми и черными цветами, приобретенными оптом в первые месяцы, он не знал, они ему разонравились, но он не мог решиться их выбросить, потом у него возник крамольный план переделать их в красные, и он довольно долго этим занимался. Разумеется, он был неправ. Нелепо предполагать, что ненатуральный цвет — даже если согласиться, что он ненатуральный, — следствие только специальной подкормки, скрещивания и отбора — это еще и дело случая, стало быть, натуры, — но ощущение, что он плох оттого, что создан всецело человеческими руками, осталось у него надолго, как атавизм. Впрочем, жаловаться не стоило — Н. приобрел вкус к возне с землей, вернее, позыв, поскольку земли у него не было, зато такой сильный, что время от времени он подходил к одному из горшков и начинал разминать пальцами комки чернозема. Наверное, именно тогда до Н. впервые воочию дошло, что делает с комком земли вода, — твердый, как камень, он становится хрупким и раскалывается от собственной тяжести, потом смягчает и начинает напоминать навоз. Н. пришлось в голову купить дом, неважно где, лучше всего в городе, но обязательно с куском земли. Это выражение, двойственное от природы, сослужило ему дурную службу. Началось с того, что Н. начал посматривать по сторонам во время прогулок по городу — их, когда он вошел во вкус, стало больше одной в день — исподтишка разглядывая дома, на фронтонах которых значилось "предлагается купить". Иногда он обходил такие дома кругом и даже заходил во двор. Со временем он начал навещать в конторы торговцев недвижимостью, быстро смекнувших, что ему требуется. Н. хотел участок земли, — ну, так ему стали предлагать дворцы, окруженные парками, в которых росли вековые деревья, каждый из них стоил целого состояния, кстати, Н. знал, что их сколько угодно в Лондоне, но даже не подозревал, что в XVIII столетии нечто подобное строили и в Париже, — новомодные особняки, увитые колоннами, спланированные безвестным гением с таким расчетом, чтобы они лишились национальных черт, а также признаков пола, неотделимых от зданий, выполненных в сколько-то классическом стиле, всегда однозначно мужских или женских — наверное, в этом-то и состояла гениальность, — квартиры с отдельным

входом и палисадником и кошмарное количество загородных домов всех типов. От изобилия могла закружиться голова, но только если бы значительная часть этих домовладений казалась ему соблазнительной — в таком случае с течением времени они превратились бы в живой соблазн, не дающий спать по ночам. По-видимому, это условие не было выполнено — во всяком случае, Н. ощущал одно лишь неудобство.

Именно тогда, — кажется, через полгода или даже десять месяцев после его вступления в права, — именно тогда и пришла эта ужасная китайская открытка. Он и не знал, что еще способен так славно переживать. Его особенно взволновало то обстоятельство, что теперь вся история сделалась предметной, не обрета, однако, конкретных черт, и стала казаться ему неохватно огромной — словом, она перелетела через океан. Так что его не очень интересовало, что там в самом деле написано, вдобавок, он боялся оказаться в неудобном положении, показав ее какому-нибудь пытливому китаеведу. В результате он никому ее не показал. И так ясно было, к чему она, — стандартное извещение о похоронах или, может быть, приглашение, отпечатанное иероглифами на желтой бумаге с траурной каймой, — видимо, дань европейским предрассудкам. Сия открытка была вложена в конверт, надписанный квадратными латинскими буквами, не столь уж и ясно на каком языке — особенно обратный адрес, — дикая, хотя и читабельная абракадабра. Н. так и не смог понять, владеет его корреспондент каким-либо из европейских языков или же с трудом оперирует фонетическим наполнением европейских алфавитов, на одном из которых он воплотил, как музыкант, завещанное ему звучание. Во всяком случае, китайский каллиграф следовал весьма специфическим правилам транслитерации собственных имен, разительно отличающимся от установленных как германской, так и романской традицией, — к тому же собственные имена как были, так и остались китайскими. Все это могло быть совпадением, могло быть шуткой, — любое совпадение всегда немного шутка, — и наверное, Н. не так уж сложно было бы себя в этом убедить, если бы он не помнил в точности как разворачивались события, начиная с разговора под гобеленами, и если уж придерживаться рефлекторно-естественной (оборонительной) версии, то следовало разыграть превратить по меньшей мере в заговор, а на это он ни за что не решился бы, ибо знал, какая опасная вещь — заговор, цель которого неизвестна. "Никаких обид, — решил он, — и никаких иллюзий".

Н. уже с полчаса дремал, шепотом беседуя с самим собой, низко опустив голову, и прядь волос, выцветших, но еще не до конца поседевших, пересекала потный лоб, отчасти к нему прилипнув, и, доставая до кончика носа, чуточку щекотала веки и переносицу, не давая сосредоточиться — ни думать, ни дремать. Его как будто что-то подтолкнуло: глаза приоткрылись, кровь явственно заструилась в жилах, и ноги напряг-

лись. "Чуть-чуть энергии, — подумал он и попытался улыбнуться, — чуть-чуть внутреннего жара — и совсем другое дело. Во всяком случае, другие мысли." Бамбуковое кресло, в котором он невольно распространился, сразу показалось ему неудобным, и ему потребовалось переменить позу. Вдохнув, — глоток воздуха его освежил, но потребовалось еще, и он решил, что очень душно, — он оперся ладонями на плетеные подлокотники и медленно поднялся, не сразу почувствовав, что уже стоит на ногах, — ноги онемели, — машинально шагнул вперед и левой рукой отвернул круглую створку иллюминатора на сорок пять градусов. В комнату ворвался свежий воздух, и листы бумаги, лежавшие на столике в беспорядке, взмыли и упали на пол. Н. опустился на колени и подобрал их, — все, кроме одного, улетевшего за шкаф, — положил на стол и придавил книгой. Затем, бросив взгляд в окно на бесплотное пространство между морем и небом, он оставил иллюминатор открытым и, семеня, вышел из каюты, качнулся на пороге, понял, что ноги еще плохо его слушаются, поднялся на несколько ступенек и вышел на палубу.

Там стояло очень похожее, заманчивое бамбуковое кресло, но Н. даже не обратил на него внимания. Впрочем, нет — оно замаячило где-то в уголке глаза. Он подошел к самому борту, оперся о деревянные перила и слегка через них перегнулся. "Я еще легкий, — подумал он, — если мой брат так наклонится, что-нибудь обязательно не выдержит. Чревато катастрофой." Мимо него, прямо за спиной, пробежал молоденький матрос. Н. поднял голову, и на мгновение их взгляды встретились. Н. показалось, что столкновение было материальным и даже звучным. Карие глаза матроса вспыхнули и сразу же приобрели безразличное выражение. "Зрачки, — мелькнуло у Н., — какие удивительные зрачки, как у кошки, — он замялся, — ну, не как у кошки, щелочками, какая разница, да не только зрачки, — белки, радужные кружки — все не как у европейца. И конечно, не как у китайца. Настоящий зверь". "А вообще-то, — это признание отняло у него массу сил и времени, так что, решившись, он вздохнул, медленно обвел горизонт взглядом и как будто опорожнил чашу, — китаец никогда не обратил бы на это внимания."

Все приключение, занимательное, как дрейф льдов вдоль гренландского побережья, заняло тридцать лет, целых тридцать, звучит, если выговоришь, как "миллион", — если решишься — все это время он старел, старательно оберегая себя от лишних переживаний, в чем преуспел, и вообще, ничего нового, — и ведь так понятно, — весть о наследстве переполнила и выплеснула чашу, из которой он пил бы иначе всю жизнь и еще осталось бы. Его судьба решилась после того, как он решил, что остается жить в своей квартире с тем, чтобы не приспособливаться к новой и не попадать в неопробованное, заведомо неловкое положение, из которого пойдут-поедут другие, столь же неизведанные, как ростки из

срезанной ветки, и жизнь так и пройдет — в отвлечениях, в нескончаемом бегстве от сути. На что ушли эти годы? Кто знает! Может, необходимо было кирпичиками уложить одни годы к другим. Говорят, что азиаты любого возраста всегда старые, как мир. Вряд ли они сами это осознают, но даже если так, загадки тут нет — стаж складывается из персонального опыта и возраста цивилизации, наверное, деленного на пятьдесят или даже на сто, только бы люди осознавали себя ее частью, и европейцу нужно здорово постареть и немало потрудиться, чтобы, поделив на сто, стать с азиатом на одну доску. Тридцать лет отнюдь не целиком были заполнены поисками — скорее, ожиданием. Так путешествие складывается из пути к вокзалу, иногда — поисков вокзала, ожидания поезда и только потом, в конце, — из самой поездки. Вначале он что-то предпринимал — покупал китайские гравюры, к счастью, в количестве, при котором собирательство еще не становится коллекционированием, вещь в себе (их еще можно было развесить по стенам, он так и сделал, но потом снял — после того, как в квартире появились традиционные шелковые ширмы и занавески), ухаживал за цветами и даже пытался читать книги, хотя последнее оказалось совсем уж бесполезным делом. На короткое время у него завелась молоденькая китаянка, которая должна была не то вести, не то украшать дом, миниатюрное создание, не попросившее ни франка после того, как стала его любовницей — вернее, наложницей, ибо они почти не разговаривали. При других обстоятельствах ему трудно было бы с ней расстаться, но, к счастью, привычки и знакомства уже опадали, как листья в октябре — ноябре. Все требует времени, даже бессмысленное ожидание, и хотя не принято переживать, пока его достаточно, а впереди — десятки плодотворных лет (стоило по крайней мере задуматься — отчего его так много), скоро оказывается, что и в спешке и в неуютности оно течет быстро, бездумно и невозможно уловить, что теряешь, безропотно отдаваясь его ходу, — так стареешь, одинаково страдая и от избытка, и от недостатка. Так что если хочешь постареть с толком, сохранив душевное и телесное здоровье, равновесие и трезвый взгляд, нужно жить отдельно от времени, не вмешиваясь в его ход, — ты сам по себе и оно само по себе, — и это, может, единственное, что ему по-настоящему удалось.

Да, это самоуничтожение — все время повторять себе, насколько ты мал, равно как и смотреть под ноги и по-старчески щупать палкой землю, — самоуничтожение, но, споткнувшись, уткнуться в нее носом — это унижение, и потому давайте-ка сочтемся. Может быть, — вряд ли это новая мысль, но только кто мог это сказать? — путь, избранный Францией и Европой, вернее, европейцами, — сделать людей счастливыми, переустраивая природу и общество, словом, мироздание, сделав их, прежде всего, богатыми, столь же осмыслен и плодотворен, как, скажем, замысел изменить климат или отопить мировое пространство с тем, чтобы в

январе не замерзает в своей квартире, то есть устранить холодную зиму как факт, — недаром один мыслитель предпочитал разводить у себя дома пресмыкающихся, — даром что они змеи и аллигаторы, — а не теплокровных. Это, может, и неплохой путь, и простой, и решительный, но очень уж он расточителен и уж слишком быстро растет на этом пути энтропия. В конце концов, тому, кто не хочет топить в квартире печку или камин, проще и надежнее обогреться при помощи физических упражнений — это, по крайней мере, бесплатно.

Солнце просияло, проткнув облачко, как все в Китае, напоминавшее дракона.

Дело, однако, не в этом, не в этом, не в том, что жалко времени, денег и ресурсов, дело в экологии, в воде, в атмосфере — сколько же угля будет сожжено, воздуха отравлено, пока наши умники поймут, что от печек европейская зима теплее не станет, а если избыток углекислого газа в атмосфере и изменит среднеянварскую температуру в Лондоне, то много раньше основательно подтают полярные ледовые шапки и этот самый Лондон окажется под водой. Беда в том, что ущерб, который наносит сама себе европейская цивилизация, — худший из возможных видов ущерба, ибо он непоправим, ибо обратить вспять выветривание — все равно что реку, все равно, что жизнь, — будет только хуже, уровень энтропии никогда не понижается, не стоит и пытаться. Стало быть, весь расчет на безграничность ресурсов, но ведь мы-то знаем по крайней мере с восемнадцатого века, что земля круглая, а мир тесен, поэтому г-жа де Помпадур и сказала: "После нас хоть потоп", а не: "Все будет о'кей", может быть, имея в виду как раз ледовые шапки. Поэтому-то только в Европе все так быстро и, увы, необратимо меняется — девятнадцатый век разительно непохож на восемнадцатый, восемнадцатый — на семнадцатый, эра паровоза — на век Просвещения, а век Просвещения — на эпоху Великих географических открытий. Разумеется, веки, события, эпохи, пестрота, но всегда главное отличие — следующая расточительнее предыдущей. Те, кто полагает, что колонизация чужих земель — дело стоящее, еще пожалеет, когда земли все выйдут, а привычка останется.

Назад нет хода — это и называется "прогресс". В Азии все, напротив, столь неизменно, что это, несомненно, и есть "отсталость" — там никогда не исключено возвращение по собственным следам. Это оттого, что в Азии всегда знали — ибо все, что там известно, известно с незапамятных времен, в том числе цена некоторых изобретений: все, что необратимо — трагично, собственно, трагедия — это и есть необратимость, необратимая череда грустных событий, смотри "Короля Лира", вдобавок, вовсе не обязательно необратимость пугающая.

И не в том дело, чтобы не изобрести пороха, — кстати, его китайцы и изобрели, — а в том, чтобы не позволить пустяковому и неподконт-

рольному изобретению изменить систему общественных ценностей, — и ради этого даже не жалко упустить возможность перевооружить армию огнестрельным оружием. Всякая перемена к лучшему, переход к новому лишь оттого, что оно в чем-то более эффективно, должно быть дважды отмерено, ибо оно попросту губительно, если не продиктовано необходимостью, начальной внутренней необходимостью. В Китае и Японии до сих пор лечат иглоукалыванием, почти без лекарств, а смертность там самая низкая в мире. Огнестрельное оружие позволило испанцам завоевать Южную Америку, а — предположим — англичанам — Северную, именно это потом назвали открытием Америки. По ходу дела под корень вырубались религии, расы и цивилизации, задним числом их объявляли примитивными под тем предлогом, что они не знают колеса и не способны сохраниться антропологически под европейским гнетом, хотя на самом деле они были, наверное, просто слишком деликатны, или же, тоже здоровое предположение, — настолько непохожи на европейцев, что, в отличие от китайцев, не могли им пассивно противостоять. Так вполне здоровые полинезийцы гибли поголовно от завезенных европейцами микробов, а столь же здоровые негры — нет. Но, боюсь, сами европейцы пострадали от своих ружей не меньше, чем туземцы, с той разницей, что они этого еще не поняли, — кстати, эти самые ружья попали в руки североамериканских индейцев, и что же — ничего, их это не изменило, не то что водка и карты — ни новых ценностей, ни новых понятий, ни тяги к завоеваниям и оседлой жизни — в то время как европейцы, завоевавшие страну, создали там новую культуру и, наверное, новую нацию, как это — револьверы и стетсоновские шляпы — и немедленно ввели уже отмененное в Европе рабство. Когда их потомки выпотрошат Америку, им — за неимением лучшего — придется отправиться на Луну или на морское дно — и таким образом человечество, может быть, от них избавится. Нет ничего особенно плохого в изобретениях, если только они не определяют за нас наши задачи, не заставляют за себя расплачиваться и не создают ощущение могущества и вседозволенности. В противном случае мы быстро убеждаемся, что есть вещи похуже, чем война.

Просто человек не создан для того, чтобы жить в меняющемся мире, в свою очередь, мир, созданный на потребу человеку, тоже не рассчитан на быстрые изменения. Поэтому "менять" — почти тождественно "разрушать", особенно если держать в уме "тратить" и "ускорять".

В Китае, надо думать, еще незадолго до конца света будут плавать на джонках, выращивать рис и препираться о Конфуции. Европейцы занесли на Дальний Восток броненосцы и социальные дразги, но сюда стоит приехать уже для того, чтобы убедиться, что ни то, ни другое никого особенно не волнует, — может быть, ничтожное ассимилированное меньшинство, — все проглочено.

Разумеется. Он с самого начала понимал, что поедет в Китай. К чему тут оправдания — разве это не самое достойное употребление для денег, заработанных столь ужасным способом? И если ему потребовалось тридцать лет для того, чтобы убить в себе туристскую жилку, — иначе эта поездка стала бы экскурсией, — что ж, это еще не слишком долго. Главное, он прибыл сюда живым и здоровым. Хотя, наверное, он свинья, раз ставит условия, — даже если бы его доставили сюда на носилках, но за те же деньги, ему все же следовало бы благодарить судьбу.

Н. налил себе стакан воды, только на три четверти, спустился вниз и там, в своей комнате, откопал в крошечном шкафчике, висевшем над кроватью, бутылочку с темной жидкостью, впрочем, почти неразличимой за толстым зеленым стеклом, и долил в стакан несколько капель. Лекарство. Затем он глубоко вздохнул и со стаканом в руке снова поднялся на палубу, постоял с минуту и с видимым отвращением выпил теплую, чуть рыжеватую воду. Легче, действительно легче, как и от других снадобий. Лекарство или просто напиток — ради чего оно выдуманно — вкуса или действия ради? Кем и когда? Во Франции на такие вопросы стоит искать ответ, здесь — бесполезно. И как все тут — лекарство не вылечивает, не доводит до конца. Правило: от всего, даже от болезни что-то должно остаться. Ну, и осталось.

По той же причине, по которой Н. трудно, даже невозможно было в свое время купить дом, в решающий момент, когда он созрел для путешествия, ему ничего не стоило решить вопрос с яхтой. Н. плохо представлял, как это можно поехать в Китай на поезде. Кроме того, такая поездка обязательно предполагала некоторое знакомство с местностью, прежде всего с пунктом назначения.

А что он обо всем этом знал? У него был адрес, написанный черной тушью на пожелтевшей открытке, он отправил по нему письмо, в котором извещал о прибытии, скорее, о намерении приехать, которое стало столь настоящим, что, видимо, осуществиться... — ему очень хотелось хоть как-то поименовать адресата, но он не посмел. Ответа, разумеется, не последовало. Теперь остановка была за малым. Н. пробормотал, что всего лучше было бы отправиться в Китай в собственной квартире, но тут же понял, что хватил лишку, — всему свой порядок! — к тому же это было весьма затруднительно, а затруднительные проекты его и в молодости обременяли, — да и глупо, — оставалось обзавестись плавучим домом или, как он не без удивления, а пожалуй, и не без гордости сообразил, — кораблем.

Это заняло всего несколько дней, да и то больше из-за времени года и отсутствия опыта. Прославленное страховое агенство, тесно связанное с Ллойдом и вообще собаку съевшее в мореплавании, срочно телеграфировало своим представителям в Марсель и Тулон, и после короткого



совещания в их пыльной парижской конторе Н. выбрал — по существу, порт, а не корабль, ибо всюду предлагалось почти одно и то же, и у него таки закружилась голова — то, что выбрал, уплатил наличными всю цену плюс 16% комиссионных и тут же стал владельцем изрядного судна. За свои комиссионные агенство постаралось на славу. Через десять дней, когда Н. с двумя саквояжами прибыл в Тулон, его уже поджидала заново выкрашенная серо-зеленой водоотталкивающей краской яхта, приятно смотревшаяся бок о бок с бронированными чудовищами, давно уже облюбовавшими себе эту стоянку, и готовая отчалить в любую минуту. Н. оплатил все счета, не торгуясь, и сразу же поднялся на борт — все это еще и оттого, что он понимал, что если в нем не будут по уши, до влюбленности заинтересованы, то перед ним, как перед всяким новичком, немедленно станут те же труднопреодолимые препятствия и проблемы, что некогда перед самыми знаменитыми в истории искателями сокровищ, а именно — оборудование судна и комплектование хоть сколько-то пригодного экипажа. Н. понимал, что не может позволить себе ни малейшей оплошности, ибо она может превратить путешествие в ад или еще хуже — в пиратский вояж. Стало быть, надо было платить.

Стало быть, деньги были истрачены недаром. Оставалось только попрощаться с тюльпанами и домашней утварью, сильно оскудевшей за последние годы. Н. не представлял даже, что это окажется таким трудным делом. Он некоторое время колебался — оставить тюльпаны на чье-нибудь попечение или бросить засыхать заодно со всем остальным. Был и третий вариант — пересадить к кому-нибудь в палисадник и предоставить собственной судьбе. Ему очень не хотелось допускать чужих в свое жилище, и он почти решился оставить все как есть, но в последний момент передумал — кольнуло, что неприятно было бы в конце концов вернуться и обнаружить на подоконниках горшки с сухой землей, в которых когда-то что-то росло. Хотя этот вариант и представлялся ему маловероятным, его следовало предусмотреть. Поэтому он и оставил соответствующие распоряжения. Впрочем, рассуждал он, тому, кто остро нуждается в милосердии Небес и снисходительном отношении незнакомых людей, не стоит оставлять цветы на верную гибель. Итак, за тюльпанами ухаживают, и, наверное, будут ухаживать до конца дней.

Путь в Китай представлялся ему либо путем подвижничества, либо путем соблазна — одно из двух. Первое было столь же невозможно для него, сколь и второе, — но превосходная, хотя и скромно обставленная яхта — разве это не третий путь? Разумеется, пиршество, совершаемое в расстроенной голове, — меньшее излишество, чем лукуллов пир, но все-таки! К тому же, после выхода в море немедленно начинают разбегаться глаза, но если это закон природы, даже болезнь, вроде морской болезни, то остается только развести руками — как готовиться к тому, от чего ни-

куда не деться? Все, что заманчиво — взаимозаменяемо, друг друга стоит, и обычный морской энтузиазм — это такой же натуральный Китай, как и прославленная изнеженность тамошних мужчин и женщин. Расточители всех мастей обычно прекрасно понимают друг друга, легко приспособляются к обстоятельствам и в итоге сходятся во вкусах. Повидимому, дело только в том, чтобы начать. Н. дал команду отплыть, испытывая легкое смятение и рассчитывая прийти в себя, когда путешествие ему придется, благо оно обещало быть долгим.

Погода благоприятствовала — для столь низких широт в это время года — хороший знак! Вряд ли можно считать случайным, что сезонные ветры, дующие в Индийском океане, отнюдь не способствуют тому, чтобы европеец, направляющийся в Китай, прибыл туда в уравновешенном состоянии. Н., отлично понимавший, что он наверняка подвержен иссушающему воздействию встречного ветра и, следовательно, весьма слаб и несовершенен, был очень удивлен, когда выяснилось, вернее, ему сообщили, что в этом году сезон дождей рано начался и, соответственно, рано кончился, а это повлекло за собой другие региональные странности — прежде всего потому, что в порту ему на глаза попала индийская газета, в которой было написано нечто иное, а главное, оттого, что, согласно теории, именно в конце сезона и дуют встречные ветры. Впрочем, в Лондоне тоже давно нет туманов. Тем не менее, факт оставался фактом — море на протяжении всего путешествия оставалось спокойным; небо — ясным, а ветра вообще почти что не было.

Дорога была ему не в тягость. Его несколько разочаровало, что на палубу не падали летучие рыбы и другие экзотические создания, по описаниям путешественников, украшающие южные моря. Поймав себя на том, что уже не первый день с нетерпением ждет их появления, Н. со вздохом констатировал: наверное, он все еще европеец, так что настоящая морская живность, свалившись на палубу, его разочарует. Но его прогнозам и на этот раз не суждено было сбыться — на палубу никто не падал. Какие-то рыбы действительно выпрыгивали из воды, но разглядеть их было невозможно. Два или три раза рядом с яхтой начинала кружить акула. Она живописно рассекала плавником поверхность воды, но не подплывала близко и быстро исчезала, так что ее появление не становилось настоящим зрелищем. Н. подолгу сидел под брезентовым пологом. Жара его не донимала, душно не было, он боролся с дремотой, но все равно она уносила несколько дневных часов. Зато потом он, неожиданно и абсолютно свежий, надвигал шляпу на глаза, чтобы защитить их от солнца, и тут же закрывал, пересекая в мечтах линию горизонта. В такие минуты он думал об акулах, спрутах и носорогах.

Когда яхта обогнула наконец Индокитай и повернула на север, ему пришлось переставить кресло, ибо тень от полога больше не попадала на

полюбившееся ему место. В этом, однако, был свой плюс. Теперь Н. усаживался отдыхать лицом к Китаю, что создавало полную иллюзию быстрого продвижения к цели, впрочем, несколько его пугавшего, и он не раз спрашивал себя, нужно ли ему что-нибудь еще. Может быть, движение по направлению к цели — это и есть идеал, если оно совершается быстро и искренне. Он пытался заставить себя смотреть на проблемы как на предметы, выстраивая их в ряд, чтобы ими можно было манипулировать или же маршировать вдоль, смотря по относительному размеру, то есть сообразуясь с величиной и значением, но в эти последние дни его рассуждения рушились, как картонный домик. Разумеется, он не решился бы оставить корабль. С другой стороны, как же без этого? — от полной ясности недалеко до беспомощности, так что его размышления все время сворачивали в смутную китайскую сторону, оставаясь при этом по-европейски абстрактными. По-европейски, стало быть, наполовину. Впрочем, легко осуждать абстрактно.

Месяца через три яхта с Н. на борту прибыла в Шанхай, сопровождаемая все той же хорошей погодой. Н. уже стало казаться, что времена года застыли и перестали сменяться, перестали быть сезонами, превратившись в попутчиков вроде белой морской птицы, сопровождавшей яхту на протяжении большей части путешествия. В самом конце от нее было невозможно отделаться. Ему, пожалуй, даже захотелось разнообразия, скажем, небольшой, карманной бури, вроде той первой, страшной и безобидной, пережитой Робинзоном, ибо от неподвижных моря и неба веяло обреченностью, а мысль о смерти все еще казалась ему невыносимой. Несчастную птицу пристрелили, но еще вопрос, стоило ли это делать. Одно из двух — либо на нее в конце концов перестали бы обращать внимание, либо она стала бы необходимой частью обихода. Теперь она вошла в историю мученицей идеи.

Н. не мог не понимать, что в Китае ему следует вести себя осмотрительно — во-первых, дабы никого не шокировать, а, во-вторых, оттого, что по китайским законам, довольно скептически относящимся к магии, он запросто мог считаться убийцей. Стало быть, прежде всего необходимо было осмотреться. Обстоятельства, однако, складывались отнюдь не благоприятным, не попутным образом, не так, как он себе рисовал, и это не могло не влиять на его расположение духа.

Ничто не обходится так дорого и не ценится так дешево. Прежде всего, яхте даже не удалось подойти к берегу. Оттуда доходили тошнотворные запахи, доносилась артиллерийская канонада, а над зеленой массой холмов, поднимавшихся к северо-западу, клубился густой дым. Мало того — вход в порт был забит десятками больших и малых судов, прочно застрявших тут после того, как в главных городах Китая началась революция. Джонки и океанские пароходы стояли на рейде впе-

ремежку и в опасной близости, и их экипажи с остервенением глядели друг на друга, не решаясь подойти к причалу. После того как Н. отважился приблизиться к ним и все-таки втиснул яхту в залив, оказалось, что дело не в недостатке решимости, — этого как раз хватало, — просто в Шанхае был объявлен карантин и ни одно судно — включая почтовый пароход — не могло без специального разрешения пристать к берегу.

Разрешения, между тем, не выдавались, да и не к кому было обращаться — на берегу только что сменилась власть. Поговаривали даже, что судам, находящимся в заливе, не позволят выйти в открытое море, грозили и кое-чем похуже, но Н. это не очень испугало — залив был огромным, и тот, кто хотел его заблокировать, брал на себя непосильную работу. Если уж Н. удалось провести свою яхту внутрь, в тесноту, то кто мог помешать ему отсюда выбраться, маневрируя между большими и средней руки судами, а если потребуется, то и прячась за ними. Впрочем, для океанских судов блокада могла и вправду оказаться страшной — по ним можно вести артиллерийский огонь как с берега, так и с моря.

Яхта Н. простояла тут несколько дней, повернувшись тощей кормой к берегу, чтобы легче было унести ноги, между американским сухогрузом, на сером борту которого яркой синей краской значилось: "Томас Джефферсон", и большим индонезийским парусником, несомненно, пиратским, от которого пахло гнилым паленым деревом. Н. выжидал, рассчитывая, что китайский таможенный чиновник, о котором ходили по заливу многоязыкие слухи, согласно слухам, и сообщивший о карантине, бойко плававший по заливу на паровом катере и являвшийся главным источником местных новостей, появится где-нибудь в окрестности и даст сколько-нибудь удовлетворительные разъяснения, но его надеждам не суждено было сбыться. Н. пришлось удовольствоваться долгими и бесплодными переговорами с владельцами сновавших мимо лодок, беззастенчиво нарушавшими карантин и продававшими экипажам застоявшихся в заливе судов свежие фрукты, рыбу и хлеб, а если потребуется, то и воду. Н. получил с очередной партией съестных припасов изжеванный листок полугодовой давности, в котором от имени революционного правительства объявлялось о карантине и заодно — о новых таможенных сборах. Обращение было написано на двух языках — по-китайски и по-немецки. Н. напрочь забыл все, что знал по-немецки, и некоторое время смотрел на листок как в писаную торбу, но среди матросов нашелся фламандец, который, покормив немного, пробормотал, что если принимать все эти предупреждения всерьез, в китайские порты не стоит и заходить, и не только во время войны. Листок, кстати, предлагал всем, кто, несмотря ни на что, хотел высадиться в Китае, две возможности — либо плыть из Шанхая назад, на юг, в Хон-Ха, которая объявлялась главными морскими воротами страны, либо направиться на север, в Тинь-Ха, слу-

жившую таковыми полторы тысячи лет назад, но давно уже превратившуюся в крошечную рыбацкую гавань.

"Может, — подумал он, — там и этого уже нет, поди знай, но если там все-таки еще можно подойти к берегу, — а это почти наверняка, — то что еще, собственно, надо?" Н. без колебаний выбрал Тинь-Ха, особо отметив то обстоятельство, что городок, откуда он получил в свое время извещение о похоронах, находится, судя по всему, где-то неподалеку.

Переход в Тинь-Ха отнял еще неделю. Согласно календарю, стояла глубокая осень, не только по европейским, но и по любым стандартам, но, как показалось Н., единственным признаком того, что в Китае существует смена времен года, было постепенное изменение продолжительности дня. Солнце уже не поднималось так высоко на головой, темнело гораздо раньше, рассветало позже, но сами дни оставались все такими же теплыми, безоблачными и безветренными. Яхта вошла в залив, который, хотя и был вдвое меньше шанхайского, показался Н. просторным и пустым — а на самом деле его бороздили с десятков небольших судов. Н. ужасно заинтересовали рыбацкие баркасы с белыми кривыми парусами — он никогда ничего подобного не видел. Трудно было представить, что от парусов такой формы, да еще в штиль, может быть толк.

Н. попросил подвести яхту к берегу, поближе, отчасти чтобы еще немного понаблюдать, и в итоге она медленно — не хотелось сесть на мель, но оказалось, что бояться нечего, ибо метров за 150 от берега вода становилась совершенно прозрачной, — подошла к нему под острым углом и остановилась в 80 метрах от длинного дощатого настила, собственно, единственного причального сооружения в древнем порту, красочно описанном средневековыми поэтами, хлипкого на вид, но явно нового, не более десяти лет назад уложенного на земляное основание. Н. вышел на палубу с подозрительной трубой в руках, но ее не на что было навести — разве что на пустой причал. Он сунул ее обратно в футляр. Ни души не было видно, ни ребенка, ни бродячей собаки, только на тумбе, установленной на самом краю причала, красовалась косо прилепленная драная афишка, объявлявшая о карантине, та самая, которую ему подсунули в Шанхае — там их наклеивали на борта кораблей. "Карантин" — слово из трех непонятных, но уже донельзя знакомых иероглифов.

Н. не был даже обескуражен. В конце концов, если во всем Китае карантин, почему бухта Тинь-Ха должна быть исключением? Тем более, что он отчасти подозревал, что назначение сего карантина — умерить аппетиты иностранцев, которым, может, и не следовало бы проникать в страну, или, по крайней мере, выдержать их сколько возможно вне ее пределов. Из всякого сознательно созданного положения есть выход, полагал он, разве что на войне это смерть, а в браке развод, грустное дело, если вы в него попадаете, а в мирное время — в худшем случае ожидание.

Три дня и две ночи яхта бесцельно и тихо простояла в голубых водах Тинь-Ха, ясное дело, к некоторой досаде команды, однако переживания матросов Н. не трогали. За это время ее качнуло трижды — в первый раз на заходе солнца, во второй — на рассвете, когда с берега на минуту дохнуло ветром, а в третий раз — когда рядом с яхтой прошло под парусом изрядное рыбацье судно. К вечеру третьего дня Н. снова подвел яхту к берегу.

Устойчивость, которую она приобрела после того, как двигатель был остановлен, а паруса спущены, показалась Н. невероятной и даже озадачила. Ему начало мерещиться, что он находится на суше, а вовсе не посреди воды. Дождавшись темноты, он вместе с двумя матросами пересел в лодку и подплыл к причалу. Ему было странно, пожалуй, больно и кощунственно дробить веслом эти шелковые воды, поэтому он, сидя на корме, не только старался не касаться торчавшего назад маленького рулевого весла, но и изо всех сил отворачивался от работавших веслами матросов. Убедив их остаться в лодке, Н. не без труда взобрался на деревянный настил и шумно затопал по мокрым доскам.

Он походил взад-вперед, не столько чтобы размять ноги, сколько для того, чтобы хоть немного попользоваться китайской территорией, но вожделенный причал не казался ему таковой. Он посмотрел на небо, на котором еще не выцвели блики, оставшиеся после пышного заката, на море, уже совсем стального цвета, и вздохнул с облегчением: никаких острых ощущений. Пустовато. Великое событие не то чтобы оставило его равнодушным, совсем нет, пожалуй, оно даже освежило знакомые, приевшиеся за столько лет, еще волнующие, но уж никак не выворачивающие наизнанку воспоминания. Однако, он ждал и боялся худшего. Ничего, обошлось. Находиться на китайской территории или, по крайней мере, так близко к ней, оказалось вполне выносимо. Так бывает, когда состоится любовь, — можно думать о том, что будет дальше.

Наутро к яхте стали одна за другой подплывать лодки. Вначале двое совсем юных китайцев привезли штук пять громадных бидонов со свежей водой, необыкновенно приятной на вкус. Они чрезвычайно искусно отбуксировали эти бидоны на массивном деревянном плоту, управляя им с углой маленькой лодочки, привязали плот к кольцу, торчавшему из борта яхты, и повернули обратно, не дожидаясь оплаты или изъявления благодарности. Матросы, поначалу смотревшие на них в оцепенении, по одному подняли бидоны на палубу, а плот так и остался полоскаться за кормой, только слегка всплыл, избавившись от груза. Любопытства ради они открыли один из бидонов и отведали его содержимое. Убедившись, что в нем вода, они не были сильно разочарованы. Это показалось им скорее прозаичным, нежели обескураживающим.

Потом, ближе к полудню, когда на палубе стало слишком жарко и Н.

спустился вниз передохнуть, некто невидимый привез две корзинки, накрытые пальмовыми ветками. В одной были фрукты, в другой — рис. Н. заметил их через иллюминатор, он еще попытался разглядеть людей, которые их привезли, но лодка отошла уже довольно далеко и быстро двигалась к берегу. Китайцев было двое, и они даже не оглядывались.

Н. был поражен этим азиатским остракизмом, особенно же мерой, неожиданно выпавшей на его долю. Он ждал настороженного приема, расспросов, может быть, подвохов, но только не безоглядного бегства, хотя, конечно, слово "карантин" объясняло все. От чего они старались держаться подальше, чего пытались не допустить? Н. приветствовал бы самые суровые меры, если бы речь шла, допустим, о неведомых болезнях, но, на его взгляд, первой такой мерой должно было стать наблюдение за причалом. И уж во всяком случае, следовало предотвратить его высадку на ничем не огроженный берег. На первый взгляд, местных жителей заботила скорее независимость, чем безопасность, поэтому бегство было наглядной демонстрацией отчужденности, а не блокады. Но, если согласиться с этим выводом, какая слоновья доза инстинктивной враждебности в них сидит, сколь зло и предубежденно они смотрят на вещи, если даже не ждут благодарности за привезенные припасы!

Н. доел свой ежедневный суп из протертых помидоров, выпил свежей воды и опять поднялся наверх. Солнце быстро двигалось к западу и очень скоро должно было завязнуть где-то на берегу. Н., прогуливаясь, дошел до кормы, хотел повернуть обратно и тут-то и увидел еще одну лодку, узкую, подлиннее, которая медленно подплывала с запада прямо по солнечной дорожке. В ней находились два человека — один, сложив руки, сидел на корме, а второй стоя возился с парусом.

Он говорил на устаревшем французском, может быть, англичанин счел бы это устаревшим английским языком, собственно, на странном диалекте, по мнению Н., вышедшему из употребления по крайней мере 400 лет назад, а может, и вовсе неживом и ненатуральном, так что Н. с трудом разбирал слова. Еще более странными казались в его устах кое-какие современные выражения, не успевшие стать литературной нормой, не то чтобы резавшие слух, но как бы отвлекавшие и мешавшие сосредоточиться. Быть может, именно они сбивали с толку и мешали понять, к чему он клонит, ибо это обыкновенно вытекает из пауз и интонаций, из подбора синонимов и вообще из того, что между словами, и зевок тут красноречивее, чем рифма. К тому же они нарушали связность речи.

Столь же загадочным, как псевдороманское наречие, показался Н. его возраст. Невысокий покрытый морщинами китаец отнюдь не выглядел старым или даже пожилым, хотя, впрочем, вполне мог быть древен как мир, и что-то даже наводило Н. на эту мысль и не позволяло заподозрить, что перед ним человек молодой или средних лет.

Н. поймал себя на мысли о том, что он разучился быть по-восточному любезным.

— Вы комендант порта? — спросил он, от отчаяния понизив голос насколько возможно.

— Ни в коем случае, — ответил китаец. — Где это вы набрались таких терминов? В Шанхае, что ли, — он указал на северо-восток, — так там теперь, по слухам, друг в друга стреляют. Представляете? — он даже зажмурил глаза. — У нас в Китае ничего такого нет. И не было. Какой смысл?

Он без труда, даже без усилия поднялся на палубу, уцепившись за шаткие спиральные перила и оттолкнувшись ногой от дна лодки.

— У вас есть все, что нужно? — спросил он. — Или чего-нибудь не хватает? И, кстати, достанет ли у вас денег для длительного пребывания в сих краях? Впрочем, и этот вопрос можно будет решить.

Он тихо уселся в плетеное бамбуковое кресло.

— Тридцать, нет, тридцать пять лет назад сюда приплыл некто очень на вас похожий — и по возрасту, и по росту. Но тогда он был тут один-одинешенек. А теперь посмотрите, вон сколько — он широко развел руками.

Н. машинально огляделся, но, как ни старался, не увидел ничего кроме рыбацких лодок.

— Не замечаете? — осведомился. — Так вот же, такие большие квадратные паруса.

На мгновение Н. и правда показалось, что на горизонте мелькнуло белое полотнище, но, прежде чем он сумел высмотреть хоть что-то в этой дали, у него заболели глаза. В них заплескали разноцветные тени, затем в уголках глаз закололо, навернулись слезы, и он вообще перестал что-либо видеть. Потом, когда все пришло в норму, горизонт снова оказался совершенно чист.

— Ничего, пройдет.

— В отличие от вас, он не был так нетерпелив, ну и пробыл тут недолго. Впрочем, еще вопрос, способствует ли жизнь на водах долголетию. Иногда, наверное, нет. Но вы куда нервнее и не умрете через шесть недель. Я хорошо помню, его предшественник прожил тут много лет.

— Вряд ли это займет больше чем несколько недель, — сказал Н., — это ведь то же самое, что уразуметь, зачем я сюда приехал. Не уразумею, протяну, соскучусь — значит зря приехал. Впрочем, кое что я и так знаю. Меня мучит совесть, хотя пока не то чтобы очень. Боюсь, дальше будет хуже. Вы наверное знаете, я разбогател несколько десятилетий назад не совсем красивым образом и хочу познакомиться с китайской точкой зрения на этот счет.

— Очень интересно, — сказал он, — только сложно.



Н. грустно улыбнулся.

— Вы не разбогатели, а получили наследство, это не одно и то же. Люди плохо приспособлены к жизни, поэтому должны следить за тем, чтобы, как жизнь ни сложна, они в ней не запутывались и не теряли самообладания. Вот вам нить. Не ищите простых ответов и не довольствуйтесь простыми объяснениями. Жизнь чудо как сложна. Хороший человек прост и с годами становится все проще.

— В Китае нет закона, да вообще, нигде нет закона, который мог бы научить нас жить. Обычно он теряется по дороге между канцелярией, в которой он был создан, и залом суда, куда люди приходят не за справедливостью, а по делу. Закон интерпретируется только практически, вот в чем дело. Если тянуться к природе вещей, как вы, то не отнимешь законной силы и у революционных ордонансов — чем не свежееиспеченная система наследственного права? — знаете, у тех, кто стреляет в Шанхае.

— Китай стал Китаем задолго до того, как были выдуманы законы. И в самом деле, что ж — они нужны для того, чтобы наказать виноватого? — без них нельзя? — чтобы регулировать течение жизни? — человеческие отношения? — но для этого куда больше подходят законы физики и языковые правила, начертанные прежде нас, тогда же, когда русла великих рек, заодно с географической картой. Тот, кто установил законы, имея в виду, что они станут общими и обязательными для всех, и вдобавок предписал их изучать, оказал Китаю такую же услугу, как тот, кто выдумал золотые деньги, — изобрел еще одно общее для всех средство ведения дел и урегулирования отношений. Этот последний, говорят, положил конец золотому веку, переплавив все имевшееся в наличии золото в уродливые кругляки. Но это еще ладно — все-таки общий экономический язык! Но ведь и золотые деньги не вечны, потом приходит черед бумажных денег, банкротств, инфляции и стрельбы в Шанхае. Точно так же первоначальные законы неизбежно переплавляются в болезнетворный юридический вздор.

— Впрочем, — сказал китаец, — попробуйте меня переубедить.

Через несколько недель Н. к нему привык. Как-то раз — впрочем, это уже гораздо позже, акклиматизация отняла много времени — они пили чай и смотрели на звезды. Теперь уже Н. казалось, что палуба яхты чуть покачивается, но не в такт, а так, как будто он сам ее раскачивает. "Что же делать? — спросил он. — Вернее, как мне быть с угрызениями совести?" Наверное, вопрос можно было бы сформулировать и по-иному.

— Постарайтесь извлечь из них пользу. Что вам остается? А все-таки скажите, у вас есть все, что нужно? Вы ни в чем не нуждаетесь? Ничто так скверно не сказывается на характере, как неоправданные лишения. Мудрейшие из людей теряют терпение, нить или даже рассудок, когда им недодают стакан воды.

— Разумеется, — сказал Н., — вопрос только — когда именно недодать, утром или вечером.

— Послушайте, — сказал он, опять же в подходящий момент, месяца через три, когда уже много воды утекло и всякое было высказано, — я все-таки хочу, чтобы вы меня выслушали, всю мою историю с начала до конца, и потом хоть как-то меня осудили. Но даже если вы не дослушаете до конца, — а я подозреваю, что так и будет, — все равно игра стоит свеч, поскольку самое худшее было в начале. Впрочем, нет. Лет тридцать назад я подписал документ, который и сейчас бы счел ядовитой пародией на Руссо, шуткой, чем же еще — у нас во Франции такие вещи приняты, а кроме того, там особого значения философии не придают. Да и подписи тоже, отсюда массовые банкротства и уклонения от платежей. В этом документе было сказано, что я — назовем это так — одобряю и морально поддерживаю убийство — нет, умерщвление, нет, это непереводаемо, — то, что делает человека из живого мертвым, чтобы он умер, — неизвестного мне пожилого китайского мандарина, а за эту пресловутую поддержку получу, собственно, унаследую, хотя по-французски это не так ясно, его довольно значительное имущество. Имя мандарина названо не было, так что все походило на шутку, но зато было оговорено, что сумма наследства составит самое меньшее десять миллионов золотом. Я сам не знаю, почему я это подписал, наверное, по легкомыслию, только неизвестно, смягчающее это обстоятельство или отягчающее. Ведь я хоть и мало верил, что из этого что-нибудь выйдет, а все решил случаем не пренебрегать, полагая, что он беспронимчивый и вдобавок дармовой. Оказалось, нет — мне даже пришлось заплатить нотариусу. Вдобавок, я не помню как звали приятеля, который подстроил мне эту сделку.

— Это ничего, — сказал он, кряхтя, — я помню. Это ничего. Обратите внимание, однако ж, вам было предложено наследство, а не плата, французская двусмысленность не про то — имущество, переходящее законным порядком, а не пудовый мешок с украденными деньгами. Вы вступили в наследство, хотя и не состоите в родстве. Стало быть, он написал завещание, не правда ли? На то была причина? Может быть, вы оказали ему услугу. Вы не были знакомы? Вздор. Не можете же вы не знать, кому наследуете? Хотя бы имя...

— Разумеется. Но ведь бывают неожиданности. Вся беда в том, что через несколько недель я получил наследство от одного престарелого француза, промышленника, который заработал много денег на железнодорожных концессиях и, по-видимому, не мог считаться мандарином. Может быть, мандарином его прозвали в шутку, заодно с Руссо, но тогда это нечестный прием — я бы ни за что не согласился ему повредить.

— Вы спросите — а китайцу можно? Тоже нет. Но я все еще находился под обаянием этого проклятого афоризма.

— Скажите, — спросил он, — интересовались ли вы когда-либо тем, где этот ваш миллионер похоронен?

— Тридцать пять лет назад, — продолжил он при очередной оказии, — впрочем, я вам об этом уже рассказывал, — в эту самую бухту вошел корабль, зафрахтованный пожилым, чем-то похожим на вас человеком. Собственно, сходство начиналось и кончалось на том, что его мучила та же проблема, что и нас с вами. Разумеется, и он не был первым, никто из нас не бывает ни первым, ни последним, только звеном в цепочке, но не начинать же вашу историю с самого начала, за двести лет, а то и больше. Он приехал, как и вы, еще не азиат и уже не европеец, озабоченный одновременно прошлым и будущим и совершенно не думая о настоящем, да и ничего не понимая в нем.

— Да, — вставил, воспользовавшись паузой, Н., — я давно хотел себе уяснить: я могу каким-нибудь образом вернуть деньги, извиниться и вообще возместить убытки?

— Конечно, все можно возместить. Только для этого должны быть убытки. И пострадавшие. И желание. И, потом, — кому?

— Скажем, наследникам.

— Вы же знаете, их не было. Вы наследник, и только вы и понесли убытки.

— Тогда стране.

— Стране? Какой стране? Вы хоть помните, от кого получили наследство? От француза. Помните? Он похоронен вон там, на берегу, совсем близко. Вы сможете посетить его могилу. Он прожил очень недолго, не то, что другие. Вы только-только успели подписать этот пресловутый документ, и сразу пришлось получать наследство. Обычно все это тянется гораздо дольше.

— Так что же, — растерянно пробормотал Н., — месье Д. и есть мандарин, которого я согласился убить? Странно, и, потом, какой же он мандарин? Это, наверное, обман или что-то другое — во всяком случае, я не подозревал, как это у вас делается.

— Подозревали. Этот человек, ваш предшественник, самый настоящий мандарин. Когда он спросил, в свою очередь, что делать с деньгами, которых стало теперь гораздо больше, видите, он копил их для ваших наследников, мы, опять-таки, ответили, что нам они не нужны, только как средство, и мы сами не хотим их касаться, напротив, заинтересованы в том, чтобы он владел ими как можно дольше и счастливо, но, может быть, он разрешит нам вписать в его завещание имя по нашему выбору. Он согласился. Мы обещали, что его наследником непременно будет француз. Он запротестовал, но было видно, что это ему приятно.

— Впрочем, ему было почти все равно. Он даже высказал как-то раз пожелание, чтобы деньги остались в Китае, но у нас были другие планы.

Что же до титула, я сам передал ему письмо от губернатора провинции, в котором с приятной витиеватостью сообщалось, что он назначен наследственным мандарином бухты Тинь-Ха, так что в итоге вы получили все, что обещал французский философ, — мандарина весьма богатого, старого и больного.

— Кстати, письмо сохранилось.

— Кстати сказать, по идее вы вместе с деньгами унаследовали и титул, — вы единственный наследник, не правда ли? — но мы в Китае никогда на это не полагаемся, так что вы, наверное, скоро получите новый указ. Все в порядке, не правда ли?

— И что же дальше? — Н. очень долго не мог решиться задать вопрос. — Вы его убили? Нет, кажется нет, но вы сказали, что он прожил совсем недолго — может быть, это все-таки благодаря вам?

— Его никто не убивал, ручаюсь, ни его, ни его предшественников, никого — хотя впрочем, я слышал, что задолго до Руссо, примерно во времена Марко Поло, дело обстояло несколько иначе. Он мог жить до ста лет, и мы с радостью заботились бы о его благополучии — только тогда деньги отопли бы, скорее всего, не вам, а кому-нибудь другому. Мы знали, что он скоро умрет и искали вас в ужасной спешке.

— Ну, а что в таком случае было бы со мной?

— Вообще-то бессмысленно спрашивать, может быть, ничего, но всего вероятнее, что вы наследовали бы кому-нибудь другому.

— Это — я имею в виду смерть, наследство, соблазн, вообще все — так часто случается?

— Всяко бывает. В те времена выбор был очень небольшой. Но вообще говоря, недостатка в мандаринах нет. Чаще не хватает наследников, остро, то есть интересующих нас людей, готовых принять деньги. Мы нашли вас не без труда, страшно торопились и не были уверены, что сделали сносный выбор. Мы знали только, что вы впечатлительный холостяк из приличной семьи, находящийся в затруднительном материальном положении и интересующийся китайской живописью. Маловато. Тем не менее, наш представитель в Париже решил, что китайская культурная традиция придется вам по вкусу, и, как видите, не ошибся. В те времена Китаем еще никто не интересовался из чистого снобизма.

— Подождите, — сказал как-то раз очухавшийся Н., был поздний вечер, они стояли на палубе и смотрели на звезды, — из ваших слов следует, что не было никакого убийства, все это блеф, и суть его, в лучшем случае — хитроумное насаждение китайской культуры. Ни я, ни месье Д., ни его предшественники — никто никого не убивал, а эти деньги — по крайней мере, пока вы выбираете наследников безошибочно — голый, как скелет, соблазн, вечно, столетиями, предлагаемый, но никогда не используемый дар. Зачем все это нужно? Для чего вы клевете на самих себя?

— Клевещем? Отчего же? Ведь в документе об убийстве ни слова, разве только о вашем согласии на оное — и о вознаграждении за это согласие. Там не сказано, что вы получите наследство после того, как мандарин будет убит. Может быть, он умрет естественной смертью. В конце концов, можно наследовать и не убив — ведь никто из нас не бессмертен. Миллионеры — даже мультимиллионеры вроде вас — тоже не избегнут общей участи.

— Я понимаю, что вы хотите мне предложить. Собственно, если понимаю — значит наверняка согласен, заранее согласен. У меня тоже нет наследников, наверно, это неявно предусматривается если не договором, то расчетом. К тому же деньги в самом деле ваши. Только цветы, цветы мои. Хорошо, я подпишу.

— Обратите внимание, Н., — это вы нам предлагаете, а не наоборот. Конечно, это имелось в виду, но все-таки инициатива ваша. Я объясню вам, почему это важно, вообще, полезный урок. Запомните хорошенько: то, чего вы сами захотели, — неотвратимо.

— Да, раз мы в Китае. В Европе все иначе.

— Подождите, — сказал Н., стоя на палубе с китайским дипломом в руках, в то время как невозмутимый китаец усаживался в лодку. — Мы еще увидимся? И еще — я могу высадиться на берег, если захочу?

— Разумеется. Хоть сегодня. Карантин? Ерунда, кто может вам мешать? И потом, вы мандарин, господин всей бухты. Прикажете рыбам выпрыгнуть из воды, и, они, я полагаю, подчинятся.

Н. хотел что-то добавить, но китаец уже махнул рукой.

В следующий раз.

Непонятно только, зачем все это понадобилось — так сложно. Именно об этом и думал Н., сжимая обеими руками перила, — собственно, нет, понятно, даже очень — связь между двумя мирами не может быть простой, и, допустим, раз так, в этом есть какой-то смысл, но все-таки, зачем подбивать будущих адептов совершить убийство, да еще из корыстных соображений? Впечатляет — но неужели их больше нечем завлечь? Или важно, чтобы столь завораживающим, пугающим образом?

Может быть, они так считают, но почему он должен с ними соглашаться? Какое самоуничижение! В принципе они правы — при таком повороте почти обеспечена преемственность стыдливового адепта, ибо скоро начинает мучить совесть, а для человека хрупкого это каюк. Совесть его не отпустит, пока он не приплетется в Тинь-ха и не выяснит на месте, отчего умер его предшественник. Для этого он, если потребуется, освоит китайский язык и научится рисовать гуашью.

Да, но таковы европейцы. У китайцев, как известно, совести нет — так кто же, может быть, Марко Поло их надоумил?

## ВТОРОГО МАРТА ТОГО ГОДА...

Зима была ужасная: особенно сырой и душный мороз, особенно грязное ватное одеяло на самые плечи опустившегося неба. Еще с осени слег прадед, он медленно умирал на узкой ковровой кушетке, ласково глядя вокруг себя провалившимися желтовато-серыми глазами и не снимая филактерий с левой руки... Правой же он придерживал на животе плоскую, обшитую серой стершейся саржей электрогрелку, образчик технического прогресса начала века, привезенный из Вены сыном Александром, перед той еще войной, когда вернулся домой после восьмилетнего обучения за границей молодым профессором медицины.

Греть живот было строго запрещено, но от этого слабого нежизненного тепла утихала боль и сын — онколог уступил в конце концов и разрешил грелку. Он хорошо представлял себе и размеры опухоли, и области метастаз, и невозможность операции и преклонялся перед тихим мужеством отца, который за свою девяностолетнюю жизнь ни на что не пожаловался, ни о чем не посетовал.

Приходила из школы правнучка Лилечка, любимица, с блестящими коричневыми глазами и матовыми черными волосами, в коричневом форменном платьице, вся в следах мела и лиловых чернил, ласковая, розовая, влезала с краю на кушетку, под больной бок, натягивала на себя плед, ворохаясь локтями и пухлыми коленями и шептала прадеду в исхудавшее волосатое ухо:

— Ну рассказывай...

И старый Аарон рассказывал — то про Даниила, то про Гедеона. Про богатырей, красавиц, мудрецов и царей с мудренными именами, которые все были давно умершими родственниками, но впечатление у девочки оставалось такое, что прадед Аарон по своей древности некоторых помнил и знал.

Зима эта была ужасной и для Лилечки: она тоже чувствовала особую тяжесть неба, домашнее уныние и враждебность уличного воздуха. Ей шел двенадцатый год. Болело подмышками и противно чесались соски, и временами накатывала волна гадливого отвращения к этим маленьким переменам тела — припухлостям,

грубым темным волоскам, мельчайшим гнойничкам на лбу, и вся душа вслепую противилась этим неприятным, нечистым переменам тела. И все, все сплошь было пропитано отвращением и напоминало о морковно-желтой жирной пленке на грибном супе: и унылый Гедике, которого она ежедневно мучила на холодном пианино, и шерстяные колючие рейтузы, которые она натягивала на себя по утрам, и мертво-лиловые обложки тетрадей... И только под боком у прадеда, пахнувшего камфорой и старой бумагой, она освобождалась от тягостного наваждения.

Бабушка Бела Зиновьевна, тоже профессор, специалист по кожным заболеваниям, и Александр Ааронович были крепконогой парой, дружно тянущей немалый воз. Александр Ааронович, по-домашнему Сурик, был высокий, костистый и широкоухий человек, автор незамысловатых шуток и хитроумнейших операций, он любил говорить, что всю свою жизнь он предан двум дамам: Белочке и медицине. Низенькая полная Белочка с наведенными бровями, напыленным ртом и яркой сединой, конкуренции не боялась.

Какое-то странное волнение касалось их обоих, когда, придя с работы, они заставляли старика и девочку в самозабвенном общении. Переглядывались, и Белочка смахивала слезу от уголка подведенного глаза. Сурик многозначительно и предостерегающе постукивал пальцами по столу, Бела поднимала вверх раскрытую ладонь, — как будто это была азбука для глухонемых. Множество было у них таких движений, знаков, тайных бессловесных сообщений, так что в словах они мало нуждались, улавливая все взаимными сердечными токами.

Уходит старый отец, — понимали эти еще молодые старики, — и на пороге смерти передает свое сомнительное богатство младшему колену, девочке на пороге девичества. И хотя ветхие сказки древнего народа казались ученым профессорам наивной и изношенной одеждой человеческой мысли, а собственное их мышление было выточено и дисциплинировано школой европейского позитивизма в Вене и в Цюрихе, приучено к ловкой научной игре, и поклонялись они лишь одному картонному богу — изворотливому факту, и они мужественно существовали в честном и прискорбном атеизме, — оба они чувствовали, что здесь, на вытертой кушетке, рядом со снисходительно-неторопливой смертью, процветал небывалый оазис. Здесь не было ни врачей-отравителей, ни мистического страха перед злоумышлениями этих отравителей, охватившего миллионы людей. Дух этой действительной отравы — стра-

ха, гнусности и чертовщины отступал только здесь и, удрученные, ежедневно готовые к аресту, высылке, к чему угодно, ученые профессора медлили уходить из столовой, общей комнаты, где болел старик, садились в кресла возле редчайшей тогда редкости, телевизора, впрочем, не включенного, и вслушивались в старческое распевное воркование: речь шла о Мордехеае и Амане.

Они улыбались друг другу, тосковали и молчали о том безумии, в которое окунались каждый день за порогом своего дома...

Пережив большую войну, потеряв братьев, племянников, многочисленную родню, но сохранив друг друга, свою малую семью, всю полноту взаимного доверия, дружбы и нежности, добившись добротного и невызывающего успеха, они, казалось, могли бы еще полное десятилетие, пока здоровье, силы и опыт были в счастливом равновесии, жить так, как им всегда хотелось — с аппетитом работая всю чрезмерно-плотную неделю, уезжать с субботы на воскресенье на новую, недавно отстроенную дачу, играть в четыре руки Шуберта на плохоньком дачном инструменте, купаться в послеобеденные часы в кувшинчатой темной речушке, пить чай из самовара на деревянной веранде в косых лучах заходящего солнца, вечером читать Диккенса или Мериме и одновременно засыпать, обнявшись таким отлежавшимся за сорок с лишним лет образом, что и непонятно: форма выпуклостей и вогнутостей их тел в определенных позах гарантирует их устойчивое удобство или за эти годы, проведенные в ночном объятии, сами тела деформировались навстречу друг другу, чтобы образовать это единение.

И вполне, вполне хватило бы им омрачающих жизнь переживаний из-за давнего и тяжелого конфликта с сыном, избравшим добровольно такую область деятельности, куда нормального человека черт калачем не заманит. Он занимал большую, но неопределенную должность, жил на Северо-Востоке, за Полярным кругом, вместе со своей медведеобразной женой Шурой и младшим сыном Александром, и была какая-то насмешка судьбы в том, что самые несоединимые в семье люди назывались одним именем.

Старшую свою дочь, Лилю, сын привез в сорок третьем году в Вятку, в военный госпиталь, где родители его по двенадцать часов стояли у операционного стола. Девочке было пять месяцев, она весила три килограмма, была похожа на высохшую куклу и с этого дня, до самого конца войны, они работали в разные смены, обычно Александр Ааронович брал себе ночь. Лиля, Белой Зиновьевной выправленная, выкормленная, так и осталась у бабушки с дедуш-



кой, заново рожденная к славной доле профессорской внучки. Но приемных своих родителей, зная обидчивость родной матери Шуры, изредка приезжавшей, она звала Белочкой и Суриком, а прадеда — дедушкой.

Теперь Бела и Сурик сидели в мягких старых креслах в суровых чехлах, вполоборота к кушетке и делали вид, что не слушают, о чем там шепчутся старик и девочка.

— Дедуль, — ужасалась Лиля, — и что же, всех-всех врагов — на дереве повесили?

— Я же не говорю тебе: это плохо, это хорошо. Я говорю, как было, — с сожалением в голосе ответил прадед.

— Другие придут, и отомстят, и убьют Мордехая... — с тоской проговорила девочка.

— Ну, конечно, — неизвестно чему обрадовался прадед, — конечно, так все потом и было. Пришли другие, убили этих, и опять. Вообще, я тебе скажу, Израиль жив не победой, Израиль жив... — он приложил левую руку в филактериях ко лбу и поднял пальцы вверх, — ты понимаешь?

— Богом? — спросила девочка.

— Я же говорю, ты умница, — улыбнулся совершенно беззубым младенческим ртом дед Аарон.

— Ты слышишь, чем он забивает голову ребенку? — грустно спросила Бела у мужа, когда они остались в своей комнате с двухспальным, как шутил Сурик, письменным столом...

— Белочка, он простой сапожник, мой отец. Не мне его учить. Знаешь, иногда я думаю, было бы лучше, если бы я и остался сапожником, — хмуро сказал Сурик.

— О чем ты говоришь? Обратно уже не пускают! — раздраженно ответила умная Белочка.

— Тогда ты можешь не волноваться из-за Лилечки, — усмехнулся он.

— А! — махнула рукой Бела. Она была практичной и не такой уж возвышенной. — Этого я как раз не боюсь! Я боюсь, что она сболтнет что-нибудь в школе!

— Душа моя! Но именно теперь это уже не имеет никакого значения, — пожал плечами Сурик.

\* \* \*

Бела Зиновьевна беспокоилась напрасно. Лилия ничего не смогла бы сболтнуть: с самой осени в классе с ней не разговаривали. Никто, кроме Нинки Князевой, которую все переводили в школу

для дефективных, да никак бумаг не могли собрать. Крупная, редко красиво, не по-северному рано развившаяся Нинка была единственной девочкой в классе, которая, по своему слабоумию, не только с Лилей здоровалась, но и охотно становилась с ней в пару, когда выводили это шумно пишущее стадо в какой-нибудь объясительно-краснознаменный музей.

У времени были свои навязчивые привычки: татары дружили с татарами, троечники с троечниками, дети врачей — с детьми врачей. Дети еврейских врачей — в особенности. Такой мелочной, смехотворной кастовости и древняя Индия не знала. Лиля осталась без подруги: Таню Коган, соседку и одноклассницу родители отправили в Ригу к родственникам еще до Нового Года, и потому последние два месяца были для Лили совсем уж непереносимыми.

Любой взрыв смеха, оживления, любой шопот — все казалось Лиле направленным против нее. Какое-то темное жужжание слышала она вокруг, это было жукастое черно-коричневое "ж", выползающее из слова "жидовка". И самым мучительным было то, что это темное, липкое и смолистое было связано с их фамилией, с дедом Аароном, его кожаными пахучими книгами, с медовым и коричневым восточным запахом и текучим золотым светом, который окружал деда и занимал левый угол комнаты, где он лежал.

И к тому же — оба эти чувства непостижимым образом, навсегда были сложены вместе: домашнее золотое свечение и уличное коричневое жужжание...

Едва раздавался хриплый и долгожданный звонок-освободитель, Лиля смахивала свои образцовые тетради в портфель и неслась на тяжелых ножках к раздевалке, чтобы скорее-скорее, не застегивая пуговиц и злобного подшейного крючка, выскочить на воздух и быстро, через комья снежно-серой каши, через лужи с битым льдом, спадающими калошами брызгая на чулки, на подол пальто, еще через один двор, и в свой подъезд, где успокаивающе пахнет сырой известкой, дальше лестница на второй этаж без площадки, с плавным поворотом, к высокой черной двери, где теплая медная пластинка с фамилией Жижморский, их ужасной, невозможной, постыдной фамилией.

В последнее время прибавилось еще одно испытание: у выхода из школьного двора, раскачиваясь на высоченных ржавых воротах, ее поджидал страшный человек Витька Бодров, по-дворовому, Бодрик. У него были жестяно-синие глаза и лицо без подробностей.

Игра была незамысловата. Выход из школьного двора был один, через эти самые ворота. Когда Лиля подходила к ним, стараясь погуще затесаться в толпу, чуткие одноклассницы либо отступали немного, либо пробегали вперед, а когда она вступала в опасное пространство, Бодрик отталкивался ногой и, чуть пропустив ее вперед, направлял скрипящие ворота ей в спину. Удар был не сильный, но оскорбительный. Каждый день сообщал игре нечто новое. Однажды Лиля развернулась, чтобы принять удар не спиной, но лицом, схватилась за железные прутья и повисла на них.

В другой раз она встала поодаль ворот и долго ждала, делая вид, что и не собирается идти домой. Но у Бодрика и терпения, и свободного времени было предостаточно и, продержав ее так с полчаса, он с удовольствием пронаблюдал, как она пытается протиснуться между прутьями ограды. Попытка эта не удалась, в эту узкую щель едва могла протиснуться самая худенькая из девочек, да к тому же не отягощенная толстым пальто.

Как-то раз ей удалось проскочить перед старой учительницей Антониной Владимировной, изобразившей своим восточно-сибирским лицом крайнее удивление по поводу такой невоспитанности.

День ото дня аттракцион развивался. На него собирались поглазеть все, кому не жаль было времени. Зрителей день ото дня становилось все больше, и как раз накануне они были вознаграждены захватывающим зрелищем: Лиля предприняла отчаянную и почти удачную попытку перелезть через школьную ограду, увенчанную плоскими чугунными пиками. Сначала она просунула между прутьями свой портфель, а потом поставила ногу в заранее намеченном месте, где несколько прутьев было изогнуто. Она долезла до самого верха, перекинула одну ногу, потом вторую и тут поняла, что сделала ошибку, не развернувшись лицом к изгороди. Замирая от страха, она проделала разворот и медленно потекла вниз, прижимаясь лицом к ржавому железу.

Пола ее пальто зацепилась за пику, натянулась. Сначала она не поняла, что ее держит, потом рванулась. Честный коверкот старого профессорского пальто, доживающего свою перелицованную жизнь на юном пухлом теле, напрягся, сопротивляясь каждой своей добротной-крученой ниткой, напружинился.

Восторженные наблюдатели загудели, Лиля рванулась, как большая толстая птица, и пальто отпустило ее, издав хриплый треск. Когда она сползла на землю, Бодрик стоял возле нее, держа в руках испачкавшийся портфель и ласково улыбался:

— А ты молодец, Лилка. Изворотливая. А еще слазишь?

И обманным охотничьим движением он подбросил ее портфель как бы легонько, но кисть его была точна, как у австралийского аборигена. Портфель взвился вверх, качнул боками, развернулся в воздухе и шлепнулся по ту сторону ограды. И все засмеялись.

Лиля подняла упавшую шерстяную шапочку с двумя глупыми хвостами и, не оглядываясь, все силы собрав на то, чтобы не бежать, пошла к дому.

Ее не преследовали. Через полчаса преданная Нинка принесла ей вытертый носовым платком портфель и сунула его в дверь.

Утром Лиля пыталась заболеть, пожаловалась на горло. Бела Зиновьевна заглянула ей бегло в рот, сунула подмышку градусник, поймала взглядом исчезающий столбик ртути и хмуро вынесла приговор:

— Вставай, девочка, надо работать. Всем надо работать.

В этом состояла ее религия, и богохульства лени она не допускала. Лиля уныло поплелась в школу и просидела три урока, томясь неизбежностью прохода черед адовы врата. А на четвертом уроке произошло нечто.

Было всего лишь первое марта и руль непотопляемого корабля не выпал еще из рук Великого Кормчего. Александр Ааронович и Бела Зиновьевна, если бы узнали об этом невероятном поступке от скрытной Лилечки, высоко бы его оценили.

Итак, на четвертом уроке, ближе к концу, Антонина Владимировна, сверкая самой одухотворенной частью своего лица, железными зубами, состоящими в металлическом диалоге с серебряной брошечкой у ворота в форме завитой крендельком какашки, взяла в руки полутораметровую полированную указку и направилась к пыльному пестрому плакату в торце класса. Держа указку как рапиру, она ткнула ею в негнущееся слово "интернациональный"...

— Посмотрите сюда, дети, — она так и говорила "дети", ни гимназическое "девочки", ни безликое "ребята", — здесь изображены представители всех народов нашей великой многонациональной родины. Видите, здесь и русские, и украинцы, и грузины, и... — Лиля сидела вполоборота назад в тихом ужасе, — неужели она сейчас это произнесет и весь класс обернется к ней, — и татары, — продолжала учительница. Все обернулись на Раю Ахметову, лицо ее налилось темной кровью. А Антонина Владимировна все неслась по опасному пути, — и армяне, и азербайджанцы, — так и сказала "азербайджанцы"... мимо, мимо... нет! ... — и евреи!

Лиля замерла. Весь класс обернулся в ее сторону.

Дура святая, чистопородная разночинка, от деда-пономаря, от матери-прачки, дева чистая, с медсправкой "виргина интакта", с удочеренной в войну сиротой, косой и злой Зойкой, поклонница Чернышевского, обожательница Клары Цеткин, Розы Люксембург и Надежды Константиновны, — была в ней такая провидчески-феминистическая жилка — верующая в "материю первична", как ее дед-пономарь в Пречистую Богородицу, честная, как оконное стекло, она твердо знала, что враги — врагами, а евреи — евреями.

Но величия этого поступка Лиля тогда не поняла. Голым просветом между коротким чулком и тугой резинкой ненавистных голубых штанов на щекочуще-китайском начесе она прилипла к выкрашенной маслом парте.

— И все народы у нас равны, — продолжала Антонина Владимировна свое святое учительское дело, — и нет плохих народов, у каждого народа бывают и свои герои, и свои преступники, и даже враги народа...

Она еще что-то говорила нужное, лишнее, но Лиля ее не слышала. Она чувствовала какую-то маленькую жилку, как она бьется возле носа и трогала пальцем это место, соображая, заметно ли это дерганье ее соседке через проход Светке Багатурия.

\* \* \*

Возле школьных ворот Лилю ожидала удача: Бодрика не было. С чувством полного и навсегда освобождения, совсем не подумав о том, что он может появиться опять послезавтра, вприпрыжку она понеслась домой. Дверь подъезда, обычно плотно удерживаемая тугой пружиной, была на этот раз чуть приоткрыта, но Лиля не обратила на это внимания. Она распахнула ее и, шагнув со света во тьму, смогла различить только темный силуэт стоящего у внутренней двери человека. Это был Бодрик. Это он слегка придерживал дверь ногой, чтобы заранее разглядеть входящего.

Их разделяли теперь два шага полной тьмы, но она почему-то увидела, что стоит он, прижавшись спиной к внутренней двери, раскинув крестом руки и склонив на бок густо-русую голову.

Он был актером, этот Бодрик, и теперь он изображал что-то страшное и важное, думал, что Христа, а в самом деле маленького, дерзкого и несчастного разбойника. А девочка стояла напротив, со скорбно-семитским лицом, — высоким переносьем тонкого носа, книзу опущенными наружными углами глаз, с нежным выпуклым ртом, с тем самым лицом, какое было у Марии Иосиевой...

— А зачем ваши евреи нашего Христа распяли? — спросил он ехидным голосом. Спросил так, как будто распяли евреи этого Христа исключительно для того, чтобы дать ему, Бодрику, полное и святое право шлепать Лильку по задку ржавыми железными воротами.

Она замерла в ожидании, словно забыв о возможности выскочить на улицу, сбежать немедленно. Ведь дверь парадного была у нее за спиной. Она почему-то стояла столбом.

Бодрик шагнул к ней, обхватил крепко, скользнул руками вниз и, задрав незастегнутое пальто, попал рукой как раз на голый промежуток между чулком и подтянутой к самому паху резинкой от штанов.

Она вывернулась, метнулась в угол, ткнула Бодрика в какое-то уступчивое место портфелем. Он охнул, а она, в полной темноте сразу попав пальцами в дверную ручку, выскочила на улицу. Плотное розовое пламя вспыхнуло в голове, весь воздух вокруг воспламенился и все залилось такой красной могучей яростью, что она задрожала, едва вмещающая в себя огромность этого чувства, которому не было ни названия, ни границ.

Дверь медленно открылась. Плечом вперед, чуть косо, выходил Бодрик. Она бросилась на него, схватила его за плечи и, взыв, со всей силой трянула о дверь. От неожиданности нападения он совершенно растерялся. То сложное чувство, которое он к ней давно испытывал, смесь тяги, злости, неосознанной зависти к ее сытой и чистой жизни по своей мощи и внутренней оправданности не шло в сравнение с огненным взрывом ярости, бушевавшим в ее душе.

Он пытался оторвать ее от себя, стряхнуть, но это было невозможно. Он даже не мог как следует размахнуться, чтобы ее треснуть. Ему удалось только переместиться за угол от парадного, в некую слепую выемку стены, где они не были видны всем проходящим по двору. Но это было не к лучшему. Она трясла его за плечи, голова его ударялась о серый шершавый камень, он лязгал зубами и единственное, что он смог, — выпростав руку, смазать ее два раза по мокрому красному лицу, причем, не по-мужски, кулаком, а всей распушенной пятерней, оставив на ее лице четыре грубых грязных царапины. Но она этого не почувствовала. Она все кидала его о стену, пока вдруг ярость ее, как надувной красный шар, не оторвалась от нее и не улетела. Тогда она отпустила его и, повернувшись незащищенной спиной и вовсе не думая о возможном нападении сзади, беспрепятственно ушла в свое парадное...

\* \* \*

...Как он нравился ей минувшим летом... Она стояла за тюлевой занавеской бабушкиной комнаты и часами наблюдала, как он размахивал длинным шестом с развевающейся на конце тряпкой, как его голуби, лениво поднимаясь, сначала беспорядочной неопрятной кучей вились над голубятней, а потом выстраивались, делали широкие плавные круги, все шире, шире и уносились в чисто-вымытое теплое небо. Проходя мимо их жилья, двухоконного низкого строения с прилепленной голубятней, сараем и курятником, она замедляла шаг, разглядывая увлекательные внутренности чужой частной жизни: их железные бочки, верстак, у которого работал старший Бодров, вышедший тогда на временную свободу из своего обычного заключения, лежащую на земле где-то свинченную ржавую колонку...

В конце лета Бела Зиновьевна, неуклонно исполняющая какие-то анахронические, ей одной ведомые обязательства богатых перед бедными, послала Лилию в дом дворничихи с жестко-отглаженной, аккуратно сложенной стопкой ее, Лилечкиных вещей, из которых в этом году она так стремительно вырастала. Девочки Бодровы, Нинка и Нюшка, с визгом и шумом разделили Лилино добро, Тонька-дворничиха поблагодарила и сунула Лиле в руку маленький зеленый огурец, а Бодрик, еще издали завидев Лилию, убрался к своим голубям, кроликам и цыплятам и не показался во все время, что Лилия оставалась в их отгороженном от общего двора загоне. А Лилия все поглядывала в ту сторону, не выйдет ли...

И только теперь, в парадном, она поняла, что в этом и было самое ужасное.

\* \* \*

Старой Насти, жившей у них лет двадцать, дома не было. Прадед, к которому было сунулась Лилечка, безучастно спал, изредка всхрапывая. Она забилась в бабушкину комнату, на "горестный диванчик", как называла Бела Зиновьевна кресло-рекамье, единственный неудвоенный предмет в своем царстве парности, где все двоилось, словно комната была перегороджена вдоль невидимым зеркалом: две гордые кровати с бронзовыми накладками, две прикроватные тумбочки, две одинаковых рамы чуть разнящихся между собой картин. На этом "горестном диванчике" спала обыкновенно Лилия во время болезни, когда бабушка забирала ее в свою комнату. Сюда приходила поплакать, когда случалось в ее детской жизни какое-нибудь огорчение.

Сейчас ее знобило, ныло внизу живота, и она свернулась на диванчике, укрывшись с головой тяжелым клетчатым халатом с витым, местами отпоротым лиловым шнуром. Ей хотелось уснуть, и она мгновенно уснула, все держа в голове не уходящую и во сне мысль: как хочется уснуть...

Сон был хоть и долгий, но весь застывший на одной ноте — нудной боли и безмерного отвращения. Отвращения к шершавой ткани диванной подушки, к мыльному неприлично-исподнему запаху "Красной Москвы", любимых бабушкиных духов. И все это покрывалось безмерным желанием уйти ото всего этого в какую-то круглую, теплую, давно ей знакомую щель и погрузиться там в сон более глубокий, где нет ни запахов, ни боли, ни тревожного стыда, неизвестно откуда взявшегося. Туда, где ничего, совсем ничего нет.

Она не слышала глухой суеты за стеной возле деда, Настиных всхлипов, тихого звяканья шприца. Прадеду было худо.

Поздно, в восьмом часу вечера разбудила ее бабушка и оказалось, что ей все-таки удалось уйти совсем далеко, потому что, проснувшись, она не сразу сообразила, где находится, — из такой далекой дали вернулась она в бабушкину комнату, в парно-симметричный и правильный мир и поразилась склоненному над ней яркому лицу, которое было словно перевернутым и неузнаваемым, как будто просторы сна, в котором она пребывала, были по природе своей столь убедительно-единственными, что исключали и самую возможность какой бы то ни было парности, симметрии.

Бела Зиновьевна, со своей стороны, с изумлением разглядывала четыре свежих царапины, которые шли ото лба через щеки к самому подбородку.

— Господи, Лиля, что с твоим лицом? — спросила Бела Зиновьевна.

Девочка на минуту задумалась, — так глубоко она забыла дневное происшествие. Потом оно всплыло, вместе со всей предыдущей неделей и прошлым летом, но всплыло в совершенно неузнаваемом, измененно-ничтожном виде. Оно было чепухой, незначительной мелочью, давним-давнишним полузабытым событием.

— Ерунда, с Бодриком подралась, — беспечно, улыбаясь сонным лицом, ответила Лиля.

— То есть как — подралась? — переспросила Бела Зиновьевна.

— Да глупости какие-то, зачем Христа распяли... — улыбнулась Лиля.



— Что? — сведя свои черные брови, переспросила Бела Зиновьевна. И, не слушая ответа, велела ей немедленно одеваться.

Отблеск того гнева, что обуял Лилию около подъезда, взметнулся над ее бабушкой.

— Какая низость, какая черная неблагодарность, — хлопотала Бела Зиновьевна, волоча за руку упирающуюся Лилечку к Бодровскому жилью. И дело было не в аккуратных тридцатках, которые Бела Зиновьевна пунктуально преподносила на праздники этой опустившейся несчастной пьянчужке, и не в стопочках старых Лилечкиных, очень еще приличных вещей, а дело было в том, что по симметрическим понятиям ее справедливости не мог Тонькин сын руку поднять на ее чистенькую ясную девочку, на ее розово-смуглое личико, оскорбить ее своим грязным прикосновением, этими ужасными царапинами. Надо было, кстати, перекисью промыть...

Бела Зиновьевна постучала и, не дожидаясь отзыва, распахнула кривую дверь. В комнате с большой печью, с низко натянутыми веревками с сырым бельем как-то не сразу можно было и разглядеть, где что, где кто. Пахло еще хуже, чем от "Красной Москвы": не лживым исподним, а самым что ни есть страшным низом — мочой, гнилью, грибом и водорослью.

— Тоня! — повелительным голосом окликнула Бела Зиновьевна и за печкой что-то зашебуршало.

Лилия озиралась по сторонам. Больше всего ее поразил пол. Он был земляной, кое-где покрытый неровными досками. В углу, на железной широкой кровати с ржавыми прутьями, точно такими же, что на школьной ограде, на пестром одеяле лежал Бодрик. В ногах его сидели Нинка с Нюшкой и наматывали на спинку кровати широкие мятые ленты, старательно оплевывая их перед тем, как сделать очередной виток. Возле кровати на полу стоял мятый, потерявший былую округлость таз.

Из-за печки, оправляя на ходу юбку, вышла, слегка покачиваясь низенькая Тонька.

— Тута я, Белзиновна! — она улыбалась и на каждой щеке ее широкого плоского лица промялось по большой и круглой, как пупок, ямке.

— Ты посмотри-ка, что твой Виктор с моей девочкой проделал! — строго сказала Бела Зиновьевна, а Тоня таращила свои белесые глаза и все никак не могла понять, что ж такое он наделал. В тусклом освещении царапины, так оскорбившие Белу Зиновьевну, были вообще не заметны. Лилия пятилась задом к порогу. Ей было

стыдно. Витька мотнул головой, свесился с постели и тихо блевал в таз.

— Ах ты, зараза! — повернувшись к сыну, крикнула Тонька. — А ну вставай, чего разлегся...

Они обе молчали, когда шли через двор. Лиля опять тащилась позади, и снова ей было так же тяжело, как днем, перед тем, как уснуть. Дома она зашла в уборную, заперлась на крючок и села на унитаз, обхватив руками ноющий живот. Так плохо ей никогда еще не было. Она посмотрела на свои спущенные штаны и увидела на их поднебесной синеве кровавое тюльпановое пятно.

— Я умираю, — догадалась девочка. — И так ужасно, так стыдно.

В этот момент она забыла обо всем том, о чем бабушка ее предупреждала. С отвращением стянула с себя испачканные штаны, сунула их под перевернутое ведро для мытья полов и, опустив исцарапанное лицо в холодные ладони, со стеклянеющим сердцем стала ждать смерти...

\* \* \*

А смерть, подгоняемая ожиданием, действительно входила в дом. На ковровой кушетке делал последние редкие вдохи старый сапожник Аарон. Он был в забытии. Веки, давно утратившие ресницы, были закрыты не совсем плотно, но глаз его видно не было, только мутная белесая пленочка. Иссохшие руки лежали поверх одеяла, и на левой были намотаны изношенные кожаные ремешки, которые он, вопреки обычаю, месяц как не снимал. Дети его, профессора, обремененные многими медицинскими познаниями, такими громоздкими и бессмысленными, стояли у его изголовья.

В дворницкой, на железной кровати, лежал Бодрик. У него было сотрясение мозга средней тяжести.

На узкой кушетке, в своем подмосковном доме, укрытый до половины старым солдатским одеялом, лежал мертвый человек.

Но было еще только второе марта и пройдет несколько огромных дней, прежде чем выйдет на деревянные подмостки Лилечкин отец, сын приличных родителей, отекающий, с черным от горя сердцем и невинно-голубыми погонами и объявит многотысячному серому прямоугольнику, — той части великого народа, что терялась в обесцвеченной немогущей полиграфией дали на пестреньком плакате в торце Лилечкиного класса, о том, что он умер.

А про запершуюся в уборной девочку в ту ночь забыли.

## В КЛУБЕ

Миновав унылую громаду Коммерциала, вы начинаете спускаться по улице Принсес Мэри. Попадающиеся сегодня навстречу лица как на подбор грубо очерчены, их широкие скулы и крупные, бесстыдно открытые солнцу поры заставляют ускорить шаг. Примерно на полпути между магазином Вольфа и "Юнион бэнком" плотно пригнанные друг к другу дома, наконец, расступаются, давая возможность проникнуть внутрь квартала. Вы медлите секунду-другую, будто не решили еще окончательно, а потом ныряете в проулок.

Метров через пятьдесят он резко уходит вправо — оттого-то кажется с улицы тупичком — и упирается в просторную, обсаженную столетними акациями, площадь, в центре которой на круглом каменном пьедестале, застыли львы недействующего фонтана. После яркого света улицы неожиданно глубокая тень на какое-то мгновение лишает вас зрения, и, лишь по привычке, вы замечаете припаркованный справа "Оппель-кадет", а чуть поодаль неизвестно как протиснувшийся сюда "Плимут".

Теперь вы непрочь немного продлить прогулку и потому, отказавшись от первоначальной мысли пересечь площадь наискосок, начинаете обходить ее по периметру мимо адвокатской конторы Готлиба, мимо мебельного склада, мимо высокого забора Управления военной разведки, мимо, наконец, дома Вюртенбергов, который, по слухам, после смерти старика вдова собирается продать муниципалитету, и только потом, впитав всего понемногу, приближаетесь к самому Клубу. Легонько касаясь рукой прохладной каменной кладки и никуда не торопясь, вы движетесь от фланга к центру, задерживаетесь на мгновение у таблички, на которой значится "частное владение", оглядываете напоследок так и оставшуюся пустынной площадь и толкаете тяжелую дубовую дверь.

Старик Салим сидит на высоком табурете в своем неизменном костюме из светлого шевиота. Дрожит иссохшая рука, позвякивают ей в такт кусочки льда в бокале, привратник, похоже, дрем-

лет. Во всяком случае он никак не показывает, что признал, но признал, признал — можно не сомневаться. Тут же на конторке внутренний телефон — связь с дирекцией — и кнопка вызова полиции, к услугам которой, впрочем, прибегают лишь в самом крайнем случае.

Салим в определенном смысле был здесь всегда. Рассказывают, что совсем еще мальчиком — родом привратник из весьма знатной семьи, их дом до сих пор показывают приезжим — он обратил на себя внимание адъютанта генерала Маунтбатена. Произошло это на приеме по случаю вступления британских войск в город, и присутствовали все местные нотабли. О разыгравшейся потом драме ходило много разных пересудов. Главнейшую роль сыграла, разумеется, ревность, хотя не обошлось и без политики. Адъютант был застрелен, расследование предпочли замять. Салим в родительский дом уже не вернулся, учился в Англии, а где-то в середине двадцатых годов снова объявился в Клубе. Долгие годы работал официантом, собрал деньги и откупил себе мезонин — тут же, наверху.

Сейчас, значит, старику должно быть под девяносто. Ничего удивительного: у них в роду живут долго. Есть, впрочем, и другая версия, скорее фантастическая: некоторые утверждают, что убили то как раз Салима, сам адъютант и застрелил в минуту помрачения, а теперь вот всю жизнь обречен оплакивать. Будто взял себе — древнему следуя этих мест обычаю — имя убитого, оставил армейскую карьеру и обосновался в городе. Всяко может быть — адъютант и сам-то тогда мальчишка был, лет девятнадцать. Не больше.

...В клубной зале в этот час всего четверо посетителей. Они расположились в углу на двух зеленоватым плюшем обитых кушетках как раз под лениво вращающейся лопастью вентилятора. В вашу сторону приветственно воздеваются руки, и вы присоединяетесь к компании, коротающей время до обеда за беседой и оранжадом.

Говорят о женщинах.

— Помилуйте, господа, это ведь получается тот же предрасудок, — Томер, самый молодой из присутствующих, огорченно скидывает свои огромные ресницы, — Стыдно, право!

— Вам, друг мой, вольно оболящаться, — стоит на своем покровительствующий юноше Стюарт, — но поверьте старому человеку: за ласковым фасадом у них всегда имеется какой-нибудь мотив... вполне практический.

Произнося эти слова, Стюарт отрывается от трубки и насмешливо, но и с нежностью, тут ошибки быть не может, смотрит на Томера. Остальные двое, мрачноватый Алекс и его атлетического сложения приятель Дэвид, о котором вы прежде только слыхали, погружены в чтение газет. Между ними чувствуется неловкость; утром вернулись с побережья, и там вышла какая-то размолвка.

— Ну вот, пожалуйста, совсем недавний случай, — Томер ищет у вас поддержки, и вы киваете ободряюще, — позвольте мне рассказать, и сами убедитесь.

— Послушайте, Стюарт, — это подает голос Алекс, — может, действительно, не стоит так поспешно. В любом случае, почему бы нам не выслушать нашего друга. В этом городе, право, не слишком часто происходит что-то, заслуживающее внимания, так что пусть уж Томер расскажет свой случай, а вам мы доверяем вынести после окончательное суждение. С вашим жизненным опытом...

Стюарт действительно намного старше остальных, он служил в ВВС еще в кампанию 56-го года, и все в один голос просят его быть арбитром, обещая без споров и возражений принять вердикт, каким бы тот ни был. Некоторое время Стюарт еще упирается — чтобы поддразнить Томера — но потом уступает настоянию друзей. Вы устраиваетесь поудобнее, и тут как раз снизу поднимается официант, разносящий напитки. Когда он удаляется, Дэвид поднимает глаза от газеты и выражает свое удивление:

— Позвольте, господа, а куда делся легконогий Хасан?

— Как, вы не знаете? — Стюарту еще вчера сообщили о переманах, — Разжалован на кухню. Могло и куда хуже обернуться, если бы Мики обратился в полицию.

На лицах недоумение, и Стюарт продолжает.

— Хотя в сущности сам виноват. Есть некоторая граница, которую никогда не следует переходить. Арабчонок действительно получился необыкновенный, мы все, полагаю, обратили внимание, но везти его с собой в Кесарию, да еще селить в своем номере — это, согласитесь, ни в какие ворота не лезет.

— Немудрено, что у мальчишки голова закружилась — возьми да обчисти патрона. Главное, явно сдуру. — На что он, собственно, надеялся?

— Хорошо, что не зарезал, — бурчит Алекс, который терпеть не может Мики.

— Ну-ну, зачем преувеличивать, — Стюарт морщится, как всегда, когда приходится сталкиваться с недостатком вкуса. —

Просто нельзя забывать о дистанции.

Томер рассеянно играет малиновым платком. Достает его из кармашка сорочки, укладывает назад. О происшествии он уже слышал, и сейчас досадует, что никак не удастся начать обещанную историю. Наконец, кесарийский сюжет исчерпан, и внимание слушателей безраздельно принадлежит ему.

— Так мне рассказывать, господа? — спрашивает он, и все подтверждают свою готовность слушать.

Вы хотите еще что-то уточнить касательно Мики, но уступаете нетерпению Томера, и он начинает:

— Весной этого года случилось мне принять участие в одном театральном начинании. Если помните, город тогда захлестнула волна уличного лицедейства, и на площадях почти ежевечерне что-нибудь происходило. Был у меня в то время приятель-бельгиец, вы его не знаете — он и свел с режиссером труппы, называвшейся "Брейзенс". Название меня покорило, но замысел показался интересным, и я к ним присоединился.

— Я ведь одно время посещал актерскую школу, всерьез думал о карьере, но это уже, можно сказать, забылось. И вдруг снова окунуться в атмосферу игры, опьянеть от тепла, от рискованности предприятия. Риск, как вы прекрасно понимаете, в театре всегда присутствует, но тут было еще нечто дополнительное — сейчас станет ясно.

— Пьесы как таковой не существовало — она рождалась по ходу репетиций, имелся лишь общий замысел. Тема: история человеческих жертвоприношений. Звучит, может быть, несколько дико, но не надо понимать слишком буквально. Хотя и жертвенник, и настоящий огонь — все это присутствовало.

— Мыслился спектакль как последовательность отдельных, между собой не связанных сцен, каждая из которых завершалась жертвоприношением. Не стану описывать в деталях, это заняло бы слишком много времени, скажу только, что мы с Питером — так звали бельгийца — были заняты в четвертом по счету эпизоде, то есть после того, как исчерпались библейские сюжеты. Сцена наша была безмолвной — скорее танец, чем драма. Мы появлялись обнаженными, на самом деле лишь по пояс, но благодаря специальной ширме, отделявшей актеров от зрителей, возникала иллюзия полной обнаженности. Надо сказать, что у Питера совершенно уникальное тело, создающее вокруг особое поле, и на репетициях это все ощущали, да и потом, ночью, когда, уставшие, выходили

мы в город, я видел, какими взглядами его провожали. Арендвала труппа какой-то грязный склад, там даже душа не было, и как раз самая духота, а у него ни капельки пота.

— Но вернемся к нашей с Питером сцене. В ней участвовала еще одна молоденькая актриса со странным именем Доня. Ничего примечательного. К тому же появлялась она одетая, в какой-то пестренькой ковбойке, одним словом, визуально нам безнадежно проигрывала. Тем током, который, однажды возникнув между мной и бельгийцем, непрерывно потом усиливался, ее буквально отшвыривало в сторону, обжигало, валило на дощатый помост. Таков сложился замысел режиссера, и пластически это нам удавалось довольно точно... Включая эффектный финал с сожжением Дони, которая, как вы, конечно, уже догадались, и оказывалась той самой жертвой.

— По существу, если отвлечься от алтаря и языков пламени, речь шла о банальном треугольнике, о неловких и, пожалуй, даже трогательных попытках актрисы удержать сначала одного из нас, потом — другого. Сюжетно ничего из ряда вон выходящего, если бы не соединявший два наших обнаженных торса ток, о котором я упомянул, благодаря ему действию сообщалась тревожная острота, что, кстати, выгодно отличало сцену — в целом-то спектакль получался холодный, головной.

— Но что странно: вне репетиций воспроизвести это ощущение не удавалось. То-есть я любовался Питером, перехватывал обращенные на него взгляды, но увлечен не был. Какое-то существовало неясное препятствие. Другое дело... Рассказ ведь мой о женщине, так вот, Доню он буквально завораживал, и бедняжка, похоже, всерьез страдала от своей роли предписанной отторженности. Доня еще у нас выйдет на первый план, но пока что оставим ее в нашей с бельгийцем тени.

— Представление было назначено на вечер субботы. Когда высыпают гуляющие, да и темнота сгустится, чтобы пламя на фоне ночного неба. Жертвенник установили заранее, и как подожгли, публика сразу потянулась на огонь.

— Бельгиец появился в самый последний момент, ничего не объясняя, да и днем не позвонил, как обещал. Меня же с утра лихорадило — дурное предзнаменование. Начали вяло. Но потом, вроде, пошло поживее. Мы стояли за большими деревянными щитами сбоку от алтаря, и оттуда довольно трудно было понять, что происходит. Только голоса слышали. И выкрики... Да, забыл ска-

зять: не только наш с Питером эпизод, но и все остальное действо шло практически без текста. Лишь треск горящего дерева да звуки тамбурина.

— Выход предполагался эффектный: мы поднимались по ступенькам, обняв друг друга за плечи, сначала публика видела только наши головы, потом, постепенно, открывался торс вплоть до линии бедер. А вокруг мечется на фоне зарева Доня — нескладная, в подростковой ковбойке, завязанной узлом на животе. В какой-то момент ей удастся нас разлучить, развести по противоположным углам помоста, и вот тут-то во время репетиций всегда начинал течь тот самый горячий ток.

— Как только мы поднялись — я же говорю, что день с самого утра не заладился, — ударили крики из толпы. То есть кричали и прежде, но теперь я понял, что это от озлобления. И причина была не во мне и не в бельгийце, их уже раньше что-то взбудоражило. Один взвизгнул, другой, и пошло... Тамбурина мы пока еще слышали отчетливо, он все-таки ближе к нам находился, и потому могли продолжать.

— Но увы! Хотя тело Питера и оставалось в отблесках пламени все тем же, единственным в своем роде, телом — ему по замыслу отводилась роль лидера, а я увлекаем им был — и хотя Доня с ее ломким отчаянием вела свою партию весьма убедительно, все оканчивалось напрасно: тока не возникало.

— Теперь, задним числом, я понимаю, что его исчезновение перед спектаклем не случайно, — все выстраивается в ряд. Что конкретно произошло, так и осталось мне неизвестным, но вы же знаете, какое тонкое дело эта связь, тут любая мелочь... Одним словом, он начисто перестал меня чувствовать, и какие-то ничтожные четыре метра, разделявшие нас, буквально на глазах оборачивались пропастью.

— Потом мы все сошлись в середине сцены. Тут было довольно трудное технически место: не прерывая танца, мы поднимали Доню на вытянутых руках и довольно долго держали так на фоне бушующего сзади огня. Намеком на приближающуюся развязку — режиссер обожал символическое. Тогда я и увидел у него на шее, сбоку, капельки пота, и сразу же в ноздри ударил запах страха.

— Стояло полное безветрие, и прошло еще несколько секунд, пока запах добрался до толпы. Под правым соском у бельгийца моментально расплылось красное пятно. Внизу загоготали, а клубничина, помедлив, потекла вниз. Кричали непристойности —



им ни в коем случае нельзя показывать слабость, они от этого звереют. И главное, невозможно оглянуться, невозможно сориентироваться, что происходит: мы ведь продолжаем держать Доню на вытянутых руках. Приходилось полагаться на тамбуриниста, а тот, видя из укрытия одни наши спины, держал ритм как ни в чем ни бывало.

— Как только мы ее опустили, бросили первый камень, прошедшийся бельгийцу в щеку. Ладно, не будем преувеличивать, не камень, а всего лишь осколок какой-то, щебенка. Крови вышло совсем немного, но Питер, и без того державшийся на пределе, побледнел и, чуть не упав, ухватился за меня. Тут Тамбурин впервые осекся, но через мгновение — режиссер там метался между публикой и кулисами — забарабанил опять. Я подумал про полицию и про то, что если уж началось нескладно... Почему-то не приходило в голову вот так просто прервать на середине и уйти. Мы, конечно, сцену комкали, но, торопясь, все же пытались дотянуть до огненного финала.

— И почти дотянули: дело дошло уже до заключительного танца. С нашей стороны, повторяю, то была просто инерция, да и растерянность, но толпа усмотрела здесь вызов. Только-только бельгиец в очередной раз уклонился от объятий Дони и попытался двинуться в мою сторону, как началось... Мне сразу рассекли бровь, можете себе представить, саднило руку, и главное, эти вопли — казалось, сейчас и вправду растерзают. Потом-то я узнал, что все продолжалось буквально несколько минут: режиссер еще после первого камня связался с полицией, у нас ведь было разрешение от муниципалитета.

— Мы с Питером лежали, вжавшись в помост. Удивительно, но никакого особого страха я не чувствовал — потому, наверное, и запомнил все так отчетливо. Холодно вдруг стало — это да, но вот кого настоящий озноб бил, так это бельгийца. И мы почему-то по-прежнему не пытались спуститься со сцены или по крайней мере отползти куда-нибудь в угол. Впрочем, улюлюканье доносилось теперь со всех сторон: нас, похоже, окружили. Опять же потом я узнал, что вся труппа на этом этапе отступила в переулочек к машинам, где и отсиделась до прибытия полиции.

— Оставалась еще Доня. Какое-то время она тоже лежала на досках, и касаться нам втроем друг друга было неловко. Следующее, что помню, это как она стоит над нами, обернувшись к кулисной лестнице, а оттуда лезет, знаете, такой часто попадающий-

ся тип: чесучовые брюки, белая рубашка обязательно с закатанными до локтей рукавами, а за ним еще и еще, глаза у типа горят идиотским блеском, и тут до меня доходит, что в руке у него запаленный от нашего огня факел.

— Я уже говорил, что страха особого не испытывал, а тут какое-то даже снизошло на меня спокойствие. Продолжая инстинктивно прижиматься к помосту и к не перестававшему дрожать Питеру, я наблюдал за происходящим вполне отчужденно, и вполне мог оценить смелость импровизации. Только вот истерика бельгийца мне мешала, и если бы оставались силы, обязательно бы от него отодвинулся.

— А по лестнице лезли все новые, толкались, мешали друг другу, одного я узнал, видел его прошлой осенью в Чикаго, когда сорвали выступление Алленц, путешествует, значит. Такой в своем роде яркий образчик, прямо из учебника: надбровные дуги, эмоциональная обделенность, потребность в авторитете и тяготение к...

Тут Стюарт делает предостерегающий знак рукой: в зале оказался белый фрак официанта, а касаться вопросов политики при них категорически не принято. Привратник не в счет: он считается глухим и к тому же, как сам Стюарт всегда подчеркивает, он совершенно особый случай. Томер перескакивает через чувствительное место и после небольшой паузы продолжает:

— Итак, Доня отделилась от нашего клубка и поднялась на ноги. Свист и улюлюканье продолжались, но камни лететь перестали — самые рьяные как раз карабкались на помост. Доня стояла, не отрываясь глядела на факельщика, который, похоже, не слишком знал, что дальше делать: и вправду запалить все вокруг? Рядом вертелся чернявый недоросль, что-то кричал ему в самое ухо, можно было видеть или, по крайней мере, представить себе летящую слюну, а сзади напирала другая, пока не освещенные, ловили жадными ртами горячий воздух, подогревали передних.

— Сейчас должна быть акция, — подумалось мне, — долго им так на одном месте не протоптаться. Бельгиец, наверное, тоже почувствовал, потому что впервые приподнял голову. Боевик — довольно, надо сказать, неуверенно — начал отводить в замахе руку, одновременно отступая вбок, чтобы не опалить дышащих в затылок. "Что вы делаете?! — вдруг совершенно некстати закричал Питер по-французски. — Не смейте с огнем!" На лице ублюдка с факелом отразилась попытка уловить смысл, сменившаяся жирной улыбкой, и, повторяя с каким-то даже весельем: "У-у-у, суки!

У-у-у, с-с-суки", он сделал шаг в нашу сторону.

— Я был так заморожен этой картиной, и еще, учтите, приходилось неудобно изгибаться, чтобы снизу держать в поле зрения надвигающуюся гротесковую фигуру, что совершенно позабыл о Доне. И тут вдруг с ее стороны раздался громкий треск. Мы с факельщиком — про Питера не знаю — разом повернули головы, и нам предстала, мне-то еще сбоку, а ублюдку в анфас, следующая картина: Доня, оказывается, рванула, разорвав надвое, свою жалкую блузу и, обнажившись — благодаря чему сравнялась, наконец, со мной и бельгийцем — подалась навстречу огню.

— Надо ли говорить, что никаких грандиозных сюрпризов меня тут не ждало: на репетициях переодевались вместе, и отношения у нас сложились самые доверительные. Благодаря молодости, ну и что не рожала, она держалась пока что в рамках какой-никакой пластической пристойности, хотя грудь уже далеко не студенческая, да и кое-где лишний вес... Ну, да уж тут ничего не поделаешь.

— А вот толпе грудь ее пришлось как раз впору. То есть соответствовала представлению. Не исключаю, что им тут вспомнилось кстати и известное полотно — во всяком случае раздалось всеобщее сдавленное "ах!" Какая-то дама, придерживая металлическую оправу очков, замахнулась сумочкой, захрипела: "Удавить ее!", но приближаться, чтобы ударить, все-таки не приближалась. И вообще произошло чудо: смутились, затоптались на месте, кто-то прикрывал рукой глаза, а кто-то уже грохотал, чертыхаясь, от греха вниз по лестнице. Все-таки хорошо, когда крепка у публики традиционная мораль: глядишь, и через несколько секунд на помосте остались только факельщик да его чернявый вдохновитель — никак не могли сообразить, как тут правильной поступить. Доня между тем продолжала молча наступать, расстояние между нею и этими двумя угрожающе сокращалось, я даже испугался, что ублюдок ее напоследок опалит, и финал нашей сцены все-таки состоится, но, видно, зрелище для него оказалось слишком сильным. И тут даже не в груди дело — в глазах у Дони, знаете ли, было такое...

— В общем, отступили они вслед за остальными и уже оттуда, снизу, подожгли. Но уже гудела полицейская сирена, а мы тем временем прыгали с другой стороны и мчались к машинам.

— Бельгиец после этого случая исчез, говорили, что перебрался на север, да я и не жалел. Труппа наша распалась, лишь изредка случайно встречаю кого-нибудь. Вспоминая же неудавшуюся

премьеру... мне почему-то неприятно думать о Питере и я, признаюсь, с облегчением сосредоточиваюсь на подрагивающих сосках Дони, на обрывках клетчатой блузки, болтающихся вокруг бедер, на ее побелевших от ненависти губах. Вот, думаю, женщина, заслуживающая нашего признания, и надеюсь, что вы, господа, окажетесь тут со мной единодушны.

Поставив точку, Томер откидывается назад, разбрасывая тонкие длинные руки по спинке кушетки, и вы ощущаете легкое прикосновение его пальцев. Взоры всех теперь обращены на Стюарта: рассказанная история произвела впечатление и слушателям не терпится узнать его мнение. Тот наклоняется за лежащей на столе трубкой — седые волосы на груди летом кажутся просто выгоревшими — делает две глубоких затяжки и, улыбаясь, говорит:

— Прежде всего, друг мой, должен вам попенять. Почему о ваших похождениях мы узнаем с таким опозданием? При той бедности сценических впечатлений, от которой все мы страдаем, не пригласить на репетиции... Я уж не говорю о том, что вы, оказывается, укрываете какого-то красавца-бельгийца. Вместо того, чтобы привести в клуб, держите его пленником искусства.

— Но Стюарт, дорогой, — протестует Томер, — тут, право, не было умысла. Напротив, я намеревался сразу же после премьеры представить его вам.

— Что уж теперь говорить, у меня все равно нет иного выхода, кроме как простить вам.

— Если так, то простите скорее и скажите, наконец, что вы думаете про Доню, — на щеках Томера появляется румянец, благодаря которому он сейчас кажется совсем юным.

— Да-да, не увиливайте — поддерживают и остальные.

— Боже упаси, я не увиливаю — Стюарт обнажает в улыбке два ряда ослепительно белых зубов — я с готовностью признаю, что поступок ее заслуживает всяческого одобрения. Бельгиец, положим, так и остался для нас потерян, тут уж ничего не поправишь, но по крайней мере она спасла нам любезного Томера. Хотя... — Стюарт снова улыбается, — небольшой шрам или та же рассеченная бровь могли бы оказаться ему к лицу. Но, разумеется, мы не можем в этом смысле доверять черни, она напроць лишена чувства меры и никогда не удовлетворяется легким ранением. Поэтому мы рады, что все обошлось, и воздаем хвалу нашей героине, которая...

— Так вы признаете или нет? — прерывает его Алекс, — мне в вашем голосе чудится ирония.

— Никакой иронии, но все же позвольте закончить. Я действительно признаю за столь сочувственно описанной нашим другом актеркой определенные заслуги. Если вы это имели в виду спросить, то ответ мой утвердительный. С другой стороны, — Стюарт делает паузу, — что касается драматического разрывания блузки и выхода к разъяренной толпе, то не могу тут избавиться от известных сомнений, и вынужден повторить то, с чего начал: у них всегда присутствует некий э-э-э... мотив, причем далеко не бескорыстного свойства. Причем, в данном случае обнаружить его никакого труда не составляет. В рассказе Томера уже содержится и ключ, и я лишь свойственной молодости впечатлительностью могу объяснить, как это он сам этим ключом не воспользовался.

— Давайте вернемся от их премьеры немного назад, к репетициям. Что мы видим? Невзрачная, но не без амбиций, Доня постоянно находится в обществе, на фоне, в тени нашего друга и великолепного бельгийца. И, естественно, испытывает неловкость от собственной плоти: вы же знаете эти женские проблемы, это ощущение нелепости вдруг выросшей, исковеркав юношескую анатомию, груди. Замысел режиссера еще сильнее подчеркивает безнадёжность ее положения: она и на сцене неполноценна, она и там всего лишь опавший лист, отбрасываемый в сторону горячим током, соединяющим...

— И пока эти двое кружат в тягучем своем танце, пока тянутся навстречу друг другу два обнаженных торса, она вынуждена кутаться в какую-то тряпку, словно скрывая дефект, и ведь подозревает, что дефект. Повторим, она не только по пьесе, но и по кровному существу чувствует себя обделенной, она ненавидит свое тело, его сомнительность — ведь стандарт исподволь уже установлен ее партнерами.

— Так и вижу, как, приходя домой, она, раздевшись, простаивает перед зеркалом, хмурится, напрягает мышцы живота, перетягивается шелковым платком... — Стюарт приветственно машет пересекающему зал владельцу кинотеатра "Орион", — и все равно остается недовольной.

— Остальное, полагаю, уже ясно. — Он зажигает потухшую было трубку. — Увидев наших солнечных юношей поверженными на грубый дощатый помост — неудобная поза, лица искажены, допускаю, что в ту минуту они выглядят жалкими — Доня... Не то, что она успевает хладнокровно продумать, тут скорее мгновенная интуиция, так вот, Доня хватается за этот, единственный в своем

роде шанс, пытается сравняться, чтобы теперь от ее груди исходил все себе подчиняющий ток, и глядите, толпу-то она себе действительно подчиняет. Мы, разумеется, знаем цену их вкусам, но неважно, она — спасительница, она отомщена. Мгновение торжества, которое когда еще в жизни доведется испытать.

— Одним словом, господа, перед нами хрестоматийный случай: женщина стремится во что бы то ни стало навязать свое тело и таким образом хоть на время избавиться от связанного с ним комплекса неполноценности. Так что если угодно восхищаться — воля ваша, но я бы не торопился.

Последние слова Стюарта звучат чрезвычайно весомо и даже Томер не готов так сходу возражать старшему другу, к тому же условлено было, что никто не станет вердикт оспаривать. На некоторое время воцаряется молчание, которое в конце концов прерывает Алекс.

— Что ж, весьма убедительно. Хотя не думаю, что соображения эти приложимы во всех без исключения случаях. Я тоже тут вспомнил одну историю, и если вы, господа, не возражаете, — взгляд его особо останавливается на смотрящем куда-то в сторону Дэвиде, — хотел бы представить ее на ваш суд.

Никто не возражает, Дэвид и тот бурчит что-то ободряющее, а Томеру видится здесь признание: как-никак его Доня продолжает определять ход беседы.

— История моя, — Алекс отбрасывает назад непослушную прядь, — куда менее драматична, чем рассказанная только что нашим другом, хоть меня она в свое время заставила изрядно поволноваться. Здесь не будет ни театральных страстей, ни разъяренной толпы, но какое-то сродство все же имеется, сродство композиции. Впрочем, не стану забегать вперед.

— Дело было во время одной из моих ночных прогулок с Сидом. Бедный пес — ему зачастую приходится допоздна ждать хозяина. Но есть и награда: в такой час машины попадают редко, потому я уже от самого дома отпускаю его с поводка, и он бежит, свободный, до парка, где мы совершаем в темноте обязательный круг.

— Итак, мы двигались своим обычным маршрутом. В тот вечер как раз выступал Клод Эран, помните, потом все поехали к нему в гостиницу, я еще был под впечатлением и шел в своем любимом малиновом жакете и песочного цвета брюках, ничего вокруг не замечая. В результате я почти наткнулся на трех молодых лю-

дей, оживленно что-то обсуждавших у ограды дома норвежского консула. Впрочем, обсуждать они тут же перестали, и принялись по очереди гладить подбежавшего Сиды. По счастью сегодня не слышно было консульской ротвейлерши — обычно при нашем приближении она поднимает вой и будит всю округу.

— Ребятишек было, как я уже сказал, трое. Один — жизнерадостный балбес из таких, знаете, напичканных всякой ерундой, которой они рвутся с вами поделиться, зато другой — наоборот, молчаливый крепыш, весь погруженный в себя. В нежном возрасте сдержанность придает им особый шарм, а тут еще у него оказалась очень смуглая кожа, и это при ярко-голубых глазах и выгоревших бровях — в темноте юноша так и переливался. Ну а третьей была подружка, такая шустрая мартышечка, тоже своего рода Доня. Имена их, кстати, так до конца и остались мне неизвестными.

— Налицо, как видите, обещанное композиционное сходство, но в отличие от Томеря я наблюдал сей треугольник со стороны, что, согласитесь, существенно.

— Оказались они туристы, продукт американской глубинки. Родители — папаша балбеса, как тот сразу сообщил, торговал недвижимостью — послали на каникулах посмотреть свет, что в их понимании включало и это вот ночное возвращение из забега-ловки Яна, которую молодые люди по наивности считали "элегантным местом".

— Путешественники никак не могли прийти к согласию, в какой стороне их отель, и я любезно указал кратчайший путь. Кликнул Сиды трогаться дальше, но тут говорливый решил поведать мне о чувствах, которые у него вызывает город, и про совершенно особую атмосферу, и про камни. Они все трое явно томились, больно уж спать идти не хотели, что-то оставалось между ними невыясненное. Я балбеса почему-то сразу не оборвал, но и помогать не слишком. Так, играл на полутонах, трогал тихонько разные интересные струны, любопытно мне стало втянуть в разговор его приятеля — потому, грешен, и задержался. Но тот все молчал да продолжал с отсутствующим видом гладить Сиды.

— Так мы и стояли, ждали неизвестно чего, пока у смуглого мальчугана не прорезался в конце концов голос: он вскрикнул. Оказалось, что мой паршивец, которому надоели поглаживания, прикусил оказавшуюся поблизости руку. Последовала некоторая суматоха. Я орал на Сиды, не очень убедительно изображавшего раскаяние. Потом мы по очереди разглядывали ранку. Ничего

страшного, но даже при неверном свете фонаря было отчетливо видно, что кровит.

— Можете представить себе мое отчаяние. Вы, ведь, знаете порядки в муниципалитете: в таких случаях забирают собаку на карантин, и никакие уговоры не помогают. У нас уже имелся горький опыт, в прошлом году, на Сиду это тогда произвело ужасное впечатление. А как я с ума сходил все две недели. И ведь случилось это совсем вскоре после смерти Джонатана, можно сказать завещавшего мне пса.

Лица слушателей омрачаются. Затрагивая эту тему, Алекс нарушает важное правило, но ему прощают из любви к Джонатану, кончина которого для всех явилась тяжелым ударом.

— Единственное, что мне оставалось, — продолжает тем временем Алекс — это попытаться убедить оливкового мальчугана не поднимать паники, а, помазав лапочку, идти спать и ни о чем не думать. Инстинктивное желание бежать, затаиться я подавил тут же — мы с Сидом примелькались в квартале, и всегда найдутся доброхоты, выдадут непременно.

— Начинаю обрабатывать. Тон беру по возможности игривый, что-то о стати моего кобеля, о его бесчисленных победах и о том, как всегда ревнует, встречая обладателей сходных мужских достоинств. Увы, пассаж пропадает впустую, потому что юноша, похоже, и вправду напуган, отчего загадочность моментально утратил, да и вообще поблек. Обещаю завтра же попросить нашего ветеринара наказать негодяя розгами — сам не смогу, слишком мягкосердечен. Упоминание о ветеринаре дает мне возможность вставить — получается неловко, шито белыми нитками, — что совсем недавно Сид проходил очередную вакцинацию. Чувствую себя при этом последним лжецом, хотя чистая правда, но ведь знаете, чем больше объясняешь, тем менее убедительным кажется. И, главное, против воли начинаю вживаться в панику мальчонки; в чужой стране, вдали от антисептиков, а тут еще стоит жара, и у них напроотив гостиницы уже третий день не увозят бак с вываливающимися через край отбросами. И пусть даже риск минимальный, но безумием было бы даже так, минимально, рисковать. И нехстати вспоминается попавшаяся как-то на глаза, он сидел тогда в приемной у дантиста, статья: попадание слюны, течение болезни, фотография одного из обреченных — кошмар.

— Короче, вернувшись в гостиницу, он сразу запрется в ванной — у них номер на двоих, а подружка, выходит, отдельно — где,



насмотревшись вдосталь, окончательно потеряет самообладание и тогда...

— Куда в таких случаях прежде всего? — Алекс отклоняется вправо, давая возможность заступившему на место разжалованного Хасана официанту собрать пустые бокалы. Тот еще не обвыкся, и Алекс ободряет его улыбкой. — Какой-то телефон всегда набирается первым. Полиция? Врач? Или просто спустится вниз и поручит себя заботам портье, а у того инструкция и пошло-поехало. И рассвести не успеет, как постучат в дверь и уведут Сида.

— Предаваясь мрачным этим размышлениям, вида, однако, не показывая, а продолжая тащиться с ними в направлении "Плазы", ибо предоставлять их сейчас самим себе никак нельзя. Идем мы, значит, то и дело останавливаемся проверить ранку и неуклонно приближаемся к тому самому портье. Только не молчи, понукаю я себя, говори, не давай им ускользнуть. И я говорю, развлекаю, заметаю следы. Между тем Сид, которого я, наверное, чтобы не напугать их еще больше, все медлю взять на поводок, носится, как ни в чем не бывало, вокруг, ныряет между нами, ударяет по ногам, а это добрых семьдесят фунтов, словом, демонстрирует невинность, но лицо смуглого молчуна — я про себя его с самого начала, когда он еще подавал надежды, прозвал Антонио — только пуще каменеет, и вот уже мигают огни "Савтона" и, видно, все пропало. Остается проводить их взглядом через дорогу и отправляться домой ждать.

— И тут, когда Антонио в очередной раз подносит кисть левой руки к свету — стороннему наблюдателю могло показаться, что он непрерывно смотрит на часы — мне вдруг подает слабую надежду их подружка. Впрочем, если поразмыслить, не совсем вдруг: все время, пока печальная наша процессия двигалась к отелю, я ощущал с ее стороны некую поддержку. Во всяком случае она единственная — даже балбес примолк — рассмеялась пару раз моим шуткам и — я краем глаза заметил — демонстративно потрепала пробежавшего Сиды по спине. То есть несмотря ни на что.

— И вот сейчас, когда мы вяло прощаемся, она устраивает такой замечательно тихий взрыв: слова произносятся почти ласковые, дай-ка-сюда-посмотрим-наконец-насколько-серьезно-ты-ранен, но глаза прищурены и такая внятная за словами слышится угроза, ясно, что вот сейчас возьмет и всякого счастья лишит. Впрочем, не знаю, кого там она из двоих должна была осчастливить, может просто надоело ей и, конечно, неловко перед нами с

Сидом, мы ведь такие элегантные, и хочется переметнуться, да что там переметнуться, она уже давно на моей стороне и, пожимая руку на прощанье — ее инициатива, — она мне заговорщически подмигивает, дескать, не выдам.

— Я, разумеется, ни одной мартышечкиной ужимки без внимания не оставляю, но дома опять выпадаю в уныние. Назавтра, выходя на прогулку, озираюсь по сторонам, вздрагиваю при виде любого фургона, словом, не верю. На вторую ночь снится мне сон. Будто улетаю в Дублин, а пса устроил к одним людям. И вот в самолете, уже где-то над Критом, подходит ко мне Джонатан, а я и не знал, что мы летим вместе, и спрашивает: где Сид? Я ему, говорит, цветы принес. Смотрю, он держит букетик желтых хризантем. Так и так, объясняю, и он не сердится, даже доволен, что в хорошей семье, главное, чтобы не корейцы. Корейцы? — вскидываюсь я, — Почему корейцы? Да они, отвечает, едят ведь собак, специально откармливают...

— Ужасное подозрение овладевает мною, ибо припоминаю, что у забравшего Сид человека — он приходил с детьми: мальчиком и девочкой — глаза и вправду были немного раскосыми. Теперь ясно, почему никогда не появлялась жена и старшая дочь, он про них только рассказывал, но даже фотографии при себе не имел — у них-то, наверное, сильнее заметно. И голос у него так угодливо звучал по телефону, по-азиатски.

— Просыпаюсь в холодном поту, выскакиваю в коридор. Сид на месте, недоуменно поднимает голову: разве уже пора? В то же утро было мне облегчение. Иду в студию и кого, вы думаете, встречаю? Ту самую ночную мартышечку. Гуляет одна и мне явно рада. Интересуюсь здоровьем ее приятеля, со смешком, разумеется, дескать, мы-то понимаем, но сам трепещу. Она корчит гримаску и, торопясь поскорее с неинтересным покончить и предстать предо мной, наконец, от своих попутчиков отдельно, сообщает, что тот полдня потом ходил несчастный, избалован слишком, но она, слава Богу, знает, как привести его в чувство.

— Вижу набивает, паршивка, себе цену, но какая разница? Главное, не подвела-таки. Удержала мальчугана недоброй своей усмешечкой. Представляю себе, как борются в нем два страха, пока не побеждает страх перед мартышечкой. А утром награда: рука даже не вспухает, что кажется обнадеживающим признаком, хотя по правде говоря, это ничего не значит, но он уже отвлекся, и мы спасены.

— Я так благодарен ей, что мне стоит некоторого труда уклониться от предложения отправиться вечером "побродить". Делаю это мягко-мягко, предоставляя ей истолковать мою по этому поводу очевидную печаль наиболее лестным для себя образом. Мы вновь совершаем ритуал продленного рукопожатия. На сей раз я и сам не спешу его прервать и даже немного перебираю ее пальчики, чтобы нам расстаться довольными друг другом.

— Легкое облачко беспокойства еще витает надо мной некоторое время, пока весь эпизод не изглаживается из памяти, чтобы снова всплыть сегодня. Я апеллирую к вашей объективности, Стюарт, и надеюсь, что вы оцените достоинства американской мартышечки, как оценили их мы с Сидом.

Стюарт некоторое время в задумчивости массирует правое колено, его теперь часто беспокоит нога, потом приступает к анализу истории Алекса.

— Ситуация мне, господа, видится следующим образом. Трое молодых людей путешествуют. Уж не знаю, как там было задумано вначале, но по дороге неизбежно возникает соперничество, борьба за внимание подруги, а может и за ее ласки, бесконечные качели, когда, кажется, то один, то другой перетягивает, особая власть, которую в результате приобретает над ними ловкая девчушка — психологически вполне убедительно. И очень мило с ее стороны, что она употребляет свое влияние на благо Сиду, к которому так был привязан Джонатан. Более того, ее заинтересованность в нашем друге Алексе свидетельствует об определенной тонкости — качество тем более замечательное, если учитывать в какой среде формировались вкусы этого существа.

— Похвально, в высшей степени похвально. Зададимся, однако, вопросом, что было бы, если бы та же мартышечка отправилась в путешествие в ином качестве. Если бы борьба за ее скромные прелести уже завершилась, и молчун-Антонио торжественно свез ее в какой-нибудь филадельфийский храм. Предположим даже, что действительно был тут элемент драмы и, подъезжая к месту, он пережил приступ необъяснимого отвращения — при условии, что Алекс не ошибся, и в нем действительно дремала неразбуженная... Но, по неопытности, конечно, не прислушался к себе и преодолел. Одним словом, представьте себе, что мартышечка уже не мартышечка, а целая миссис и вот, во время ночной прогулки втроем с удачно встреченным здесь соотечественником-однокашником мужа ее кусает пес, принадлежащий...

— Принадлежащий совершенно незнакомому господину, который, естественно, пытается все свести к шутке, но ведь прекрасно известно, что район неблагополучный, весной сюда забредают дикие лисы, а это как раз весна, и, между прочим, в консульстве специально предупреждали, разумеется, не надо преувеличивать, риск минимальный, но в конце концов это халатность хозяина, и ему...

— Вы уже догадываетесь, что произошло бы по возвращении в гостиницу? Да, пожалуй, все-таки по возвращении, потому что по дороге она бы еще сдерживалась, шла молча, поджав губы, будто не кого-нибудь, а ее прикусили, косилась недобро на в общем не внушающего особого доверия Алекса, этот его малиновый пиджак, и безлюдье, и непонятный вой — лиса? шакал? — со стороны греческого кладбища, она сдерживалась бы, потому что так всегда поступает мама, но уж потом, в номере, устроила бы истерику и потребовала из одного лишь чувства противоречия у хорохорящегося мужа немедленно навести справки в ветеринарном управлении, а иначе...

— Дадим ему немного поупираться, дескать, какая ерунда, мы будем смешно выглядеть, но самому-то, разумеется, хочется к доктору, а она... То есть помимо заботы есть в ее крайней взбудораженности еще нечто, и вот теперь эти слезы, и вдруг открывается, что беременна, почему бы нет, когда-нибудь она должна забеременеть, ей нельзя нервничать, и он, взволнованный, с облегчением уступает.

— Короче, при всем желании не могу подыграть милейшему Алексу... — Стюарт единственный из присутствующих, кто был когда-то женат, что придает его словам дополнительный вес. — Вся эта легкость, вся эта очаровательная бесшабашность моментально проходят, как только им удастся заполучить... Остается порадоваться за Сиду, попавшегося на пути в благословенную минуту, но в целом, увы, это всего-навсего оптический обман. И заметьте, я никого тут не виню, просто такова природа, господа.

Легкой тенью появляется официант, наклоняется к сделавшему ему знак Стюарту и так же бесшумно исчезает. Через несколько секунд громче становятся звуки доносящейся снизу симфонии соль-минор Брамса. Вы рады музыке. Страхи Алекса кажутся вам преувеличенными, вы не одобряете ни его малиновых пиджаков, как-то даже говорили об этом с Томером, ни того, как он трясется над Сидом — только портит пса, покойный Джонатан был гораздо разумнее. Тем временем отзвучали финальные аккорды, и можно

снова вернуться к беседе.

— Я чувствую необходимость, — подает голос Дэвид, — тоже предложить вашему вниманию одну э-э-э... живую картину. Мною тут движет чувство справедливости — уж больно скорый суд творит наш уважаемый Стюарт. И не то, чтобы он был неправ, я вердикт его принимаю, просто сама геометрия представленных до сих пор случаев слишком уж невыгодна была. Судите сами: и у Томера, и у Алекса — взгляды Дэвида и Алекса встречаются, размолвка, похоже, кончилась — девушка вынуждена действовать в рамках треугольника, и только наивные люди могут полагать, что это дает ей преимущество. Беллетристика усердно подпитывает бытующие на сей счет в обществе предрассудки, но мы-то знаем, что положение женщины в такой ситуации более или менее безнадёжно.

— Она не в состоянии выдержать конкуренции и всегда проигрывает. В случае как с Томером и бельгийцем поражение явно, если же речь идет о натурах неразвитых, вроде ребяток Алекса, все остается под спудом, но сути дела это не меняет. Проигрыш предreshен, и потому наше суждение вряд ли можно назвать объективным. И потому хочу предложить вам картину иного рода, где женщина не растрачивается на бесплодное соперничество, а реализует заложенное в ней пластическое начало в кругу себе подобных. Прошу выслушать меня с должным вниманием.

До обеда остается еще около четверти часа, внизу только-только начали накрывать, и нет никакой причины отказать Дэвиду в его просьбе. Заручившись согласием присутствующих, он продолжает:

— Я обещал, что история моя будет отличаться от двух предыдущих, и это действительно так. Есть, однако, и некоторое сходство, иначе, кто знает, пришла бы она мне сейчас на память? К примеру, у меня, как и у Томера, участники драмы подняты над толпой на возвышение, а действие в свою очередь происходит у "Савьона", то есть как раз там, где Алекс распрощался со своими американцами. Что же до взрыва страстей и угрозы собачьего ареста, то и взрыв и арест витают, так сказать... но не стоит забегать вперед.

— Дело было в пятницу, часа в два пополудни, час, когда уличная суeta достигает апогея, а на лицах застывает выражение неискренности, которое сойдет лишь ночью. В такую пору я предпочитаю отсиживаться в Клубе или запереться дома, опустить

жалюзи и при электрическом свете перечитывать старые письма. Если, разумеется, не выдается okazия к морю — Дэвид снова смотрит на Алекса; горькая складка у того на лбу уже почти совершенно разгладилась.

— Но в ту пятницу меня утром разбудил звонок матушки, которая просила срочно приехать, посмотреть Фариду — это служанка, которая приходит два раза в неделю. У нее бывают такие фантазии; вдруг решает, что у кого-то рак. Пару раз она-таки оказывалась права, что, впрочем, неудивительно при том количестве докторов в семье... Я уж не говорю об отце, но ведь все ее бесчисленные кузены тоже пошли по врачебной линии.

— Тревога оказалась ложной. Она Фариду после осмотра отпустила домой, по либерализму, а я остался выпить чаю. В результате задержался дольше обычного, так что матушка, живущая по тщательно продуманному расписанию, стала даже поглядывать на часы. Когда вышел на улицу, показалось не жарко, и решил пойти пешком — надо было думать, как скоротать время до вечера.

— Путь мой лежал мимо "Савьона". По правде говоря, не люблю это место. Из-за причудливой игры рельефа здесь обычно самый эпицентр городской духоты. Вот и сейчас, прохлады, овевавшей меня при выходе из матушкиного дома, как не бывало, а вместо нее над головой повисло тяжелое пыльное облако. Я собирался уже проскочить побыстрее перекресток и нырнуть в парк, когда внимание мое привлекла толпа посередине площади. Секунду поколебавшись, я решил все же не пренебрегать зрелищем и укрылся в тени ограды францисканского монастыря, откуда имел возможность как следует рассмотреть собравшихся.

— Там, на вознесенной над асфальтом, со всех сторон обтекаемой автомобилями клумбе стояли женщины в длинных черных платьях. Дуй тогда хоть какой ветерок, легкий муслин обязательно бы колыбался. Но увы! Зато эти свободного покроя одеяния скрадывали всякие патетические неровности, по-сестрински приравнивая фигуры друг другу. Издалека казалось, что колебания черного круга подчиняются единому ритму, словно безмолвный танец. Тоже своего рода эротический ток, хотя и совершенно иного свойства, нежели у Томера.

— Потому что... Уж не знаю, благодаря платьям ли или, может, благодаря пыльной дымке, но только вульгарное женское оказывалось здесь преодоленным и место его заняла двумерная

безукоризненность силуэта. Поразительным образом ни возраст, ни изношенность тела — я мог видеть, что некоторые из манифестантов совершенно седы — не были тут помехой. Наоборот, старость лишь очищала, делала более отчетливым тот внутренний мотив, который, если угодно, и есть мотив чистой эротики.

— Поскольку наши проворные юноши, — Дэвид окидывает залу беглым взглядом, — заняты сейчас внизу, я могу упомянуть деталь политического свойства. Для полноты картины.

— В руках женщины в черном — оставляю на ваше усмотрение классические аналогии — держали каждая по маленькому плакату. Этакий картонный цветок, в сердцевине которого хватало места ровно для одного слова: "Остановить!" Призыв не в состоянии оказывался унять дрожание горячего воздуха, но зато лапидарностью своей подчеркивал аскетическую отъединенность манифестантов от кипящих внизу страстей.

— Ибо на узком тротуаре, опоясывающем клумбу, топтался другой круг. Граница между ними была не только границей цвета — на тротуаре преобладали светлые тона, развевались и флаги — но и границей пола. Не то, чтобы в толпе, призывавшей покончить с либералами и изменниками, совсем уж не попадалось дам: то тут, то там трепетали плотные шестидесятилетние бюсты, но они оставались всего лишь довеском к безраздельно господствовавшей там мужской стихии.

— Собрание было довольно пестрое, но более всего выделялись жилистые старики с празднично блестящими глазами и, наоборот, совсем молодые парни в доходящих до колен шортах и тяжелых ботинках, ноги которых удивительным образом оставались совершенно нетронуты загаром. По крайней мере так казалось из моего затененного укрытия. Кстати, неподалеку от меня был выставлен форпост: бородатый толстяк с вываливающимся спереди из брюк чудовищным животом и неприметный человек из русских, хотел бы я знать, где они берут эти свои беретки. Толстяк с некоторой даже грацией вращал над головой знамя, а человек проповедовал прохожим. Вы замечали, в них, когда начинают по-английски изъясняться, что-то потустороннее появляется. Нет, я не акцент имею в виду, а какую-то общую несусветность.

— Ну да ладно, оставим человека. Гораздо интереснее был коренастый, средних лет мужчина с коротким ежиком, судя по всему главный. Одного лишь легкого движения его руки оказывалось достаточным, чтобы пареньки в бутах бросались выполнять прика-

зания, смысл которых мне издавна оставался неясным. Связь между зрелым лидером и его юными подручными не могла не вызывать любопытства, в действии этого механизма, согласитесь всегда есть что-то притягивающее. Но подходить ближе я все-таки не стал — необходимо, говоря словами Стюарта, соблюдать дистанцию. Да и бутсы их отвращали.

— Глаза мои тем временем насытились, и можно было двигаться дальше. Перед тем, как повернуть за угол, я в последний раз окинул взглядом площадь. По-прежнему плыли в знойном мареве черные фигуры. По-прежнему они были красивы законченной печальной красотой. Мне показалось, что прибавилось седины в волосах, но скорее всего это просто сдвинулось солнце. И по-прежнему вокруг хлюпало, топотало, изрыгало проклятья, смутно грезило о том, как будет рвать зубами ненавистные черные платья, потом черное белье, а потом и белую плоть.

— Такое вот противостояние. С одной стороны нечто бесформенное, хоть и вне всякого сомнения мужское, даже от розовых голени бой-скаутов, поверите ли, несло прозекторской, а с другой — женщина, отказавшаяся от борьбы за самца, женщина, избравшая безукоризненную геометрию силуэта, медленный танец в кругу других черных силуэтов. Снова оставляю классические аналогии на ваше усмотрение, господа и спрашиваю: не следует ли воздать ей должное?

Между тем, еще совсем недавно пустая зала понемногу наполнилась посетителями. Вы киваете высокому итальянцу, бывшему с осени в отъезде. Приятно вновь увидеть его здесь. В ожидании вердикта Стюарта приветствуют знакомых и остальные.

— Что ж, не скрою — говорит он — я с интересом выслушал рассказ уважаемого доктора. И прежде всего должен заметить объективности ради, что не все столь строги к собирающейся вокруг уже ставшей знаменитой клумбы толпе. Насколько мне известно, наш казначей — Стюарт улыбается и смотрит в противоположный угол залы, где составила партия в "резо" — так вот, наш дражайший казначей покровительствует одной из молодежных групп соответствующего толка и с похвалой отзывается о голоногих юношах. Мы, разумеется, с вами знаем, что вкус у него далеко не безукоризненный, но все же упомянутое обстоятельство следует принимать во внимание.

— Что же до самих женщин в черном, то нельзя не согласиться: освещенные тяжелым полуденным солнцем, вознесенные над обы-



денностью они подлинная улада для глаза. Признаюсь, я и сам, бывало останавливался замороженный. И все же, позвольте поделиться с вами некоторыми соображениями, причем, заметьте, сужу тут не совсем понаслышке.

— Дело в том, господа, что... — Последние слова Стюарта вам, однако, расслышать не удастся, потому как в этот момент звонят к обеду. С шумом отодвигаются кресла, все поднимаются. Опаздывать не принято, а сегодня к тому же ожидается сообщение президента клуба. Уже направляясь к ведущей вниз лестнице, Стюарт продолжает что-то говорить Дэвиду, но они слишком далеко. Вы с Томером последними покидаете залу. Она пустеет. Остается лишь дремлющий у входа привратник. Роковой выстрел — ну тот, с адъютантом Маунтбатена — прозвучал именно в столовой, и Салим с тех пор никогда к обеду не спускается.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

*предлагает!!!*

**ЗАГАДКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ** (сборник).  
250 стр.

Нерешенные загадки, странные факты и увлекательные гипотезы — таков спектр тем этого первого в своем роде сборника, в центре которого — первый перевод на русский язык знаменитой книги З. Фрейда "Моисей и монотеизм" и первое на русском языке изложение всемирно-известных книг И. Великовского.

## Два рассказа

### ЗДЕНЕК ОРНЕСТ

Это как бы два уровня абсурда — абсурд бытия и небытия.

Утонченная, возвышенная душа мальчика-поэта в грубом теле войны, достаточно? Нет? Добавим: мальчик-еврей, несведущий в еврействе, сочиняющий стихи-псалмы в гетто Терезин, мальчик, отправленный вместе со всеми в Освенцим, оттуда в Маутхаузен, мальчик, вернувшийся в Прагу в мае 45 года тощим тщедушным существом с обритой наголо головой в полосатой арестантской одежде.

— Так ему еще повезло, он вернулся.

— Но после в о з в р а щ е н и я он не сочинял стихов.

— Не нужно Освенцима, чтобы лишиться дара — хватит рутины.

И мы будем спорить бесконечно.

Мальчик же, сочинявший стихи-псалмы в гетто, пробудет с нами здесь изрядно долго, сыграет множество ролей в кино и театре, всяких ролей, от нациста в телесериале до благородного мужа, единственного благородного из двенадцати разгневанных, — а потом вдруг, среди бела дня, отшвырнет очередной текст очередной роли и ляжет на рельсы рядом с домом, на переезде, подставит свое тело под железное грохочущее тело поезда.

А мы: все у него было, знаменитый актер, прекрасная семья, о прошлом вспоминал редко, о погибших друзьях рассказывал, когда спрашивали.

К тому же он так любил жизнь, так хотел выжить, любой ценой здесь остаться, что, скучно ему с нами стало, тошно, неумоготу?

К тому же в последние годы он много путешествовал, даже в Канаде был, в бассейне своего друга, тоже выжившего, плавал, и пиво потом пил в халате роскошном, и дождался бархатной революции, и перестал бояться говорить открыто дома и со сцены, согласно новой роли.

Абсурд бытия — ощутить его достанет и секунды. Полная бессмысленность, полная никчемность кратковременной коловерти в стенах твоей собственной внутренней тюрьмы, формально ты свобо-

ден, духовно — заключен, — ты не способен более воспроизвести в себе того чувства, которое двигало твоим пером, когда ты сочинял псалмы, — в тюрьме душа твоя была свободна, а теперь, на свободе, стреножена, отчего?

Абсурд небытия — мы наказаны Зденеком, он отрекся от нас и ушел к своим друзьям, Ханушу Хакенбергу, Петру Гинцу, он ушел к своему брату — поэту Иржи Ортену, к своим любимым учителям, Вальтеру Айзингеру и Пепеку Счастному, тому самому Пепеку, который на глазах Зденека, в Освенциме, бросился на электрические провода.

Зденек подарил мне на день рождения колокольчик. С нежным керамическим звоном. Колокольчик и письма от него я бережно хранила. Письма привезла с собой в Иерусалим, а колокольчик остался в Москве, в моем прежнем доме. Когда пришло известие о гибели Зденека, забытый колокольчик зазвенел во мне и я заплакала. Это было в Нью-Йорке, где я пыталась найти деньги для документального фильма-диалога: Зденек Орнест — Маргит Зильберфильд. Зденек, как известно, не только сочинял стихи, но и исполнял в терезинской детской опере "Брундибар" роль собаки, и так после войны он стал актером, а Маргит в Терезине играла в кабаре Карла Швенка и пела в Реквиеме, и мечтала быть актрисой, но, будучи дочерью состоятельных в прошлом родителей, была лишена новым режимом права учиться в Праге на театральном факультете, уехала в Израиль, работала официанткой в кафе "Нава" в Иерусалиме, в этом кафе мы с ней и встречаемся, поскольку она стесняется пригласить меня в свою крохотную квартиру.

Я хотела снимать фильм в кафе "Нава", хотела вызвать Зденека в Израиль, договорилась с японской телекомпанией, работающей в Нью-Йорке, — такая география, пусть Зденек меня простит, — и именно тогда зазвенел колокольчик, оставленный в Москве, и я набрала номер пражского телефона и услышала голос Алены, жены Зденека, язык не поворачивается назвать ее вдовой. И все оказалось правдой — Зденек ушел.

Но до этого мы гуляли с ним — по весенней Праге, в пору цветущих акаций, по зимней, припорошенной снегом Праге, по площадям Староместской и Малостранской, по мостам и холмам Градчан. Нам обоим, по-моему, нравилось гулять просто так, беспредметно и бесцельно, играть в беззаботных ребят, которым не нужно ни на репетицию, ни в архив: хотим — сидим на лавочке под развеистой ивой у берега Влтавы, хотим — пьем пиво "У Коцоура" или

"Бонапарта", — где бы мы ни были со Зденеком, мы никогда не были одни. То с нами оказывалась мать Рудольфа Лауби, терезинская красавица, она никогда не распускалась, следила за собой, она-то и перепечатывала нам Ведем, пока было можно. Лауби-бедняга однажды стащил талон на еду, "менашку", и так раскаивался...

Я не спрашивала Зденека, а что потом случилось с Лауби и его красавицей-мамой, у меня был алфавитный список всех ребят из "еднички", где против имени Лауби стояло "загинул", как, впрочем, против большинства имен из этого длинного списка.

В письмах Зденек называл меня "сестреничке мое".

"Сестреничке мое" родилось в нашу первую встречу на Яхимова 3, в Еврейском музее, бывшем "сирочинце", сиротском приюте, где еврейские дети Праги, Зденек в том числе, жили и учились во времена Протектората. Он нашел меня в музее, обложенную детским рисунками и фотокопиями детских дневников из Терезина, посмотрел на меня внимательно и сказал: "Это невозможно, на одну маленькую девушку столько горя. Собирайся и идем "на пивечко". И так мы ушли с ним "на пивечко", увели с собой из Музея Фридл с цветами, Хануша Хахенберга, Петра Гинца с Ведемом подмышкой, всех моих девочек с косичками и детскими колясками.

Зденек не в с п о м и н а л, он в о п л о щ а л. Вибрация его голоса гипнотизировала. Я стала понимать чешский.

Зденек никогда не опаздывал, я всегда к нему бежала, и уже изда-лека видела его высокую фигуру, руки в карманы, голова повернута в ту сторону, откуда, предполагалось, я должна появиться.

Зденек под зонтом, на Малостранской площади, ждет меня. В этот дождливый день он похож на героя послевоенных фильмов, высокий, в небольшой шляпе и длинном пальто. Мы спешим в укрытие, в кафе. У меня с собой ксероксы с рисунков ребят из "еднички". Зденек видит рисунки впервые, он никогда не рисовал в Терезине, странно даже, его подруга Рая Энглендерова ходила к Фридл, а он ее, убей, не помнит, но слушает мои рассказы, вернее, домыслы о том, как ребята присутствовали на уроке рисования и все нарисовали композицию — человек гуляет с собакой на поводке, у Петра Гинца самый удачный рисунок, но Петр талантлив, как Леонардо, это Хаха знал одно — стихи, и Айзингер это понимал, не трогал его, не отвлекал. Печальные огромные глаза Хаха. Мать его работала в баре Эспланада, отца не было, он жил с нами в сирочинце, любил героину, всякие там вихри бурь, которые смели его одной левой.

Мы пьем кофе, я еще и вино, Зденек не может — после обеда ре-

петиция. Хотя от этих рисунков в самый раз напиться, где только ты их откапываешь! О, Хануш Кан, наш гениальный математик, интеллектуальная элита, маленький, щуплый, в очках, — "типицкий". Подписывал свои статьи в Ведеме "Академия", говорил только на философские темы, я дурак был против него, вот и живу. Физически он был очень слабым, чем только не болел. Айзингер пробовал его закалять спортом, пустой номер. Такие спортсмены не для селекции. Метцл? Про Метцла помню только одно, как Отик Кляйн и Вальтер Айзингер разбирали с нами стихотворение Рембо, я тебе его напомним.

Зденек поставленным мужским голосом читает мне Рембо по-чешски, я слышу только музыку, не разбираю слов, и снова вижу перед собой мальчика, сочиняющего стихи-псалмы, — почему он читает Рембо и не помнит наизусть ни одного своего стихотворения из тех, что я тщетно пыталась перевести, передать "взрослыми" русскими словами. — Так вот Вальтер спросил Метцла о главной идее Рембо, и Метцл отпартовал: "Антифашистская". Куммерман! Он был огромный и волосатый, брился и гулял с девочками, Тарзан! Мужественный, с таинственными похождениями, которые, конечно же, не отличались особым романтизмом, однако волновали нас изрядно. В последний раз я видел его в Освенциме, выглядел он неважно.

В весеннем саду Летны, в сиреневом цвету, мы сидели со Зденеком на лавочке и говорили о Хануше Хакенбурге, его стихи Зденек тоже знал на память, о том, как Вальтер сподобил Хануша переводить "Парус" Лермонтова, выбрал для него самого близкого, наверное, поэта по духу. А я любил Есенина, наверное, за сентимент, я был очень сентиментальным юношей, постоянно влюблялся в девочек, природу и звезды.

Помнишь, как ты писал об этом, я тебе по-русски прочту:

"Ты впитываешься в любовь, впитываешься в губы женщины"...

Мы говорим со Зденеком о любви, весной, на скамейке под цветущей сиренью, а наши души-подростки где-то витают, что-то вспоминают вдохновенно под нарастающий гул, поезд еще далеко, ему еще несколько лет ехать, а уж тогда все прекратится, тогда Зденек уже не сможет повторить ту историю, что была рассказана им однажды на Градчанах, поздно вечером, в шумном и дымном кафе, заполненном молодежью.

До кафе мы гуляли по берегу Влтавы, было ветрено, плиссированная юбка раздувалась на мне и липла к ногам, когда мы шли

по Карлову Мосту. Зденека это смешило. Он сказал, что так меня снесет в воды Влтавы, и человечество так и не увидит журнал Ведем опубликованным, так и не прочтет книги о том, как жила на свете Фридл, писала картины и учила детей в Терезине рисовать. Потом ее, как и полагается, уничтожили, прошло много лет, приехала из Москвы Лена, — Зденек пытается перекричать ветер, — нашла в архиве Терезина журнал "Ведем", где ничего нет про Фридл, наткнулась на стихи Орче, оплакала погибшего поэта, а он оказался живым, и вот она ходит с этим обломком по Праге, мотается по Гроновам, Находам и Румбургам, по каким-то старикам и старушкам, нервы без пшервы!

В кафе было тепло, Зденек уже отыграл в театре, приехал без машины, чтобы выпить. Не знаю, собирался ли он рассказывать мне то, что рассказал, во всяком случае, в настроении он был странном.

Со Зденекom невозможно было болтать. Русского он не знал, мой чешский был в пассиве. Верил ли Зденек, что я его понимаю? Да. Он получил подтверждение от переводчицы моей статьи о Терезине и Ведеме. Переводчица написала мне, что Зденек был поражен не только моим пониманием, но и моей русской интерпретацией его стихов, о которой, опять-таки, он мог судить из ее пере-перевода на чешский.

Зденек вдруг как-то очень строго потребовал объяснений, — чего я так вклепалась в этот Терезин, что я там ищу. Я не нашлась с ответом, промямлила, что не собираюсь писать ни исследований, ни диссертаций на научную степень. Почему-то прибавила, что все детство лежала в больнице, из-за спины, показала на спину.

Мы пили кроваво-красный коктейль с вишнями, лимоном и льдом. Зденек сказал, что и у него со спиной неважно, когда он вернулся, после всего, весил 32 кг при росте 1.82. Если я ошибаюсь в нескольких килограммах и сантиметрах, Зденек меня простит, но, думаю, запомнила точно. В Праге он начал есть и прибавлять в весе, и перегрузил позвоночник, — с тех пор он занимается спортом, он должен быть в форме на сцене, и вообще должен быть в форме. Зденек заказал еще по коктейлю, я попросила его не красный, какой-нибудь другой, посветлей. Он как-то криво ухмыльнулся, как скверный мальчик, замышляющий недоброе, и, не меняя выражения лица, спросил: "А ты, наверное, думаешь, что перед тобой нормальный человек, что ты имеешь дело с нормальным человеком?" Мне стало страшно: на меня глядело лицо злое, или нет, не злое, а терзаемое чем-то, раздираемое изнутри, и уже растерзанное и разодранное. У меня кружилась голова. Зденек уходил и становился чужим, при этом

все вокруг дымилось, шумело, звучало, — это было все то же кафе, где мы сидели на диване рядом, вполоборота друг к другу.

Зденек приблизился ко мне, его лицо пылало, глаза стали маленькими и холодными, — он не хотел говорить громко, но хотел, чтобы я его хорошо слышала.

"На том вечернем апшеле нам сказали, — утром все должны быть на станции. Кто не подыметсЯ, будет пристрелен на месте, кто упадет по дороге, также будет пристрелен. До "станции" от нашего барака в Биркенау было, наверное, километров пять или меньше, не знаю. Это была страшная ночь, ночь стенаний и молитв, почти никто из нашего барака не был способен двигаться. Разве что два брата моего возраста. Я их не любил — они все добывали с мертвых, — уведут цыган в газ, они тотчас в барак, искать поживы. Тогда я еще различал плохое и хорошее, не так идеально, как в Терезине, но различал. Какие-то смутные представления о человеке оставались, о том, что дозволено, а что нет. Такие слова, как "достоинство" в Освенциме никто не употреблял, их никто уже не помнил, я, разумеется, тоже. Итак, тех, кто не мог идти, пристрелили. Два брата, я и еще несколько человек, не помню их, пошли на станцию. Побежали, не пошли, в оцеплении охраны, которая стреляла в любого, кто поскользнулся или остановился передохнуть. Добежали мы втроем. Не помню, как оказались в открытом вагоне, нас наваливали друг на друга, по три-четыре полудохлых человека или как нас там назвать. На мне лежал кто-то и давил на меня, я не мог дышать, я пытался его спихнуть, я кусал его и щипал до тех пор, пока он не свалился. Тогда я увидел его, это не был старик, как мне казалось, скорее, молодой человек, он уже хрипел. Я вздохнул, понял, что я жив, а он бы все равно долго не протянул, без воды и пищи. И все-таки мне было тошно смотреть вниз, на этот труп, я попросил братьев оттащить его подальше, братья согласились, за крошку хлеба, у меня не было ни крошки. Я был жив и мертв в одинаковой мере. Вот это я хочу, чтобы ты поняла, вот это, когда ты не только сравнился по мерзости с братьями, но и превзошел их. Может и они убили кого-нибудь невзначай, не знаю, зато теперь я знал про себя — я способен на все, я должен выжить любой ценой".

Мы стояли с Аленой на переезде. Рядом с рельсами лежал положенный мною цветок ириса, остальные остались у Алены дома, в вазе. Алена перебирала причины, а я вспоминала рассказ в ночном кафе и стихи-псалмы терезинского мальчика Зденека, влюбленного в смех деревьев и птички стенания, мальчика, стремящегося влиться,

впитаться в рассвет, ночную заводь, губы женщины, безветрие, в жизнь мироздания, и который уже тогда, подростком, отвечает сам себе: нет, поначалу ты влюбишься в мир, влюбишься так страстно, что станешь посвящать ему псалмы, тебя захватит этот вихрь, и твоя душа начнет вибрировать, но потом ты начнешь думать, винить себя за слепоту, корить себя до тех пор, пока не захлебнешься в волнах этой красоты.

Я позвонила в Вашингтон Арношту Люстигу, — с ним Зденек пил шампанское на Вацлавской площади, в победные дни бархатной революции, с ним он был в Терезине и в Освенциме. Я попросила Арношта написать что-нибудь о Зденеке. Арношт отказался, он не пишет некрологов, только развлекательные романы. "Иначе я бы уже давно был там, где все и Зденек сейчас".

Алена отвезла меня на аэродром, я улетала в Израиль, в мою страну, сидеть с семьей в противогазах во время тревоги. Удивительно последовательно все происходит в этом мире абсурда.

Мы всей семьей сфотографировались в противогазах. Был бы Зденек жив, я бы послала ему этот снимок, — Зденек понимал черный юмор.

6 февраля, Иерусалим

### ЯЩИК С МОЛНИЕЙ

Они пусть думают.

Им там это не запрещено.

Им там ничего иного не остается.

А здесь?

Здесь, где на тебя обрушились мешки с пустотой, ящики с черенками обгоревших спичек, — не надо морочить мне голову, это не свежи с фитилями, — сказки моей бабушки помню я, а не вы.

И кто они вообще такие, чтобы отчитываться перед ними? Они говорят — этого не может быть. Мертвая мать не может навещать тебя в гостинице. Мертвые приходят во сны, а не в гостиницы, это раз, — они загибают большой палец, — и ты не живешь в гостинице, это два, и они загибают указательный палец. Но им и этого мало — они влезают с головами в твои мешки с пустотой и начинают разводить баланду. Когда ты не виден никому, у тебя развязывается язык. Мне что — я могу говорить на площади с трибуны, а они прячутся в мои мешки и заводят: ты бы не потянул гостиницу, на какие



шиши ты бы снимал там номер, или тебе твоя мама его оплачивает оттуда, а? У мертвых нет денег, мы за них отсюда платим, мы на них собираем в организациях — в Яд-Вашем, например, знаешь, и то у них проблемы, как обслужить своих собственных мертвых по первому разряду, можно взять деньги у тех, кто сделал их мертвыми, это репарация или как там она называется, такая помощь, когда тебя сначала уничтожают, а потом надо высечь твое имя навечно в камне, и за это надо платить, за камень нет, камень идет даром, в стране камней это не большой расход, а вот за место твое, мертвое, в аллее живых, — если посчитать, так это те же расходы, как на гостиницу. Место стоит.

И они зудят и зудят и зудят.

А собственно говоря, кому какое дело, где я живу и кто ко мне приходит. И если мы встречаемся с мамой в гостинице, в моем номере, я вам даже могу указать адрес — Кинг Джорж, "Бат Шева", — какие у вас могут быть на это опровержения. Идите и проверьте. Спросите у хозяина — я вам его опишу — это кусок сала со свиными глазами, и на его раздвоенных копытцах золотые перстни. Так он выглядит обычно, но когда утром рано он переходит дорогу к Большой Синагоге, — мои окна выходят как раз на Большую Синагогу, — и я вижу, кто как туда идет, — так это человек, а идише менш, ничего от свинины. Я его очень уважаю. Если хоть на пять минут в день ты можешь стать человеком, надеть талес и обкрутиться филактериями, ой-ой-ой-ой-ой, значит, ты знаешь, сколько стоят живые и сколько стоят мертвые, значит, имеешь баланс.

Как он уходит в Большую Синагогу и как он возвращается оттуда — за этим я могу проследить. Но вот как мама оказывается у меня в номере — убейте, не скажу. Может быть, она не ходит, а летает? Или мне это показывают по телевизору? Если бы было так, эти бы тотчас выскочили из моих мешков, разогнули бы большой и указательный пальцы, вот, мол, мы тебя и поймали, ты бредишь, старик, но они молчат, им нечего сказать.

Зато мне есть что.

Это не кино и не телевидение. Никакого грима, как была, так есть, даже с усиками, черными у углов рта, и как тогда я стеснялся этих усиков, так и теперь обхожу их взглядом, а так подумать, что за невидаль, усики у женщины, и все же мать не состоит из одних волос, хотя, честное слово, волос у нее много, и коса тяжелая под гребнем, и на щеках пух, и вся она как персик, ворсистая и краснощекая, нормальная мать, не лучше и не хуже прежней, и она садится за круглый

белый столик, наливает воды из стеклянного графина, пьет маленькими глоточками, потому что нужно экономить воду, или нет, она пьет быстро, жадно, много пьет, пьет и не может напиться, ее на глазах раздувает водой, и я прошу ее, остановись, передохни, и она ставит пустой стакан на стол и достает из сумки свечи. Субботние свечи. Еще рано, мама, светло на улице. Но в номере-то темно, откуда ей знать, что там на улице, за жалюзи, а я не могу их поднять — проявляется пленка, даже от пламени свечи она может засветиться, и пропала работа, а пропала работа — пропали деньги, а пропали деньги — пропала гостиница, — к тому же, когда привыкнешь к темноте — все становится видно. Мать подходит к окну, смотрит сквозь тетрадь в линейку, и соглашается, да, еще можно успеть на базар, а я говорю ей, зачем, базар, когда у нас все есть, я это все имею на снимках, вот тебе красные бокастые перцы, вот тебе какая хочешь кухня. Смотри, мама, где ты еще увидишь такое, только на картинках. Но картинки тоже делают мастера, специалисты этого профиля, они тебе простой блин так отснимут и так подадут! Сколько еды, мама, я отснял на рекламные проспекты, и русская кухня, и украинская кухня, и какая хочешь бывает кухня. Все едят, и какой бы ты ни был национальности, ты кушаешь, и неправда, что одни народы едят больше других, разница в калорийности, или не знаю в чем. Так как же, две свечи и пустой стол, — не понимает мама, глупенькая, я только что рассказывал ей про нашу трапезу, из проспектов и буклетов, из чрева поваренных книг можно так напиться, да одними фруктовыми желе на разворот. Смотри, мама, как я прожил жизнь, дом — полная чаша, а еды столько, что не хватило бы всех холодильников в "Бат Шеде", чтобы ее разместить. Да и в книгах не хватает места, иногда макетчик впихнет несколько блюд на страницу, так что есть не станешь, ты, мама, сама помнишь, ты никогда не ставила на стол всего, лишь бы только место заполнить, лишь бы только показать, что мы не нищие, — ты подавала рыбу, так одной рыбы было достаточно на всех, и ты понимаешь, что когда в книги все напихивают, это становится невыразительным, нет события, а когда одна рыба на белой скатерти — запомнишь и всегда будешь ее хотеть. Я, например, даю три перца на разворот — и это выразительно. Как я их даю — один красный, надрезанный, на свежем надрезе капельки оранжевого сока, и два целых — зеленый и желтый. Ты же не обидишься, что я предложу тебе надрезанный, на нем нет следа чужих зубов, и кто ест перец целым, у него же внутри семя, и если не трогать перец, так семена его крепко держатся, не рассыпаются по полостям чаш, а станешь

срезать его — упрешься в гузку, обойдешь ее ножом, потом вынешь мешок с семенами, целенький, и готово, чисто, ни семечка внутри. Да что перец, мама, что мы к нему пристали, — если бы ты знала, какие здесь произрастают диковинные плоды, слышала про киви? Киви, зеленая волосатая шишка, грубо говоря, а разрежешь его — солнечный калейдоскоп на срезе, и сколько ты ни крути калейдоскоп, не выпадет тебе такого узора, я уж молчу про вкус. Смотри, мама, — а она все смотрит на фотографию трех перцев и улыбается, а от улыбки у нее две черные точки в углах рта, как две черные семечки подсолнуха, у нас были черные семечки, а здесь они серые, как мыши без ушей и хвоста, или как круп зебры в полоску, но не в диагональную, а вертикальную, — переверни ты эти перцы, я же тебе про киви рассказываю, я даю ей киви в проспекте, что же это получается, как будто я дразню ее картинками, а она, видно, и впрямь голодна, если так жадно пила воду. На этот случай есть вчерашние питы, их можно щупать и кусать, — мама разламывает питу, кусочек себе, остальное мне, нет, это не годный дележ, я уже не маленький, я уже в два раза старше мамы, не годится так делить, она еще молодая и может родить мне сестер и братьев, вместо тех будут эти, и надо ее не картинками потчевать, а деньгами помочь. Вот это будет интересно всем знать — возьми хоть сто долларов и жуй, сто шекелей и жуй, одинакого не насытишься, а поменяй эти бумажки на пищу — лопнешь от обжорства.

Мама голодала еще раньше меня, и это не проходит. Так мы сидим с мамой в "Бат Шеве", и пусть кто-нибудь посмеет пискнуть из пустых мешков моей памяти, пусть только попробует зажечь эти огарки снова, пусть только заикнется про обгоревшие спички, — я пожалуюсь маме, а мама за меня кому хочешь глаза выцарапает, уж если она умерла, чтобы я выжил, она не позволит никому надо мной здесь издеваться. К тому же — я фотограф и знаю, что правда и что вымысел. Я могу снять так, чтобы вышло как есть, я могу снять так, чтобы это выглядело еще лучше, чем на самом деле, но я не могу снять то, чего нет. Сон, к примеру, что, я буду гоняться за ним с фотоаппаратом под одеялом? Как вы себе это представляете? А маму я сейчас сниму, и если кто-то после этого посмеет сказать, что я маму выдумал, или, что мне она, Боже сохрани, привиделась во сне, — есть документ, и не справка с места жительства, а фотография. А они скажут, ты предъявляешь нам старые снимки, не все же разбираются в качестве, а я им отвечу — от нашей семьи не осталось ни одного свидетельства, кроме свидетельства из загса, что от нашей семьи ни-

чего не осталось. Справку можно дать на то, что ничего нет, такую справку я предъявлю по первому иску, пожалуйста, читайте хоть слева направо, хоть справа налево, и везде будет то же самое.

Мама пугается вспышки, я тоже, — возможно, одной этой вспышкой я запорол весь заказ, что сейчас проявляется, но сфотографировать маму — важнее всего, а она закрывает лицо руками, ее длинные тонкие пальцы, как высокие колья забора, загораживают сад. Из-за этих кольев не видно ни колокольчиков, ни белой мазанки. Руки большие, лицо маленькое, все в них ушло. Я говорю, мама, не бойся, это фотоаппарат, это совсем не то, что ты думаешь, и от него свет мгновенный, пшик и нету, но мама качает головой, упрямой в ладони, не надо, сынок, зачем ты играешь со мной в игрушки, спрячь эту черную коробку с молнией, убери ее подальше. Так что же, этот снимок будет единственным свидетельством того, что ко мне пришла мама, подумают, она испугалась, увидев старого сына, и потому спрятала лицо в ладони. Что, мол, за старик с красными глазами, а они у меня красные от профессии, потому что когда ищешь фокус, так кровь приливает, а когда смотришь в фокус тридцать лет подряд, она уже не отливает, стоит, как в болоте, а глаза с возрастом превращаются из озер в болота, и гноятся кромки век, и ничего не поделаешь, если глаза — это твой хлеб, ты ешь его, и как ни эконошь, как ни дозируй, все равно ему приходит конец. Но мама еще не догрызла того кусочка пшты, держит его в руке, рассматривает, словно брильянт, считает его грани. Зачем я объясняю маме, как стал фотографом еды, — кажется, ей это совсем не интересно, и она смотрит по сторонам, будто ищет что-то, или, может быть, мои слова — это живые люди, и она видит, как они вылезают из пустого мешка моей памяти, или просто из пододеяльника, бродят по комнате, ищут, где бы пристроиться, чтобы никому не мешать. А если сфотографировать? И показать маме снимки, посмотри-ка, мама, это не те, кого ты ищешь?

Нет, — говорит мама, убери черный ящик с молнией, — я ищу того, кого нет. А кого нет? Всех нет. Но есть другие. И мама не понимает меня, какие другие, я никого здесь не вижу, кроме тебя, старика с красными глазами, где те другие, и если все, как ты говоришь, продолжается, где твое продолжение, где оно? А я на это молчу. Как не оправдывай свое одинокое существование, для матери это все равно горе. Она думает свое: конечно, будь здесь дети... Дети — это одно, что она знала, — носить, рожать, кормить, тютюкать. А кого ей здесь тютюкать, красноглазого старика с колючей ржавой бородой? Могла

бы, конечно, что-то зашить, подштопать, но у меня все целое. Когда имеешь дело с клиентом, если даже клиент этот перец или простая бабка из мацы, — ты должен так себя подать, чтобы арбузы при виде тебя наливались от важности, и шпинат павлином распускал свой хвост. Я говорю это маме, и она смягчается. Даю ей пример, — мой коллега, моложе на пятнадцать лет, тоже уже не юноша, скажем прямо, так к нему приходят клиенты и расспрашивают, как он там был, как он всех выкапывал и перезакапывал, — не буду, не буду, мама, только не плачь, я ведь совсем не то хотел сказать, — я хотел сказать, что ему легче, когда он вспоминает вслух, и поэтому у него есть жена, дети и внуки. И когда он идет спать в теплую постель, тоже все хорошо. Но утром! Утром он не понимает, встал он, или все еще там лежит, — и он начинает выкарабкиваться из-под одеяла и озираться по сторонам. И ни жена, ни дети и ни внуки — никто не смеется над ним, ну подумаешь, привычка у человека вылезать таким манером из-под одеяла, в остальном-то он в порядке, и снов его никто не видит. Он все может рассказать любому клиенту, и журналистам, и в Йом Ха Шоа выступить перед микрофоном, только он должен молчать о том, как выползает из-под одеяла по утрам. Любой тебя может отвлечь словом, как погремушкой, и если в тебе еще есть младенец, ты можешь отвлечься, но если в тебе убили младенца, погремушки не действуют.

И не думай, мама, что я человек принципа, что я сам загнал себе этот принцип молотком в черепушку, зачем, если ты отдохнешь с дороги и мы выйдем на Бен Йегуду, ты убедишься, — здесь есть, с чего жить. С чего хотеть это делать. Я говорю с мамой на мамеле идиш, на детском языке, подпускаю туда иврит и русский, в каждую столовую ложку идиша щепотку иврита, чуть-чуть русского — и хватит. Так мама иногда меня и не понимает, когда я увлекусь и переборщу с ивритом, а я так стараюсь быть понятным, я очищаю свою речь, как луковицу, и плачу, как тогда, когда я снимал луковицу на срезе и никак не мог навести фокус. Мне нужен был моментальный снимок среза, и я перепортил пять головок, пока не остановился на шестой — она была как драгоценный камень, как римский амфитеатр в Тверин, ряд за рядом так накручен, что без Создателя так не накрутишь, сколько ни крути себе мозги. Камни не сочатся, а лук таки да сочится и срез его быстро темнеет. Я вытираю слезы, подрезаю еще, смотрю в объектив и ничего опять не вижу — не могу взять фокус. Ой, мама, говорю, на первый взгляд все это дело не стоит свеч, но что бы мы с тобой ели на шабат, если бы не моя профессия!

Да, сынок, говорит мама тихо, будто в комнате кто-то спит, это большое дело — преобразать перцы и репчатый лук, а тем более, когда нет ничего другого. И мама кладет свою руку мне на плечо, нет, она меня не разлюбила, и слова ее не погремушки, а вожжи, и она притягивает меня к себе, чтобы не упустить вожжи из рук, чтобы снова не выпасть из упряжки Творца.

А они громко зудят, они скребутся в пустом мешке моей памяти. Я слышу их упреки — нельзя замыкаться в прошлом, и все справедливо, и если бы этого не случилось, не быть бы Израилю, и мне нечем крыть, но я могу заткнуть уши, я могу затянуть веревку на мешке так, что им никогда оттуда не выбраться, и пусть себе болтают, завязанные морским узлом.

А они свое: что делать, когда становится тесно на земле от народа, все толкуются и хотят кушать, а когда нет места и нечего кушать, приходится есть друг друга. Нас едят в первую очередь.

Мама затыкает пальцами уши. Я вижу ее щеку с пушком, ее моргающий глаз. И она говорит с заткнутыми ушами, — когда Творец создает, Он сам не знает, что у Него получится. Нате вам, сначала он отделил День от Ночи, а уж потом увидел, что это хорошо. А если бы вышло плохо?! Как бы он это переделал? Я бы хотела, чтобы Он это все переделал, но что я для Него? Он доказал мне, что я — ничто, и мои дети ничто, и мои родители — ничто, потом спохватился и оставил тебя, чтобы ты фотографировал плоды Его фантазий.

Теперь, когда мы сидим друг против друга, и наши пальцы сплетены в клубок, я вижу мамины глаза, тень от мохнатых ресниц, не глаза, а китайские абажуры, лампочки зрачков в бахrome, — глаза, как с того света, но они лучатся и смагивают слезы, и я снова хватаюсь за фотоаппарат, обижайся не обижайся, мама, но мне нужно хоть одно живое свидетельство, не справка, что ничего нет, мама, ну не загораживайся, это секундный пшик — и все. Но она снова прячет лицо в ладони.

Пора бы зажечь свечи, давно можно было бы их зажечь, — наверняка уже не спасти той пленки с луковицей на срезе, — но мама не отпускает меня от себя, посиди да посиди, сынок, — в конце концов, я могу протянуть руку к выключателю, я не хабадник, не сумасшедший хасид Любавического ребе, так я включу свет и дело с концом, но мама крепко держит меня за руку, посиди да посиди, сынок, мы и так редко видимся, а ты такой непоседливый, скачешь с места на место. А я говорю, но я же живой, мама, все живое движется, не только мысли в голове, а мама повторяет, пусть бы Он лучше все переделал,

лучше бы Он снова смешал День с Ночью, соединил бы их, и это было бы с Его стороны справедливо.

Нет, мама, это было бы ужасно для твоего сына, — я возражаю слишком резко и мама вздрагивает, — как бы я фотографировал тогда, на что бы жил, я не сам выбирал остаться. И мама смотрит на меня строго, будто я говорю бранные гойские слова, и, кажется, она замахивается на меня, как в детстве, чтобы дать за эти слова по губам. И глаза у мамы делаются ледяными, и руки ее стыннут в моих. А что я сказал, что я такого сказал, выходит, мама до сих пор не терпит даже робких возражений, будто я обсуждал с ней направо идти или налево, будто бы мама настаивала направо, и от этого все и случилось, что случилось.

Мама, те, кто пошли налево... Мама закрывает мне рот холодной ладонью. Я прыгнул с дерева и сломал ногу. Мама приложила мне к ноге холодную тряпку, тряпка должна была быть все время холодной, а как это сделать, когда надо идти всем вместе так далеко, но мама останавливалась, размахивала тряпкой, остужая ее, и снова прикладывала к моей ноге. И все на нее кричали. И тогда она спихнула меня в глубокий ров по дороге, как щенка, и я выл от боли. Мама, повторяю я, поверь мне, ты не виновата, я видел, что случилось с теми, кто пошел налево, то же самое, мама, поверь мне, слышишь!

Ее руки наливаются теплом, она поверила мне. Она хочет забрать меня с собой, чтобы я там сказал им, она не виновата, она выбрала неправильно, как и все. Потому что и слева, и справа было одно и то же. Или она выбрала правильно, потому что, повторяю, и слева, и справа было одно и то же. И точка. Вы хоть там ее не изводите! Мама хочет привести с собой единственного свидетеля, ее хромого сына, но я не маленький, чтобы послушно идти с ней туда за ручку. И никакое свидетельство не стоит живой жизни. И если все люди преступники, то тот, кто их создал... — и так крутится мысль, виток за витком, по спирали, и в конце концов приводит к нехорошему, к тому, от чего уходишь, фотографируя перцы, киви и даже луковницу на срезе, — от одного плачешь, от другого нет, но от всего живешь; и вот эти мысли, отделенные от мякоти, самые нехорошие, они голые, а люди все же не ходят голыми, они прикрывают свою наготу, и тысячи специалистов выдумывают для них фасон и крой, но ты права, мама, все это только игры, именно потому с нас содрали одежды, вовсе не только ради наживы, а чтобы больше не играть — не смотри на меня так, мама, не фотографируй меня своими поляроидными глазами, приди лучше ко мне потом, а сейчас я устал.

Хорошо, — соглашается мама, — так я еще зайду, на днях.

Когда она ушла, я поднял жалюзи, чтобы хорошенько рассмотреть ее, идущую к автостанции. Но вместо нее я увидел хозяина гостиницы с супругой, они шли под зонтиком в Большую Синагогу. Я выставил ладонь в открытое окно — дождя не было.

Я закрыл окно и развязал мешки своей памяти. Похоже, я был очень сердит, раз так туго затянул веревку морским узлом. Из мешков доносился мерный храп. Видно, так они там навystупались, что устали и уснули. Я не стал их трогать. Неужели я еще должен сводить счета хоть с кем-нибудь на этой земле!

Я зашел в ванную, чтобы убедиться в том, что я действительно заперол заказ на репчатый лук. Луковые кольца плавали в растворе. Рядом с ваночкой лежала фотография. Срез удался великолепно. Это была та самая, шестая луковица, полированный сапфир с прожилками вокруг, римский амфитеатр, камни его источали луковый дух такой силы, что я заплакал.

Март 1991, г. Иерусалим



### СОВЕТСКОЕ ЕВРЕЙСТВО — СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

*В редакции "Двадцать два" состоялась встреча с руководителями еврейских обществ СССР, представляющими различные регионы проживания полутора миллионного советского еврейства. В ходе встречи гости Израиля рассказали о нынешней ситуации в их регионах и перспективах еврейской жизни в этих местах. Предлагаемый читателям материал представляет собой сокращенную запись этого "круглого стола", в котором приняли участие представители России, Украины, Белоруссии и других республик.*

**И.Зиссельс**, сопредседатель ВААДа (Совета еврейских общин и организаций), Украина: Я оставлю возможность подробнее рассказать о ситуации на Украине Феликсу Мильштейну, поскольку он там живет и работает, сам же я предпочел бы, со своей всегдашней склонностью к обобщениям, посвятить это выступление постановке проблемы в целом.

Тот железный занавес, который на протяжении десятилетий отгораживал СССР от западного мира, сегодня не существует. И если во времена железного занавеса нас вполне удовлетворяло то, как Израиль, мировое еврейство и западный мир к нам относятся, нас защищают и нам помогают, то теперь, когда наши еврейские организации вышли из подполья и работают на совершенно ином уровне, мы видим, насколько инерционны созданные в свое время стереотипы, насколько они мешают правильному пониманию того, что происходит в Советском Союзе, и насколько они мешают работать тем еврейским силам, которые там существуют.

В последние годы мы столкнулись с очень большой активностью израильских государственных и общественных организаций, а также международных еврейских структур в Советском Союзе. Разумеется, мы рады практически всем этим организациям, но мы бы хотели, чтобы их руководители и функционеры на местах получше представляли, что происходит в нашей стране. В противном случае, их работа оказывается во многом бесплодной, а иногда даже идет во вред дея-

тельности наших местных организаций. Поэтому я бы не хотел ограничивать наше обсуждение только ситуацией евреев в различных регионах. Прежде всего нужно понять ситуацию в самих регионах, что происходит вообще в Советском Союзе и как на этом фоне выглядит деятельность еврейских организаций, что они собой представляют, куда движутся и какие цели перед собой ставят.

Текущую ситуацию в СССР можно охарактеризовать тремя словами: неоднородность, нестабильность и непредсказуемость. Неоднородность означает, что события в каждом регионе происходят по-своему, и чем больше мы углубляемся в этот водоворот сегодняшней истории, тем больше специфических особенностей обнаруживается в каждом таком регионе. Это не означает, будто нет общих социально-политических закономерностей, но упомянутые региональные особенности приобрели сегодня такое значение, что стали соизмеримы с этими общими законами.

Нестабильность означает, что мы находимся сейчас на очень крутом участке политической траектории, когда сегодняшняя ситуация совершенно не позволяет прогнозировать завтрашний день. Эта кривая изобилует неожиданными поворотами, в ней нет той "линейности", которая позволяла бы предсказать будущее на основании прошлого. Собственно, отсюда вытекает и непредсказуемость.

То, что в СССР происходит стремительная децентрализация, понимают сегодня все, кроме самых упрямых. Но одно дело — понимать это рассудком, и совсем другое — представлять себе, к каким результатам это может привести. То, что раньше было абсолютно жестко увязано через общегосударственные центральные структуры — социальное обеспечение, здравоохранение, экономические, культурные, даже чисто семейные связи, сейчас, при резком ослаблении центра, стало разрушаться. Теперь каждая республика, каждое государство, образовавшееся на территории бывшего Советского Союза, заняты государственным творчеством — заново создают все эти связи и отношения. В каждой республике это происходит по-своему, но сегодня мне хочется подчеркнуть некий общий вывод: через несколько лет на месте Советского Союза будет существовать несколько государств (сколько их будет — пока непонятно), которые будут независимы от бывшего центра, но все, в той или иной степени, — недемократичны.

В этом отношении, я думаю, особых иллюзий быть не должно. Во многих регионах попросту нет демократических традиций, в других, на первый взгляд — самых благополучных, как Прибалтика, эти

традиции были подорваны 50-летним господством советской власти, и на их восстановление понадобится очень много времени. Опыт истории подсказывает, что распад любой колониальной империи всегда сопровождается сходными явлениями — ростом национализма, крахом экономики (по прогнозам, через 3 года в СССР будет 50 миллионов безработных), социальными потрясениями, межгосударственными и национальными конфликтами. Все это предвещает каждой из республик тяжелый и мучительный путь на ближайшие десятилетия. Быстрых положительных результатов нельзя ждать даже в самых благополучных регионах вроде Литвы или Латвии.

Во всех регионах плодятся сегодня десятки новых политических и националистических партий, с которыми западный мир не знаком даже понаслышке. Поднимаются новые силы со своими взглядами на пути развития экономики, межгосударственных отношений, внешнеполитических связей. Конечно, со временем там сложатся свои национальные правительства, которые будут пытаться решать стоящие перед ними проблемы. Но в условиях глубочайшего экономического кризиса и социального распада спокойное решение этих проблем не представляется возможным. А это непременно толкнет соответствующие государства в уже испробованное историей русло — изоляционизм, подавление демократии, блокирование информации, пятнадцать железных занавесов вместо одного (и мы уже имеем тому примеры — Грузия, Молдавия, Средняя Азия) и, самое главное, попытки канализировать общественное недовольство по испытанным каналам — ксенофобии, национальных конфликтов и антисемитизма. Показательный пример — та же Грузия. В стране, где на протяжении 27 веков, по утверждению грузинских авторов, никогда не было антисемитизма, сегодня появляется программная антисемитская статья в правительственной прессе и происходят погромы на еврейском кладбище.

Мы не политологи, не социологи, мы — общественные организаторы, которые пытаются из локутков, оставленных нам Империей, склеить какую-то еврейскую жизнь в Советском Союзе. Но мы понимаем, насколько важно представлять, что происходит в каждом отдельном регионе. Ведь если раньше нам приходилось интересоваться только тем, кто как чихнет в Москве и как это отразится на всех советских евреях, то сегодня мы имеем дело с многофакторной системой, которая везде развивается по-своему. Чтобы не злоупотреблять вашим терпением, отмечу всего один, но принципиально важный аспект. Как вы знаете, несмотря на трудности абсорбции в

Израиле, алия из СССР идет в целом успешно. Тем не менее, мы убеждены, что даже через 30 лет такой алии в каждом из государств, которые возникнут на месте СССР, по-прежнему будут сохраняться еврейские общины. И еврейскому миру, Израилю в частности, не может быть безразлично, какова будет их судьба. Израиль сегодня делает ставку только на центральные структуры бывшего СССР. Между тем сегодня становится уже абсолютно необходимо ориентироваться на партии и движения, которые возникают в отдельных республиках — ведь это именно они, а не центр, будут решать судьбу тамошних евреев. Уже сегодня эти силы могут заблокировать или, наоборот, провести свои, республиканские законы, прямо или косвенно затрагивающие интересы евреев — например, закон о гражданстве или закон о свободе въезда и выезда.

Еще летом прошлого года, будучи в Израиле, я пытался стучаться во все двери с этими вопросами. Я всюду получал один и тот же ответ: пока не установятся отношения с Москвой, ни о чем другом думать нельзя. Но ведь кроме отношений дипломатических есть еще отношения межпартийные, культурные, общественные. И как бы нам ни были неприятны, быть может, те или иные организации в регионах — украинские, литовские и прочие, с ними нужно завязывать и поддерживать отношения. Так диктует дальновидная политика.

**Р.Нудельман**, главный редактор журнала "22": Вопросы к Иосифу Зиссельсу?

**Д.Притал**, редактор сборника "Еврейская интеллигенция из СССР" при Иерусалимском университете: Меня смущает некая асимметрия. Вы говорите о всеобщем распаде в СССР. И в то же время ВААД пытается удержаться в качестве единого всесоюзного еврейского центра — хотя уже и Союза-то, в сущности, практически нет...

**И.Зиссельс**: Вы правы. Во время недавнего путча возникла такая шутка: "Что такое Советский Союз? — Это территория, контролируемая только ВААДом." В свое время, когда создавался ВААД, шли ожесточенные споры — как он должен выглядеть? Должна это быть единая организация или ассоциация, или федерация и так далее? Победила точка зрения, согласно которой развитие в Союзе центробежных явлений требует создания конфедерации. А на втором съезде ВААДа, в январе прошлого года, то есть за восемь месяцев до переворота и нынешнего быстрого разбегания республик, мы поставили задачу трансформации ВААДа из конфедерации местных еврейских организаций в конфедерацию еврейских организаций целых регионов, которая сегодня становится, по существу, международной

структурой, связывающей еврейство различных государств — России, Украины, Литвы, Латвии, Грузии и так далее.

**Д.Притал:** Какое влияние оказывает ВААД?

**И.Зиссельс:** Мы вполне представляем себе и сильные, и слабые стороны ВААДа. Это несколько аморфная структура, это не "еврейское правительство", но сегодня в СССР нет иной структуры, которая хотя бы и на таком, пусть самом слабом уровне, объединяла бы различные еврейские организации и защищала их общие интересы. И сама ее аморфность, принцип невмешательства в региональные дела, возможность "ассоциированного членства" привели к тому, что на данный момент ни одна региональная организация из ВААДа не вышла. Напротив, число организаций в нем растет и сегодня достигло уже 385-и. Существует 20 региональных структур со своей техникой, и во время попытки переворота мы заметили, что вся эта система работает совсем неплохо: поступала информация, координировались действия и заявления и так далее.

**Р.Нудельман:** Скажите, а те израильские и международные еврейские организации, которые разворачивают сейчас свою деятельность в СССР, делают это в координации с ВААДом или помимо него?

**И.Зиссельс:** Хотелось бы, конечно, сказать, что они с нами считаются, но, к сожалению, это далеко не так. Поначалу все эти организации входили в Советский Союз через нас, то есть через тех еврейских активистов, которые уже были как-то известны на международном уровне. Сегодня они уже пытаются работать напрямую, через своих людей, согласно своему разумению, и во многих местах это привело к неудачам и провалам. Скажем, в Ташкенте местные власти выдворили представителя Сохнута, в Грузии очень неудачно прошел слет молодежи, в Одессе сорвался летний лагерь. Неприятно также, что во многих случаях эти организации пытаются привлечь на свою сторону местных активистов, посадив их на свои дотации. Это не означает, конечно, будто все плохо. Делается очень много полезного — создаются школы, библиотеки, летние лагеря. Но наряду с этим есть и досадные недостатки. И все они, повторяю, связаны, как правило, с недооценкой или непониманием общесоветской и местной специфики. Я бы сказал в самом общем виде: развал всех централизованных структур в СССР приводит к тому, что любая международная или израильская организация ощущает себя там, как в вакууме, где будто бы можно беспрепятственно распространяться во все стороны. Но потом они неожиданно натываются на местные особенности, о существовании которых не подозревали, и результат за-

частую оказывается плачевным. Вот тут как раз ВААД и мог бы серьезно помочь.

**Х.Хубилашвили, председатель Всемирного союза выходцев из Грузии:** Что вы можете сказать о ситуации евреев в Грузии?

**И.Зиссельс:** Только то, что это очень сложная и трудная ситуация, которая требует максимальной осторожности. Приведу один только пример. Не так давно президент Гамсахурдия обратился к лидеру грузинских евреев Гураму Батиашвили с просьбой выступить в осуждение сепаратистских попыток Южной Осетии. Как поступить? Ведь в Южной Осетии есть свои евреи! Кончилось тем, что Батиашвили все-таки выступил в грузинском парламенте с весьма обтекаемой речью, в которой вынужден был, однако, выразить требуемое "осуждение". И что же? Это немедленно отозвалось на ситуации южно-осетинских евреев: их начали преследовать, вымогать у них деньги, шантажировать, избивать... Какая международная еврейская организация отдает себе отчет в этой запутанной ситуации на местах? Пусть в Южной Осетии осталось всего 40 еврейских семей — разве в количестве дело?! Говорит же Израиль на весь мир о судьбе двух тысяч сирийских евреев!

**Х.Хубилашвили:** Та же ситуация складывается в Абхазии...

**И.Зиссельс:** Исторические аналогии, конечно, ограничены, тем не менее следует сказать, что такое уже было — семьдесят лет назад, во времена распада Австро-Венгерской или Российской империй. Различные национальные или национально-демократические движения точно так же пытались тогда заигрывать с евреями, привлечь их в союзники. Не зря же существует миф о единстве еврейского мира, его традициях взаимопомощи, его богатстве и влиянии — каждый стремился что-то получить от союза с евреями. Кончалось всюду одинаково — разочарованием и, как результат, ростом антисемитизма. Мы должны быть готовы и к таким поворотам тоже.

**Л. Дымерская-Цигельман, редактор бюллетеня "Евреи и еврейская тематика в СССР и странах Восточной Европы" при Иерусалимском университете:** Были ли вы готовы к путчу?

**И.Зиссельс:** Когда вам каждый день говорят, что будет переворот, а он все не происходит, бдительность невольно притупляется. Мы на каждом заседании Совета ВААДа говорили о возможности путча и необходимости подготовки к нему. Но ничего особенного так и не сделали. Конечно, нам удалось создать, как я уже говорил, свою инфраструктуру, пути получения и обмена информацией, но — ничего более. Я думаю, если бы заговорщикам удалось то, что они

планировали, нам пришлось бы плохо.

**Р.Нудельман:** Слово Якову Басину.

**Я.Басин, член Президиума ВААДа, Белоруссия:** Я представляю Белоруссию — регион, который на сегодняшний день можно считать относительно "благополучным". У нас не льется кровь. Может быть — не льется пока. Но те центробежные силы, которые, в конечном счете, разорвали тоталитарную империю, сказываются и на судьбе Белоруссии. Сегодня в Союзе мы сталкиваемся с очень интересным, на мой взгляд, феноменом — исчезновением центральной власти. Несмотря на то, что формально эта власть как бы еще существует, и нечто подобное КГБ и МВД все еще функционирует, но реальный авторитет власти полностью утерян и постепенно все больше переходит на места. А исторический опыт учит, что в таких ситуациях всегда открывается путь к стихийным выступлениям. И мы уже наблюдаем, что на окраинах Союза повсеместно льется кровь. Может ли это произойти и в центральных регионах страны? Думается, что может, потому что ту роль, которую на окраинах выполняют чечены, турки-месхетинцы, осетины и так далее, в центральных регионах могут сыграть евреи.

Подготовлено ли к этому местное население? Десятилетия анти-семитской пропаганды привели к тому, что население на местах, и в частности в Белоруссии, во многом подготовлено обвинять во всех трудностях именно евреев. И даже сейчас, когда все чаще публикуются статьи, показывающие положительный вклад евреев в советскую историю, в редакции белорусских газет и журналов приходят письма, где авторов этих статей обвиняют в "искажении действительности" и возлагают на евреев все провинности — от распятия Христа до установления советской власти.

Изменилось ли что-нибудь после путча? Смею думать, что в Белоруссии не изменилось ничего. Это тоже интересный феномен. КПСС и какие-то службы КГБ вроде бы ушли с политической арены. Но это только внешне — все те идеологические службы, которые функционировали до путча, продолжают функционировать и сегодня. Скажем, в Белоруссии выходят те же самые газеты и журналы, под теми же названиями, с теми же редакционными коллегиями и с тем же самым наполнением, что было до августа 1991 года. Журнал "Политический собеседник", который из органа ЦК КПБ стал просто "общественно-политическим журналом", по-прежнему публикует статьи о том, какие преступления совершали в истории "иудеи". Газета "Славянские ведомости" 3 разворота из 8 отдает антиеврейской

пропаганде, причем перепечатывает — уже в октябре месяце — статью из "Молодой гвардии" о том, что Гитлер и все его приближенные были еврейского происхождения! Газета Белорусского телеграфного агентства "Белта" из номера в номер публикует по 3-4 антисемитских и антиссионистских материала некоего Игоря Буковского. Происходят организованные антиеврейские акции — например, в начале октября в городе Борисове были разрушены одновременно 72 еврейские могилы. Понятно, что это не могло быть делом рук каких-нибудь пьяных подростков, — это акция, рассчитанная на нагнетание антиеврейских настроений. А вот акция, которая явно под силу только КГБ: в августе в Минске проходила выставка, посвященная детям Варшавского гетто. Она была прислана иерусалимским институтом Яд-Вашем и из Минска должна была отправиться в Киев, к церемонии в Бабьем яре. Однако в самый день отправки обнаружилось исчезновение одного из четырех ящиков с материалами — огромного, 100-килограммового контейнера, который был похищен прямо из охраняемого зала Дома искусств.

Все это происходит через 2-3 месяца после того, как КПСС и КГБ с их идеологическими службами вроде бы ушли с политической арены. Значит, силы, заинтересованные в нагнетании и поддержании антиеврейских настроений, все еще существуют и действуют вполне организованно и целенаправленно. Такова главная особенность сегодняшней белорусской ситуации. Все командные посты в республике занимают сейчас бывшие руководители партийных органов. Три четверти депутатов Верховного совета республики — бывшие работники горкомов, райкомов и так далее. Они сохраняют в своих руках колоссальные финансовые средства, располагают вышколенным и послушным аппаратом и находят пути легализации своей прежней деятельности. Белоруссия — один из бастионов компартии, только перекрасившейся, и рассчитывать на выбор ею демократического пути вряд ли приходится. Ни в России, ни на Украине нет такого полновластия скрытых коммунистов и их управленческого и идеологического аппарата. Нет там и такого беспардонного, дремучего антисемитизма в ведущих общественно-политических изданиях. Белоруссию, кстати, всегда отличала большая веротерпимость: в маленьких городках до сих пор можно найти площади, где по углам стоят церковь, костел, синагога и мечеть. В Белоруссии практически не существовало национального самосознания. Сегодня белорусский "На-родный фронт", пытающийся играть на "белорусской национальной идее", ничего не может достигнуть. И в этом вакууме успеш-



но распространяется насаждаемый сверху бывшими коммунистами антисемитизм.

**Л.Дымерская-Цигельман:** В России мы замечаем растущее противостояние либерально-демократических кругов черносотенному антисемитизму. На Украине либеральная интеллигенция ищет союза с евреями. Есть ли что-нибудь подобное в Белоруссии?

**Я.Басин:** Когда были восстановлены дипломатические отношения с Израилем, белорусские газеты запестрели статьями с выражением симпатии к Израилю. Но на мой взгляд, это было всего лишь лишним подтверждением того, что в Белоруссии все по-прежнему делается еще по команде сверху и команду эту по-прежнему отдают те же люди, что и раньше. Спонтанных демократических проявлений в республике пока нет.

**М.Хейфец, член редколлегии журнала "22" и сотрудник газеты "Время":** Какова еврейская ситуация в республике? Каково отношение к выезду евреев в Израиль?

**Я.Басин:** Тот насаждаемый сверху антисемитизм, о котором я говорил, способствует развитию интересного процесса — деассимиляции. Люди, казалось, забывшие, что они евреи, вдруг вспоминают об этом, более того — начинают манифестировать свое еврейство. И мне представляется, что поддержка этого процесса деассимиляции, национального возрождения, становления национального самосознания евреев должна составлять сегодня главное содержание работы наших местных и международных еврейских организаций.

Что же касается отношения белорусских властей к еврейской эмиграции, то оно по-прежнему очень плохое. Например, минский горисполком всячески пытается лишить евреев, выезжающих в Израиль, права оставлять за собой принадлежащее им жилье, хотя закон это позволяет. Те, кто уезжает в Соединенные Штаты, могут и сохранять за собой, и продавать жилье, а те, кто уезжает в Израиль, не могут. Чтобы помешать репатриантам продать квартиру, исполком назначает рассмотрение их просьбы об этом за несколько дней до их отъезда, затем отвергает эту просьбу, а репатриантам заявляет, вполне откровенно и цинично: да, мы нарушили закон, вы имеете право обжаловать наше решение через суд... — прекрасно зная, что этой семье буквально через несколько дней уезжать в Израиль и ни в какой суд она не успеет. Это каждодневная практика, я могу привести десятки таких примеров.

**Р.Нудельман:** Говоря о необходимости возрождения еврейского национального самосознания, вы почему-то обошли религиозное

воспитание. Занимаются ли этим местные еврейские организации и представители международных еврейских структур в Белоруссии?

**Я.Басин:** Религиозный момент стал сейчас играть очень важную роль в работе с молодежью. Синагога превратилась в некий культурный центр. Но это происходит, в основном, благодаря самым энергичным усилиям Хабада, который не жалеет ни денег, ни посланцев, создает свои ешивы, привлекает молодежь. Работа же местных ваадовских организаций затруднена тем, что в Белоруссии еврейская религиозная жизнь была уничтожена уже очень давно. В республике до сих пор нет ни одного своего раввина. Общины возглавляют люди, весьма далекие от религии. Власти же отказываются возвращать евреям синагоги, ссылаясь на отсутствие достаточного числа членов в общине. Тем не менее среди белорусской еврейской молодежи появляется все больше и больше верующих.

**Р.Нудельман:** А что противопоставляют этому еврейские культурные организации?

**Я.Басин:** Их культурная деятельность крайне ограничена, поскольку нет подготовленных лекторов и организаторов. Некому прочесть лекцию о праздниках, об их исторических корнях, о моральных ценностях еврейского народа и так далее.

**М.Хейфец:** Сколько евреев в Белоруссии?

**Я.Басин:** Тут нельзя дать однозначного ответа. По паспортам — около 100 тысяч, из них 35 тысяч — в Минске. Но эту цифру нужно, по меньшей мере, удвоить, чтобы учесть тех, кто, являясь евреем, имеет в паспортах другую запись. А к ним нужно добавить еще не менее 50% от общего числа — это те неевреи, которые живут в еврейских семьях и готовы разделить их судьбу. В итоге мы получим примерно четверть миллиона. Это и есть база нашей алии и нашей работы.

**Р.Нудельман:** Чем вы объясняете определенный спад в масштабах алии в последние месяцы? Является это только следствием ситуации с жильем и работой в Израиле или отражает также какие-то явления на местах, превращение "алии беженцев" в "алию выбора"?

**Я.Басин:** Вы уже сами дали ответ. По моим данным, каждая вторая семья, получившая в этом году разрешение на выезд в Израиль, не спешит уезжать и ждет вызова на собеседование в посольство Соединенных Штатов. А уж о причинах догадывайтесь сами. Эмиграционный процесс уже не остановишь, но его направление все еще не однозначно.

**И.Зиссельс:** "Выбор", о котором вы говорите, состоит сегодня не

в том, ехать или не ехать, ждать улучшения обстановки на местах или не ждать, а только в том, куда ехать. Все надеются, что Америка вот-вот откроет пошире двери и можно будет ринуться туда.

**А. Фурман, член товарищества "Москва-Иерусалим":** Скажите, в какой мере серьезное изменение ситуации в Израиле, например, создание большого числа рабочих мест и тому подобное — могло бы повлиять на упомянутый вам "выбор" советских евреев, как едущих, так и остающихся?

**Я.Басин:** Нечего спорить, улучшение абсорбции в Израиле, конечно, повлияло бы на настроения советских евреев. И тем не менее, нужно понимать, что при реально существующих ограничениях пропускных каналов — ОВИРы, паспорта; при наличии семи с половиной миллионов заявлений на эмиграцию от людей других национальностей можно ожидать, что за год из СССР смогут реально выехать не более 200 тысяч евреев и "примкнувших к ним" членов их семей. А это означает, что при наличии там 4 миллионов евреев и "примкнувших" такой выезд затянется на 20 лет, на целое поколение.

**Р.Нудельман:** Значит, ваше заявление, что и через 30 лет в бывшем СССР будут евреи, связано не столько с их желанием там остаться, сколько с чисто техническими трудностями столь массового выезда?

**И.Зиссельс:** По одному из наших пробных опросов (правда, на небольшой выборке), только 11% советских евреев вообще не думает о выезде. Все остальные уже находятся в процессе выезда, ждут вызова или готовы выехать при определенных обстоятельствах. Но технические трудности, конечно, затягивают этот процесс — ведь евреев и "примкнувших к ним" в бывшем СССР около 4 миллионов! А те 11%, что пока хотят остаться, — это тоже, как-никак, около полу-миллиона...

**Р.Нудельман:** Слово Феликсу Мильштейну.

**Ф.Мильштейн, член Президиума ВААДа, Одесса:** Ситуация на Украине, вообще говоря, парадоксальна. Украина, как известно, имеет богатые антисемитские традиции, но на сегодняшний день еврейская ситуация там — одна из самых благоприятных. Во-первых, нет — и за последние 5 лет не было — ни одного антисемитского издания, ни одной антисемитской публикации. Во-вторых, официальные власти непрерывно демонстрируют свою любовь к евреям, педалируется выражение "народы Украины" — вплоть до самых комических результатов, когда начинает уже появляться термин "украинец еврейского происхождения". Вы все знаете, как торжественно отмечалась

годовщина Бабьего яра в Киеве, но и на местах власти всячески демонстрируют лояльность и уважение к евреям и их организациям.

В значительной степени это заслуга украинских национально-демократических движений. "Рух" впервые заговорил об активном сопротивлении антисемитизму на Украине, его лидеры и представители на местах активно контактировали с еврейскими организациями и активистами, многие евреи вошли в Палату национальностей "Руха".

Ситуация в чем-то парадоксальная. Но причины этого парадокса просматриваются достаточно ясно. Прежде всего, на Украине сегодня не нужно искать врага в образе еврея, потому что там довольно четко формируется образ врага в лице русского, в лице "москаля", в лице имперского центра.

В этой ситуации евреи выступают естественными союзниками, и один из главных аргументов украинского национального движения состоит как раз в том, что украинцы и евреи должны идти вместе, потому что и тех, и других одинаково угнетал русский имперский центр. Мне даже довелось в одной из дискуссий защищать русский народ и напоминать, что в империи и он подвергался дискриминации.

Таким образом, то появление евреев в качестве главного врага, о возможности которого говорили Зиссельс и Басин, на Украине сегодня куда менее вероятно. Другой специфический момент состоит в том, что Украина сегодня находится в относительно благоприятной экономической ситуации, в частности — в продовольственном отношении. Украина — сытая республика, продовольствия для своих нужд ей пока хватает. Много говорят о черномыльском заражении, но я, как врач, знаю истинные цифры, и они не тревожны.

Однако в некоторых районах Украины существует другая опасность — сепаратизма. Есть районы с большим русским населением — южные, так называемая Новороссия, восточные — Криворожье и Донбасс и, наконец, Крым. Там есть опасность столкновения украинцев с русскими, потому что эти районы довольно громко говорят сейчас об автономии — пока в рамках Украины, но, возможно, вплоть до отделения, — и, конечно, нашим братьям-евреям до всего дело, и они начинают в эти споры влезать. Скажем, в Одессе, на собрании интеллигенции города, одна из выступавших там евреек горячо выкрикивала "от лица русскоязычной интеллигенции Украины", что украинский язык учить не будет, потому что она и ее предки "уже 300 лет говорят на русском языке". Естественно, что на сле-

дующий день активисты из украинских демократических кругов буквально обрывали мой телефон, пытаясь узнать, не выражала ли она какую-то новую позицию еврейских организаций, от имени какой интеллигенции она говорит. Что поделать — некоторым евреям очень хочется поиграть в политику, на сей раз — в политику внутри-украинскую, и они не отдают себе отчета, в какой назлектризованной атмосфере они живут и какими спичками играют.

Есть еще одна причина, по которой на Украине сейчас так горячо любят евреев. И официальные власти, и национальные круги очень энергично педалируют сейчас, наряду с идеей "национального государства", также идею "европейского государства" — Украины как европейской державы. При этом они отдают себе отчет, что в Европу с багажом антисемитизма не войдешь. В том же направлении на них активно давят лидеры украинской диаспоры в Канаде. Другой аспект того же вопроса подчеркнул в недавнем выступлении Кравчук. Независимая Украина, сказал он, должна в своей внешней политике ориентироваться на страны "украинской диаспоры". В Киеве считают, что Израиль тоже относится к таким странам и что еврей-выходцы с Украины, сохраняющие симпатии к ней, вместе с подлинно украинской диаспорой в Канаде, Штатах, Австралии, помогут Украине восстановить ее экономику. Те же надежды питают и лидеры национального движения, стоящие в оппозиции к Кравчуку.

Какая опасность таится здесь для евреев? Все эти эйфорические надежды на богатый, могучий Израиль и богатое, влиятельное мировое еврейство могут обернуться разочарованием, которое окажется направленным против местного еврейского населения. К сожалению, должен сказать, что сегодня эти эйфорические надежды весьма подпитываются большим количеством израильских "бизнесменов", а проще — израильского жулья, которое хлынуло на Украину и пытается нажиться на ситуации, предлагая весьма сомнительные проекты и обещая взамен золотые горы.

Следующий аспект еврейской ситуации — это деятельность тех организаций, о которых мы говорили, Сохнута и Джойнта. Здесь я хотел бы подчеркнуть одно обстоятельство, которое часто забывается в дискуссиях. Как бы нам ни хотелось, чтобы идея сионизма полностью осуществилась и все евреи до единого уехали в Израиль, нужно трезво понимать, что этого не будет. Евреи в бывшем Советском Союзе останутся — быть может, не во всех, но в части его регионов. И если не будет каких-то глобальных катаклизмов, то этого следует ожидать, прежде всего, на Украине. Будет это 100 тысяч или

500 тысяч человек, но они будут. И тут возникает второй парадокс. Чаще всего ведь уезжают самые сильные, напористые, энергичные, а остаются, преимущественно, люди старые, немощные, социально незащищенные. Эту группу израильские и международные еврейские организации сейчас напрочь вычеркивают из сферы своей деятельности. И боюсь, что их вычеркивает также израильское общественное мнение. Между тем они нуждаются в общинной жизни, в социальной защите и так далее. Деятельность ваадовских организаций на Украине, наши активные контакты и с властями, и с оппозицией, и с местными активистами помогли нам в какой-то степени взять под свой контроль еврейскую ситуацию в республике, добиться ее стабильности, избежать многих возможных эксцессов. В условиях массового отъезда самой сильной части общины становится особенно важной задача дальнейшего укрепления общинной жизни, потому что от этого зависит возможность защитить остающихся. В одной Одессе, по нашим подсчетам, сегодня имеется около 3 тысяч еврейских стариков и пенсионеров, нуждающихся в такой защите, не имеющих медицинской помощи, находящихся на грани голода — даже в относительно сытой Одессе.

К сожалению, представители международных еврейских организаций на Украине плохо понимают или вообще не представляют себе всю сложность местных проблем. Располагая большими (а в категориях СССР — огромными) средствами, они зачастую склонны видеть в себе этаких "генерал-губернаторов" еврейского населения отдельных городов и регионов, которым приличествует вести дела с местными властями только напрямую. В ряде случаев, как уже говорилось, это привело к прямым провалам, потому что местные власти куда охотнее идут на уступки местным же еврейским организациям, чем представителю из-за границы, который размахивает флагом Сохнута или Джойнта. Появление такого представителя часто вызывает соответствующий звонок "сверху" с вопросом: что это у вас там сионисты распоясались?! С другой стороны, такие представители, пытаясь добиться расположения местных властей, соблазняют их безответственными обещаниями финансовой помощи, посредничества в туризме и в бизнесе и так далее, вплоть до организации заграничных поездок для "побратимства", как это было в Одессе. Чем заманчивее такие посулы, тем более велико последующее разочарование. А оборачивается оно против нас, против еврейства на местах.

Плохо разбираются в местной обстановке и корреспонденты западной еврейской прессы. В результате они легко покупаются на по-

пытки прямых провокаций. А такие попытки, к сожалению, предпринимаются. Мы, например, обнаружили двух евреев, которые, намалевав краской на стене антисемитский лозунг, уже через час привели туда американского корреспондента. А другая американская еврейская газета с наивной готовностью подхватила пущенный кем-то и совершенно анекдотический слух, будто знаменитая Потемкинская лестница в Одессе сложена из камней, взятых с еврейского кладбища.

Все это лишний раз показывает, как важно знать и понимать местную обстановку и насколько существенно для этого тесное сотрудничество с местными еврейскими организациями.

Такова, в кратких словах, ситуация в благополучной, на первый взгляд, республике — ситуация, которая в любой момент может тем не менее взорваться в силу изменения каких-то общих обстоятельств.

**И.Зиссельс:** Я бы хотел добавить к этому несколько слов. Сегодняшнее руководство украинского национально-демократического движения, о котором сейчас упоминал Ф.Мильштейн, — это люди, которые прошли через десятки лет лагерей и именно там, под влиянием сионистов, армян и других "националов" стали национал-демократами. Мы с ними общаемся давно, у нас хорошие отношения. Но их очень мало. Сегодня они еще что-то решают в общественном мнении, к ним прислушиваются, потому что они были первыми, на них еще лежит отсвет былого героизма. Но если посмотреть, сколько человек на Украине поддерживает "Рух", то окажется, что это каких-нибудь 1-2%! Подавляющее большинство украинского народа — это просто спящая, аморфная, инертная масса. И не исключено, что при первых же социальных потрясениях она может прийти в движение. Несмотря на наши хорошие отношения с руководством национально-демократического движения, несмотря на то, что нынешние лидеры Украины — тот же Кравчук — рвут на себе рубашку за евреев и посыпают головы пеплом, может возникнуть та же ситуация, что в годы гражданской войны. Ведь и тогда у еврейского руководства были хорошие отношения с руководителями Центральной Рады, теми же Грушевским, Винниченко, и даже Петлюра, говорят, был чуть ли не защитником евреев, а в погромах погибло почти 180 тысяч человек. И почему? Потому что Рада не контролировала ситуацию. То же самое может произойти и сейчас. Правительство может вещать, что оно любит евреев, а в провинции может происходить все, что угодно. Любопытен в этом отношении пример тех трех западно-украинских областей — Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, где "Рух" пришел к власти в местных советах. Здесь лидеры "Руха" уже

учатся управлять населением, и потому ситуация здесь, как мне представляется, самая благополучная. В тех же районах, где пока царит безвластие, где старые структуры разрушены, а национально-демократические еще не существуют, можно ждать самых непредсказуемых явлений.

**Р.Нудельман:** Из прослушанных выступлений вырисовывается такая, в общем-то, ожидаемая картина, что в каждом регионе при оценке перспектив исходят, прежде всего, из исторических аналогий. Скажем, в Белоруссии, где по традиции не очень опасаются антисемитизма низов, считают главной задачей пробуждение еврейского национального самосознания; на Украине, где антисемитские эксцессы традиционны, считают первостепенной задачей организацию социальной и экономической взаимопомощи, структур самозащиты и тому подобное. Каждый регион как бы сам определяет свою "еврейскую политику", не так ли?

**И.Зиссельс:** Это как раз то, о чем мы говорим. Когда мы все были "советскими евреями", у нас было очень много советского и очень мало еврейского. Чем дальше идет процесс, тем меньше мы остаемся советскими и тем больше становимся евреями. И при этом мы все больше становимся не просто евреями, а — евреями Литвы, евреями России, евреями Украины и так далее. Раньше "советскость" смазывала все различия, сегодня мы все больше становимся евреями не просто разных регионов, но и просто разных государств с разными условиями жизни. Евреи Средней Азии — это одно, евреи Белоруссии — совсем другое. Не забывайте — в каждом из этих регионов у евреев есть еще и свои исторические традиции.

**Ф.Мильтштейн:** Перед нами теперь возникает задача создания внутрирегиональных структур, региональных еврейских общин, своих конфедераций внутри каждого региона.

**Л.Дымерская-Цигельман:** Скажите, идет ли речь также о политическом представительстве еврейских интересов в каждом отдельном регионе?

**Ф.Мильтштейн:** В местных органах власти у еврейских организаций есть свои представители, хотя большинство евреев там выступают от своего имени, как депутаты населения в целом. Что же касается представительства на уровне "большой политики" — региональной, общереспубликанской, — то мы об этом много говорим, но за всеми делами забываем. Хотя, с моей точки зрения, депутаты от еврейской общины региона должны быть и в его Верховном совете.

**Р.Нудельман:** Слово Геннадию Дубинскому.



Г.Дубинский, Центр информации об Израиле, Вильнюс: Я представляю здесь Литву, казалось бы — очень благополучный регион. У нас все действительно прекрасно, но это только внешне. Да, Литва получила независимость, она признана международным сообществом, в Литве сейчас происходят в общем-то положительные с еврейской точки зрения процессы. На республиканском телевидении существует много программ, которые затрагивают историю евреев в Литве, историю и культуру евреев вообще; в Литве практически не наблюдается проявлений антисемитизма, даже на бытовом уровне, а те, что есть, вполне можно отнести к разряду обычного хулиганства. Много и других положительных моментов. Но и у нас, в Литве, существует очень серьезная проблема, и в нашем случае ею является разрозненность еврейских сил. А также, грубо говоря, — бедность оставшегося человеческого материала. Очень многие уехали, и деятельных, активных, способных что-то делать людей осталось крайне мало.

Увы, в этом раздроблении сил немалую роль играют международные еврейские организации, которые порой действуют по принципу "разделяй и властвуй". Их представители ищут на местах тех, кто сам ищет богатого покровителя, а это далеко не всегда — самые лучшие люди. Более того — это зачастую люди с очень плохой репутацией, но с большими амбициями. Каждый из них непременно хочет стоять во главе "своей" организации, и когда он получает средства на ее создание, это как раз и ведет к распылению наших и без того немногочисленных сил.

Сегодня в Литве осталось порядка 6-7 тысяч евреев, из них 5-6 тысяч — в Вильнюсе. Среди них есть еще немалый процент потенциальных репатриантов. Но и сегодня еще в Литве остается немало евреев, которые не могут или не хотят уезжать. Небольшая литовская община, видимо, сохранится еще надолго. И она нуждается и будет нуждаться в постоянной помощи. Сегодня еврейские организации Литвы не могут обеспечить остающимся литовским евреям такой помощи. Мешает их слабость и распыленность. В одном только Вильнюсе на 5-6 тысяч евреев приходится 27 еврейских организаций! И многие из них, вдобавок, сражаются друг с другом за звание самых главных или представительных.... Вот недавно, например, правительство выделило общине прекрасное большое здание в центре Вильнюса для концентрации там нашей культурной и прочей работы. Но некоторые организации немедленно попытались присвоить этот подарок себе, и в результате началась отвратительная свара...

**Р.Нудельман:** Ваши цифры просто ошеломляют. Где великое литовское еврейство, где "литовский Иерусалим"?!

**И.Зиссельс:** Еврейство исчезает не только в Литве. В Эстонии, по нашим данным, осталось не больше 3 тысяч евреев. В Латвии — тоже около этого. С другой стороны, как я уже говорил, абсолютные цифры ничего не решают. Вот, в Сингапуре живет всего 100 евреев — тем не менее там есть еврейская школа, синагога и другие элементы еврейской жизни. Община есть община, сколько бы людей она ни насчитывала, и всякая такая община нуждается в поддержке еврейской жизни, в помощи ее членам, в информации и так далее.

Понятно, что речь не идет о воссоздании той еврейской общины, какая когда-то существовала в России. Той еврейской общины нет и быть не может. Сегодня под еврейской общиной нужно понимать то, что будет в регионе через 30 лет. А основы этого закладываются уже сегодня и в каждом регионе по-своему. И перед региональными организациями встали сегодня задачи, о которых они раньше и не думали, — создание системы благотворительности и социальной поддержки, развитие системы еврейских школ, организация защиты еврейских прав, а в пределе — и их обороны. Наши региональные и городские общины — это формы организации и защиты еврейской жизни на местах. Сейчас, например, мы работаем над программой "тяжелой зимы" — обращаемся к международному еврейству с призывом оказать помощь в наших усилиях по защите слабых, стариков, больных, детей, всех тех, кто в предстоящую тяжелую зиму могут оказаться в "группе риска". Разумеется, это уже никак нельзя отнести к разряду чисто культурной деятельности. Но это одна из форм еврейской общинной жизни. То же следует сказать об алии. Не следует противопоставлять общину и алию. Алия — это одна из задач местной общины. Община готовит людей к алии. Тем, кто остается, она помогает выжить, тем, кто уезжает — помогает уехать. Этот принцип мы провозгласили еще на первом съезде ВААДа. Тем самым мы впервые в истории российского еврейства преодолели стереотип, который противопоставлял культурную, общинную жизнь на местах "сионистским" целям, сохранение общины — поддержке алии. Наши организации занимаются одновременно и тем, и другим.

**Я.Басин:** Я бы даже сказал больше: культурная работа местных еврейских организаций — это и есть то, что превращает стихийную еврейскую эмиграцию в национально-ориентированную алию!

**Р.Нудельман:** Слово представителю России, еще точнее — российской "глубинки".

**С.Зальберкант, активист еврейского культурного центра, Нижний Новгород:** Наверно, нет необходимости дополнять предыдущие выступления. Если говорить о России, то положение можно охарактеризовать одним-единственным словом — катастрофическое. Плохо всем, а когда плохо всем, то евреям становится еще хуже. Ситуация в России — это ситуация полного отсутствия управления. Нет тех сил, которые выполняли бы принимаемые наверху решения. Исполнительная власть на местах попросту парализована. Какие бы хорошие законы ни принимались в центре, до глубинки они не доходят. Антисемитизм как существовал, так и продолжает существовать — и на бытовом, и на официальном уровне. И если говорить о русской провинции, то здесь, к сожалению, нет даже той либеральной интеллигенции, которая бы ему противостояла, как в центре. Это еще более усложняет ситуацию. Я не вижу, чем тут может помочь ВААД, Сохнут или даже Израиль. Разве что — протянуть руку тем, кто хочет уехать. Увы, сегодня пока еще больше уезжают "откуда", а не "куда". В Нижнем Новгороде было 14 тысяч евреев. До сих пор выехало около полутора тысяч. Очень многих останавливают сообщения о трудностях устройства в Израиле. Правы те, кто говорит, что тут во многом может помочь наличие еврейского самосознания. Поэтому помощь потенциальным репатриантам, развитие их национального самосознания, национальной мотивации алии — это, на мой взгляд, первостепенная задача еврейских организаций на местах. А вторая задача — это информация. Информативная служба у нас пока поставлена крайне плохо. Нет достаточной информации — ни фактической, ни правовой, ни просветительской, нет литературы. Тут много говорили о международных еврейских организациях. У нас, в провинции, их представителей нет. Единственный, кто появился, — посланец ребе Любавичского, очень воинственный, непримиримый человек, который тут же расколол нашу местную религиозную общину и создал отдельную группу Хабада. Ну, а к чему ведет раскол, тут уже говорили. В городе существует также еврейский культурный центр, который поддерживает связь с ВААДом, получает от него кое-какую информацию и литературу, пытается вести просветительскую работу — лекции, семинары, — но этой работе очень мешает малочисленность еврейских сил. Поэтому еврейская общественная и культурная жизнь в российской глубинке далеко не так активна, как в центре, в ней мало что изменилось за все эти "бурные" годы, и общая ее картина по-прежнему довольно неприглядна.

**Я.Басин:** Я должен заметить, что и в крупных еврейских центрах

та начальная эйфория, которая сопровождала первые шаги легальной еврейской жизни, тоже сегодня уже прошла. Раньше на какую-нибудь лекцию по еврейской тематике собиралось по 500 человек, сегодня и на иного израильского гостя не очень-то заманишь.

**Ф.Мильтштейн:** И количество учащихся в еврейских школах стало заметно уменьшаться.

**И.Зиссельс:** Поэтому-то мы и пытаемся переориентировать деятельность местных еврейских организаций на более глубокую работу.

**Проф. Зеев Кац, руководитель Института гуманистического иудаизма, Еврейский университет:** Я сегодня участвовал в Президентском семинаре. Там обсуждался вопрос о приглашении в Израиль специалистов по иудаике из СССР, которые могли бы впоследствии стать академическими преподавателями в своих общинах. Оказывается, такие люди в Союзе есть. Есть свои специалисты, свои лидеры, свои общественные и культурные организации, свои — и не такие уж малочисленные — формы еврейской жизни. Так что положение не столь уж безнадежно. Даже у того направления работы, которое можно было бы назвать "лекционным иудаизмом", есть достаточно большие перспективы. Серьезное ознакомление советских евреев с еврейской историей, еврейской культурой, еврейской мыслью — все это тоже может сыграть большую национально-воспитательную роль. Но, конечно, нельзя сбрасывать со счета и вопросы практической жизни, задачи создания общинных структур, проблемы социальной взаимопомощи, возможную необходимость самообороны и так далее. Все это вместе и есть еврейская жизнь в самом точном смысле этого слова. И я бы сказал, что все это во многом уже существует. Появляются свои лидеры, есть зачатки культурной жизни, есть интерес остающейся части советского еврейства к солидарности с мировым еврейством, иными словами — есть все те элементы, которые существуют в любой западной общине. И может быть, самое большое достижение — то, что советские евреи остаются объединенными. ВААД остался один для всех территорий — несмотря на крах центральной власти и распад центральных структур. Конечно, израильские и международные еврейские организации пока что относятся к ВААДу несколько настороженно, и ему еще предстоит борьба за официальное признание. Как во всякой борьбе, рождается излишняя горечь, взаимные претензии, обострение отношений. Но я думаю, что все это постепенно изменится, ибо, в конечном счете, все мы объединены общим стремлением помочь советскому еврейству.

**Р.Нудельман:** Мне представляется, что отношение к усилиям ВААДа долго еще будет оставаться неоднозначным. Разумеется, оспаривать конкретные результаты его деятельности сегодня уже невозможно, но всегда остается возможность поставить под сомнение его исходный принцип: а нужна ли вообще эта деятельность и эти структуры, когда в перспективе — полный или почти полный уход евреев из бывшего Советского Союза? И поскольку от ответа на этот вопрос зависит степень поддержки ваших усилий Израилем и мировым еврейством, постольку информация об истинном положении вещей оказывается в этой ситуации особенно важной. В данном смысле наш "круглый стол", я надеюсь, достиг своей главной цели.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

.....  
*Анатолий Даринский*

### **СКОЛЬКО ЕВРЕЕВ В БЫВШЕМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ?**

Последняя перепись населения в бывшем Советском Союзе была в январе 1989 года. По данным этой переписи в СССР насчитывалось 1,378 тысяч евреев. Казалось бы, определить численность евреев на конец 1991 года не так уж и сложно: вычесть из их численности на январь 1989 года число умерших и уехавших из СССР за 1989-1991 годы и прибавить число родившихся. Но это — уравнение со многими неизвестными, даже если считать, что все лица еврейской национальности в переписном листе записали себя евреями. Есть и другие сложности. Поэтому расчет может быть лишь примерным. Попробуем произвести его, опираясь на официальные документы.

По данным второй послевоенной переписи населения СССР (1970 год) в СССР проживало 2 миллиона 150 тысяч евреев, в том числе в России 808 тысяч, на Украине 777 тысяч, в Белоруссии 148 тысяч. Средняя рождаемость по СССР в 1970-х годах была в пределах 17-19 человек на 1,000 в год. Это означает, что с 1970 по 1979 год в еврейских семьях родилось около 348 тысяч человек. В 1989 году в СССР впервые были опубликованы данные о смешанных браках. Согласно этим данным, в среднем по СССР доля смешанных браков среди евреев составляла в 1970-х годах около 40%. Это означает, что из 348 тысяч родившихся 139 тысяч было от смешанных браков, а 209 тысяч — от браков между евреями.

Средняя смертность в те же годы составляла около 10 человек на 1,000 в год. Значит, с 1970 по 1979 год умерло примерно 193 тысячи

евреев. Учитывая все эти цифры, получаем, что к 1979 году евреев должно было насчитываться 2 миллиона 166 тысяч человек (в предположении, что все дети от смешанных браков были записаны неевреями). В действительности, перепись 1979 года показала, что численность евреев составляет всего 1 миллион 811 тысяч человек, то есть на 355 тысяч меньше вычисленного. Эта величина близка к числу эмигрировавших из СССР за эти же 9 лет.

Убедившись в оценочной эффективности нашей методики, произведем аналогичный подсчет для трех последних лет, с 1989-го по 1991-й. В начале этого периода численность еврейского населения в стране составляла, как уже указано, 1 миллион 378 тысяч человек (обсуждение причин такого резкого — на 357 тысяч в сравнении с ожидаемым по цифрам рождаемости-смертности — уменьшения выходит за рамки данной заметки). Ежегодная рождаемость за этот период была несколько выше — 19 на 1,000; смертность — 11 на 1,000. Исходя из этих цифр, евреев родилось за эти три года 79 тысяч, в том числе в смешанных семьях — 47 тысяч (доля смешанных браков к настоящему времени увеличилась до 60%!). Умерло за те же три года 45 тысяч евреев. Общая убыль (если по-прежнему считать, что дети от смешанных браков записываются неевреями) должна была составить 92 тысячи. Официальные данные по эмиграции показывают, что в 1989 году выехало 60 тысяч, в 1990-м — 150 тысяч и в 1991-м примерно столько же, итого — порядка 360 тысяч. Всего уменьшение численности еврейского населения можно оценить в 450 тысяч.

Этот несложный подсчет приводит нас к чреватому глубоким значением выводу: за истекшие 20 лет численность евреев (то есть людей, у которых оба родителя евреи и которые определили себя в переписных листах как евреи) на территории бывшего СССР уменьшилась более, чем на миллион человек и составляет в настоящий момент менее 1 миллиона. За эти же годы число родившихся, у которых только один из родителей — еврей, возросло, как минимум, на 380 тысяч. Этим людям сейчас около 20 и меньше лет (поскольку мы учитываем родившихся в 1970-1991 годах). Если учесть, что доля возрастной группы до 20 лет составляет в СССР около трети, то общее число таких полуевреев также порядка 1 миллиона. Отмеченная выше демографическая динамика показывает, что при нынешних темпах рождаемости, смертности и особенно эмиграции полное или почти полное исчезновение этой национальной группы потребует считанных лет.

### ПЕРЕСЧИТЫВАЯ ЕВРЕЕВ

Сколько евреев живет на планете сегодня и сколько их будет в следующем поколении? Где они, скорее всего, будут сосредоточены, скажем, в 2021 году? И какое значение это имеет?

Сходу отвечать на все эти вопросы взялся бы, пожалуй, только отъявленный авантюрист. Поэтому разумнее сначала поставить контрольный вопрос, а именно — кого считать евреем? Но он не менее труден. Спустя два столетия после Французской революции, столетие с лишним после начала еврейской эмиграции в Соединенные Штаты, через 74 года после российской революции и 43 года после возрождения государства Израиль попытка определения еврея — почти головоломная задача.

Конечно, ортодоксальные раввины имеют на это готовый ответ. Но если вооружиться их определением: еврей — это тот, кто рожден от матери-еврейки или обращен в еврейство согласно Галахе, или рожден от обращенной по Галахе матери, — то подсчитать евреев окажется практически невозможно. Пришлось бы проверять каждый случай отдельно, на что не согласится ни один серьезный демограф.

Означает ли это, что задача еврейской демографии вообще безнадежна? Не совсем так, потому что существует несколько способов такого определения еврея, которое достаточно для целей демографического подсчета. Сартр написал когда-то, что еврей — это тот, кого окружающие считают евреем; он, по-видимому, никогда не встречал еврея, который сам определял себя так, вне зависимости от мнения окружающих. Но Серджио делла Пергола, демограф из Еврейского университета в Иерусалиме, косвенно следует за Сартром, когда подсчитывает, сколько евреев живет в Израиле.

Каждый израильтянин имеет удостоверение личности. В разделе "национальность" этого удостоверения указывается религия. Эта запись делается чиновником министерства внутренних дел. Теоретически, чиновник и представляемые им власти вольны решать, как

трактовать такую запись. Иными словами, они и оказываются теми "окружающими", которые — в соответствии с Сартром — считают человека евреем или нет. Так вот, если из общего числа израильтян вычесть тех, кто зарегистрирован в удостоверении как нееврей, то есть мусульман, христиан, друзов, бахайцев, буддистов и т.п., то мы получим то количество израильских евреев, которое указывает делла Пергола, — четыре миллиона человек.

В действительности, как мы увидим, даже в Израиле ситуация несколько более сложна. Но она куда сложнее в диаспоре, где евреи рассеяны, подвижны и изменчивы. Поэтому здесь единственный способ подсчитать их количество состоит в том, чтобы отказаться от критерия Сартра, взять достаточно надежную выборку и выяснить, сколько в ней людей, которые сами считают себя евреями. Это дает базу для дальнейших экстраполяций.

Когда Вуди Аллена однажды спросили, к какой религии он принадлежит, он ответил: "К еврейской — с объяснением." Делла Пергола выделяет три категории евреев, которые имеют такое "объяснение". Это связано с тем фактом, что в диаспоре еврейскость, некогда неотделимое от человека качество, сегодня стала предметом выбора, особенно в Соединенных Штатах. В результате поле работы демографа заполнилось множеством новых субкатегорий. Некоторые из них позволяют лучше понять, что происходит с современным еврейством, другие пытаются повлиять на происходящее.

Первая из категорий делла Перголы — так называемое "ядро". Сюда относятся те люди, которые неизменно отвечают, что они евреи, вне зависимости от того, сколько заповедей они исполняют и что говорят о них раввины. Далее следует более широкая группа так называемой "расширенной популяции", которая включает, кроме "ядра", также и тех людей с одним или двумя еврейскими родителями, которые сами себя евреями не считают. Еще больше так называемая "увеличенная популяция", состоящая из "ядра", "расширения" и тех неевреев, которые принадлежат к семьям двух первых категорий. Из соображений простоты (а возможно — и идеологии) делла Пергола в своей последней работе ("Еврейское население мира, 1989") занимается только "ядром".

По его оценкам в диаспоре сегодня насчитывается 8,5 миллионов евреев "ядра". Эта цифра получается в результате суммирования количества евреев во всех тех странах, где, судя по официальным или иным данным, они существуют. А существуют они, по этим данным, чуть не везде. Сообщается о пяти (!) евреях в Китае, ста — в Синга-



пуре, 4 тысячах в Сирии, 4 тысячах в Польше и 12 тысячах в Испании, откуда уцелевшие от костров инквизиции евреи были изгнаны ровно 500 лет назад. Даже в Саудовской Аравии, доселе абсолютно "юденрайн", в последнее время появилось несколько десятков американских еврейских солдат, которые недавно помогали спасать эту страну от современного Навуходоносора и еще не успели отбыть к себе на родину. Евреи "ядра" снова появились в Германии, где их насчитывается 40 тысяч. Франция с ее 530 тысячами занимает четвертое место в мире — после Соединенных Штатов, Израйля и СССР.

Все эти данные обладают разной степенью достоверности. В таких странах, как США, они взяты из надежных источников. Но сведения из таких стран, как Венесуэла или Венгрия, являются не более чем "оценками". Данные по Франции и Германии приблизительны. Надежные цифры дают Канада и Австралия. Это, кстати, единственные страны диаспоры, где еврейское население за последние годы выросло — главным образом, за счет эмиграции из СССР, Южной Африки и Израйля. Канада вышла сейчас на пятое место в еврейской диаспоре, потеснив Великобританию, где евреи быстро ассимилируются и исчезают за счет низкой рождаемости и смешанных браков.

В своей работе делла Пергола пытается определить, какую долю в этих цифрах составляют евреи "ядра". Поэтому его результаты представляют собой, скорее, тщательно продуманные оценки, чем непогрешимую истину. Не исключено, что он ошибается, когда суммирует евреев "ядра" в диаспоре и Израйле и получает 12,8 миллионов, но вряд ли это очень серьезная ошибка, потому что все страны диаспоры, кроме Соединенных Штатов и СССР — это не более, чем экзотические, порой грустные, порой не столь грустные, но в общем-то ничтожные добавки. Сегодня на Соединенные Штаты, Израиль и СССР приходится 85% мирового еврейства, а в диаспоре 75% евреев сосредоточены в Соединенных Штатах и СССР.

Разумеется, в СССР может оказаться в действительности больше евреев, чем мы сегодня считаем. Когда все скрытые советские "евреи ядра" решат объявиться, цифра 12,8 миллионов может оказаться заниженной на добрый миллион. Но даже если она составит 13,8 миллионов, это все равно будет означать, что через полвека после Освенцима мировое еврейство все еще не возместило своих потерь. Если принять цифру 12,8 миллионов, то окажется, что в современном мире с его 5 миллиардами жителей на каждые 406 землян приходится 1 еврей. Это самая низкая доля за все то время, что ведутся научно обоснованные демографические подсчеты. Возможно, что это самая

низкая доля с тех времен, когда потомки Авраама вышли из Египта.

Независимо от того, насчитывают они 12,8 или 13,8 миллионов, евреи представляют собой сегодня остаток бывшего величия. Это само по себе еще не новость — на протяжении своей 4000-летней истории их число наверняка не раз уже съеживалось до жалкой доли предыдущего количества, чтобы потом снова резко возрасти. Что здесь является новостью — это то, что сейчас, если верить делла Перголе и другим демографам, начинает сокращаться "ядро" этого остатка. Отдаленные признаки этого явления были замечены еще в начале века. Многие демографы и социологи пришли на этом основании к сионистским выводам. Но и они не могли предвидеть, что кто-либо, и уж во всяком случае не немцы, задумает уничтожить всех евреев, независимо от того, принадлежат они к "ядру" или нет. Делла Пергола предсказывает, что идущее сейчас сокращение "ядра" в ближайшие десятилетия начнет ускоряться. Предсказание делла Перголы кажется вполне убедительным, если прибавить к его оценкам данные о смешанных браках, уровне рождаемости и возрастной структуре еврейства Израиля и диаспоры, иными словами — если взглянуть на демографическую статистику в пространственно-временном разрезе.

### Израиль

Демографы измеряют рождаемость, или, как они говорят, "реализованную плодovitость", группы по количеству детей, которое рождает средняя женщина за время ее жизни. Так называемый "уровень замещения" (УЗ), ниже которого всякая группа сокращается уже в пределах одного поколения, тоже выражается количеством детей на одну женщину. УЗ составляет 2,1 для групп с нормальной "возрастной пирамидой", в которой число детей превосходит число молодых, а число молодых превосходит число стариков. Самые оптимистические из существующих данных говорят, что средняя еврейская женщина в диаспоре имеет 1,4 ребенка, что много ниже УЗ. В Израиле, напротив, средняя женщина рождает за жизнь 2,7 ребенка.

Израильское среднее получено из усреднения по нескольким весьма различным группам еврейского населения. 2,7 ребенка — это намного больше того, что рождает средняя секуляризованная женщина европейского (ашкеназийского) происхождения, но меньше, чем рождает женщина афро-азиатского происхождения (сефардка), а также ортодоксальная или ультраортодоксальная еврейка. Для этих трех последних категорий интересующие нас цифры составляют, округленно, 3, 4 и 6 детей соответственно.

Не приходится удивляться тому, что суммарная израильская рождаемость превышает рождаемость в диаспоре. Вплоть до последней алии из СССР сефарды, ортодоксы и ультраортодоксы в совокупности составляли абсолютное большинство еврейского населения страны, чего нет ни в одной стране диаспоры. Мужчины и женщины, всем сердцем воспринявшие библейскую заповедь "плодитесь и размножайтесь", а также (или) евреи, все еще находящиеся под влиянием мусульманской культуры, компенсируют отставание тех, кто, освободившись от ига Закона, ведет себя подобно современным европейцам и американцам. "Они одного с трудом могут сделать", — насмехаются сефарды над своими ашкеназийскими соотечественниками.

Но даже те израильские ашкеназим, что не носят термолку, все еще способны дать фору своим собратьям в диаспоре. Женщины, ведущие родословную из Киева или Варшавы, даже если они преподают в университетах или делают карьеру, рожают за жизнь в среднем 2,3 ребенка. Иными словами, израильская "супервумен", будь она врач, профессиональная феминистка, адвокат или член кнессета, не остается бездетной или матерью одного-единственного ребенка, как ее сестра в Америке, а рождает двух, порой — трех детей. Где бы она ни жила — в роскошных пригородах северного Тель-Авива, в заброшенном "Городе развития", кибуце или тесных улочках иерусалимского религиозного квартала Меа-Шеарим, израильская еврейка, сознательно или бессознательно, ведет себя так, будто все будущее ее крохотной, прекрасной страны и ее маленького, упрямого народа зависит лично от нее.

Но все-таки — только отчасти. Ибо наряду с этими цифрами существуют и другие, показывающие, что на протяжении последних 40 лет рождаемость в Израиле непрерывно снижается. И это создает геополитическую проблему, потому что палестинские арабы плодятся в среднем вдвое-втрое быстрее, чем израильские евреи. Так называемая демографическая бомба замедленного действия тикает сегодня не только на Западном берегу и в секторе Газы, но и внутри границ самого Израиля, где проживает 700 тысяч арабов, являющихся израильскими гражданами. Верно, большинство израильских арабских женщин уже не рожают по восемь-десять детей, и палестинские женщины на Западном берегу тоже осовременились в результате "оккупации". И тем не менее арабская рождаемость на территории между Иорданом и Средиземным морем по-прежнему вдвое превышает еврейскую. Эту бомбу можно изобразить графически, если наложить

пирамиду израильского еврейского населения на пирамиду палестинскую. Что с того, что основание первой пирамиды, то есть залог ее будущего, надежно превосходит пирамиду диаспоры, если оно ничтожно в сравнении с основанием палестинской, где дети в возрасте до 15 лет составляют половину населения!

Исмаил еще может взять реванш и притом прямо в расширившемся шатре своего двоюродного брата, хотя советская алия может несколько отодвинуть исход этого соревнования. Делла Пергола загрузил свой компьютер данными об этой алии и получил, что в силу огромной разницы оснований двух пирамид каждые 100 тысяч советских репатриантов отодвигают дату достижения еврейско-арабского равенства между рекой и морем на один год. Если из СССР прибудет полмиллиона человек, бомба взорвется в 2025 году; если прибудет 1,5 миллиона — в 2030-м. Эти результаты основаны на предположении, что все советские репатрианты останутся в Израиле, Иудея, Самария и Газа будут удерживаться под израильским контролем, палестинцы не начнут эмигрировать сотнями тысяч и разрыв между уровнями рождаемости сохранится на нынешнем уровне.

Все эти предположения и экстраполяции широко обсуждались в израильской печати. Тем не менее, в расхожем мнении израильтян по-прежнему бытует оптимистическое представление, будто советская алия либо полностью решит еврейско-палестинскую демографическую проблему, либо отодвинет ее настолько, что ее можно будет снести в самый конец списка проблем, из-за которых не стоит беспокоиться. Как-нибудь образуется — то ли палестинцы массами побегут из страны, то ли американские евреи массами побегут в нее; то ли осел околеет, то ли царь умрет. А пока нужно вывозить советских евреев.

Они прибывают, порой по 500 человек за ночь, и это само по себе — особая демографическая история. В мире мало таких гуманных или конструктивных законов, как израильский Закон о Возвращении. Согласно этому закону, любой человек, рожденный еврейской матерью или обращенный в иудаизм любым раввином, имеет право на въезд в Израиль и немедленное получение израильского гражданства. Антисемиты в своей ненависти и палестинцы в своем страхе объявляют это расизмом в действии, и некоторые добродетельные западные либералы, подпавшие под гипноз резолюции, приравнивающей сионизм к расизму, вторят им в этом. И тем не менее, это не так. Свою расу никто изменить не может, а вот стать евреем может всякий — поэтому Закон о Возвращении не является расистским.

Можно согласиться — это необычный закон, но ведь и евреи тоже не такой уж обычный народ.

Одной из самых необычных и удивительных особенностей этого закона является то обстоятельство, что допуск в израильский "клуб" не ограничен только детьми еврейских матерей и новообращенными. Всякий, кто женат или замужем за евреем, а также дети и внуки таких людей имеют те же права въезда и гражданства. Критерии Закона о Возвращении являются, таким образом, более чем мягкими — они распространяются на целых три поколения. Иными словами, они включают намного более широкий круг людей, чем категория "увеличенной популяции" в подсчетах дела Перголы.

Благодаря такой либеральности Закона о Возвращении многие из тех, кто при возможности направился бы в более богатую и менее опасную диаспору, где завершил бы свою ассимиляцию и исчез как еврей, сегодня оказываются в Израиле, чтобы снова стать евреем. К этим людям следует добавить их жен и мужей, не имеющих ни капли еврейской крови и не являющихся евреями ни по какой Галахе, — их доля в нынешней советской алии составляет, по разным оценкам, от 5 до 30%. Так или иначе, эти неевреи станут здесь не только израильтянами, но — юридически или фактически — евреями.

Разумеется, ультраортодоксы всем этим очень недовольны. Ступив обеими ногами в израильскую политику и получив в награду за это ряд министерств, они вынуждены теперь собственными руками осуществлять совершенно секулярный закон, который допускает в Израиль галахических евреев, негалахических евреев и вообще неевреев на равных основаниях, разжижая тем самым еврейский бульон и еврейскую душу. Если бы дело сводилось к нескольким отдельным случаям, министерство внутренних дел еще могло бы отказаться регистрировать их как евреев. Но реальная ситуация такова, что сегодня в израильских удостоверениях личности появилась пометка, которая могла появиться только в еврейском государстве: "Министерство внутренних дел не несет никакой ответственности за данные, указанные в этом документе". И таких случаев уже становятся десятки тысяч. Чтобы включить их в определение еврея, Галаху придется, несомненно, слегка пересмотреть, если не вообще чуточку проигнорировать. Конечно, будут еще скандалы и судебные процессы, будут торопливые и облегченные обращения в иудаизм, но раввинам придется — хотят они или не хотят — поплыть по течению этого непреодолимого потока, и уже сегодня множество новых израильтян регистрируются как евреи, хотя они никогда раньше не были евреями и

нигде в другом месте не могли бы ими стать.

Здесь, в Израиле, это возможно, потому что израильтяне, живущие в еврейском государстве с его еврейским большинством, нашли весьма эффективный, автоматический ответ на угрозу ассимиляции, недоступный их братьям и сестрам в диаспоре. Если ты не христианин, мусульманин, буддист, друг или бахаец, но по каким-то причинам не хочешь числиться евреем, ты можешь упираться до посинения, ты можешь обращаться в секулярный и неподкупный Высший суд справедливости, требуя зарегистрировать тебя "ивритянином", "кнаанитом" или "атеистом" — и ничего тебе не поможет. Тебя регистрируют как еврея, учтут в демографической статистике как еврея и призовут в армию как еврея.

Это не просто юридические тонкости. Они отражают и углубляют два очень различных, в сущности — противоположных исторических процесса. Диаспора — это наждачное колесо, стачивающее углы еврейского камня. В диаспоре эти периферийные части еврейства имеют тенденцию исчезать, по всей видимости — навсегда. В Израиле эта периферия, напротив, возвращается к общей массе. Здесь кроется одна из причин того, почему со времен декларации Бальфура доля Сиона в мировом еврействе непрерывно возрастала — с 0.084% в 1917 году до 31% сегодня, на 2,5% только за прошлый год, а завтра наверняка еще больше. Порой подъем этой кривой становится особенно круг — как сейчас, во времена массовой иммиграции, порой он становится более пологим. Но вот уже 70 лет, как эта доля продолжает только расти, и до сих пор ничего не могло не только изменить эту тенденцию, но даже хотя бы отчасти затормозить ее.

### Соединенные Штаты

Если в Израиле *главными демографическими особенностями* являются сегодня репатриация и высокий, превосходящий УЗ уровень рождаемости, то в Соединенных Штатах это — смешанные браки и уровень рождаемости ниже УЗ. Смешанные браки существуют и в Израиле, но здесь они, в силу естественного порядка вещей, явление редкое. Если не считать арабов, в стране попросту слишком мало неевреев, с которыми можно было бы вступить в брак, и к тому же нет института гражданского брака. Смешанные браки запрещены Галахой, и нееврею остается либо пройти "гиюр" (обращение), либо отправиться за границу для совершения гражданской церемонии. В результате уровень смешанных браков в стране намного ниже 1% —

можно сказать, что здесь у этого явления вырвано его демографическое жало.

В диаспоре это сладкое жало может оказаться смертельным. Как писал немецкий социолог и демограф Артур Руппин (ум.в 1943 г.), "как только смешанные браки становятся массовым явлением, они означают конец еврейства". Для Руппина, как и для многих других, смешанные браки были самым главным симптомом и самым эффективным орудием ассимиляции.

Руппин был классическим сионистом, жившим в те времена, когда смешанные браки и антисемитизм были на подъеме. Смешанные браки стали "массовым явлением" в Центральной Европе уже в начале 20-го века, как мог легко подтвердить любой, кто был знаком с Прагой Кафки, Веной Малера или Берлином Эйнштейна. Руппин, однако, стремился к точности и потому приводил некоторые цифры. В 1932 году в Будапеште на каждые 100 еврейских браков приходилось 18,8 смешанных, в Гамбурге в 1933 году из было 33, а в Триесте в 1927 году, при Муссолини, — целых 56. (Серджио делла Пергола, которому предстояло занять кафедру Руппина в Еврейском университете, родился в Триесте в 1949-м и прибыл в Израиль в 1967-м.)

Триестские цифры казались Руппину прямым указанием на то, что может и что должно произойти с любой еврейской общиной, отошедшей от иудаизма и в течение нескольких поколений тесно соприкасающейся с терпимым и цивилизованным христианским окружением. Триест — это будущее диаспоры, говорил он, не делая исключения даже для Соединенных Штатов, где доля смешанных браков была тогда каких-нибудь жалких 3%.

Через 47 лет после смерти Руппина межконтинентальный курьерский поезд смешанных браков, по самым надежным сведениям, прибыл в Триест и, судя по тем же сведениям, отнюдь не собирается сделать там конечную остановку. В 1985-90 годах, согласно цифрам прошлогоднего Общенационального обзора еврейской популяции, более половины всех еврейских браков в Соединенных Штатах было смешанными.

Публикация этих цифр вызвала шок у одних, отчаяние у других и полное равнодушие у третьих. Этот разноречив не случаен. Вот уже 30 лет, как многие американские социологи и общественные лидеры твердят, что смешанные браки, даже в самых массовых масштабах, сами по себе не угрожают будущему американского еврейства. Уже в 1963 году Милтон Гиммельфарб опубликовал статью, в которой писал, что для сохранения численности своей группы евреям нужно все-

го только обратить своего партнера по смешанному браку в еврейство. Если вы не можете их победить, попытайтесь присоединить их к себе. "Если раввины пойдут в этом вопросе навстречу, — утверждал Гиммельфарб, — то такое обращение может не только скомпенсировать наши потери от смешанных браков, но даже дать некоторый выигрыш."

Эта идея стала программой действий для оптимистов следующего поколения. Некоторые из них были убеждены, что дело действительно идет на лад. Как писал Чарльз Зильберман в своей известной книге "Этот народ" (1985), "смешанные браки вряд ли ведут к заметному уменьшению числа евреев, а возможно, напротив, приводят даже к его увеличению". В своей книге Зильберман опирался на работы таких "оптимистов", как демограф Гольдшайдер и социолог Коэн, которые утверждали, что а) цифры не показывают никакого уменьшения еврейской численности и б) цифры сами по себе вообще ничего не говорят. Им возражал самый пессимистичный из пессимистов Элиягу Бергман, который уже в 1977 году предостерегал, что при нынешнем темпе смешанных браков к трехсотлетию Америки (2076 год) в стране останется не более 944 тысячи евреев и "американская еврейская община перестанет существовать как особая группа населения."

Бергман был повсеместно осужден как пессимист и отчаянный демагог. Как утверждали Гольдшайдер и Коэн, положение американских евреев меняется только к лучшему, и доказательства этого видны невооруженным взглядом. Изучение Катастрофы и иудаики предлагается во всех крупнейших университетах. Президенты и сенаторы прислушиваются к мнению евреев во всех вопросах, касающихся Израиля или советского еврейства. Дискриминация ушла в прошлое. А если некоторые евреи и отпадают от еврейства в результате смешанных браков, то они составляют меньшинство, в то время как большинство все еще остается таким большим, что говорить о его ассимиляции и исчезновении просто нелепо. Благословенная Америка еще себя покажет — она еще поможет евреям выжить несмотря на всю ее доброту.

Одновременно оптимисты слегка подтасовывали цифры. Гольдшайдер, например, писал, что нынешнее поколение молодых еврейских женщин, вступив в возраст материнства, повысит уровень рождаемости до 2,1. Откуда он это взял? Так ему сказали опрошенные им женщины, а известно ведь, что женщина всегда добивается того, чего она хочет!



В течение всех 80-х годов над оптимистами постепенно собирались тучи. Выяснилось, что менее половины детей в смешанных браках получает еврейское воспитание; выяснилось, что бывшие собеседницы Гольдшайдера, вступив в материнский возраст, почему-то не торопятся выполнять данное ему обещание рожать двойни и тройни. Но до поры до времени все это были данные местных опросов. Тем не менее, даже на основании этих неполных данных делла Пергола и его коллега Уриэль Шмельц уже в 1986 году предсказали, что следующий общенациональный обзор покажет уменьшение числа "евреев ядра" в сравнении с 1970 годом. Не пытаясь заглянуть на 90 лет вперед, они вычислили, что к 2020 году из 5,7 миллионов американских "евреев ядра" (1985) уцелеет в лучшем случае 5,6 миллиона, в худшем — 3,7 миллиона, а скорее всего — 4,7 миллиона. Израильские демографы не сомневались, что американская еврейская община сохранится как целое. Но что это будет за община — при таких темпах уменьшения?!

Результаты проведенного, наконец, в 1990 году общенационального обзора подтвердили опасения пессимистов. Начнем с "евреев ядра". Сюда относятся 4,2 миллиона человек, которые утверждают, что "родились евреями и остаются евреями по религии", 185 тысяч "евреев по выбору" (в основном, христиан, прошедших обращение или практикующих иудаизм без обрезания) и 1,1 миллиона "евреев по рождению, но не по религии" (вроде Вуди Аллена и его секулярных поклонников). В целом, эти три категории насчитывают 5,5 миллиона человек.

Далее следует та группа, которую делла Пергола называет "расширенной популяцией": люди, которые говорят, что родились евреями либо один из родителей был евреем, но которые сегодня себя евреями не считают. Эта периферия, которую авторы обзора считают находящейся на пути к быстрой ассимиляции, сильно возросла за последние 20 лет и насчитывает сегодня 1,3 миллиона человек. Сюда входят 210 тысяч евреев, обратившихся в другие религии, 415 тысяч взрослых потомков от смешанных браков, которые практикуют другие религии, и 700 тысяч детей от смешанных браков, которые воспитываются в другой религии. За вычетом "евреев по выбору", "ядро" и "расширение" дают 6,65 миллиона человек, у которых по крайней мере один из родителей — еврей.

Ну, и наконец есть еще неевреи, живущие в еврейских семьях. В 1970 году таких было 430 тысяч. Сегодня их 1,35 миллиона, и если добавить их к двум предыдущим группам, мы получим общую чис-

ленность людей в американских "еврейских семьях" — 8,2 миллиона человек.

Обратимся теперь к качественным результатам обзора. Прежде всего, очевидно, что еврейское "ядро" действительно сокращается (заметим, что к нему приплюсованы 225 тысяч евреев из Израиля и СССР, недавно переселившиеся в Америку). Его возрастная пирамида тоже выглядит не очень оптимистично: 17% пенсионеров и 19% детей моложе 15 лет (для общеамериканского белого населения эти цифры составляют 14% и 21% соответственно). При этом деды и бабушки куда чаще определяют себя как евреев "по религии", тогда как их дети и внуки больше тяготеют к определению Вуди Аллена. Доля смешанных браков возрастает и перевалила за 50%, тогда как доля нееврейских партнеров, переходящих в иудаизм, непрерывно падает: 20% в 1965 году и всего 10% в 1990-м. Только 28% детей от смешанных браков воспитываются как евреи; 41% — как неевреи и 31% вообще не получает никакого религиозного воспитания. А поскольку смешанные семьи представляют собой самый быстро растущий сегмент американского еврейского населения, то эти цифры показывают, что в следующем поколении американское еврейское "ядро" понесет новые утраты.

Когда плохих новостей так много, остается только смеяться. Однако еврейским социологам, собравшимся на обсуждение результатов обзора в Лос-Анжелесе, было не до смеха. Что делать с этими тенденциями — отсечь отпавших и сосредоточиться на сохранении оставшихся или попытаться вернуть "заблудшие души"? Судя по общему тону конференции, лидеры общины выберут, скорее всего, компромисс: защищать оставшихся и одновременно пытаться воздействовать на уходящих.

Но на конференции прозвучали и более тревожные нотки. Шмуэль Клаузнер из Пенсильванского университета решительно выступил против распространенного мифа об американском обществе как иудео-христианском. В действительности, сказал он, это чисто христианское общество. Евреи уже слились с его верхним эшелонам, и их выделяет в нем только их религиозно-семейная принадлежность. Смешанные браки разрушают эту последнюю перегородку, и "по мере того, как евреи перестают быть евреями, они становятся де-факто христианами." Этот процесс может быть приостановлен только массовым восстановлением религиозного авторитета или столь же массовым сионистским движением.

Клаузнера никто не поддержал. Некоторые выразили убеждение,

что американские евреи сумеют уцелеть как группа даже в открытом, плюралистическом секулярном обществе. Но в глубине души даже эти оптимисты не переставали страшиться последствий сокращения и деморализации основного еврейского "ядра".

Периферия, как выяснили авторы обзора в полном соответствии с ожидаемым, намного меньше привязана к Израилю, реже посещает синагогу, меньше жертвует на благотворительность, не придает такого значения специфически еврейским ценностям и тяготеет к не-еврейским друзьям. Но насколько лучше "ядро"? Синагогу посещает меньше половины, жертвуют около одной пятой. Если так пойдет дальше, достанет ли денег не то, что на помощь Израилю, но даже на собственные школы и дома призрения? Достанет ли голосов, чтобы влиять на президентов и сенаторов? Достанет ли самих евреев, чтобы организовывать и направлять требуемые для этого усилия?

Пророчества — рискованная штука. Предсказывать, что произойдет с евреями в Соединенных Штатах, тем более рискованно. Быть может, количество смешанных браков начнет падать и установится на каком-то постоянном уровне. Быть может, количество детей от таких браков, получающих серьезное еврейское воспитание, начнет возрастать. Быть может, еврейские женщины диаспоры вдруг решат, что пора взяться за ум и рожать побольше детей. Быть может, ворота Америки раскроются настежь перед советскими евреями. Быть может, какой-нибудь очередной президент сам обратится в иудаизм и увлечет за собой миллионы христиан. Все это вполне возможно — и весьма маловероятно.

Глубинные процессы еврейской истории, формирующие ее сегодняшний облик, делают наиболее вероятным дальнейшее уменьшение численности мирового еврейства и постепенное сосредоточение большинства его уже не в диаспоре, а в Сионе. Когда это наступит, зависит от многих причин и прежде всего — от размеров репатриации советских евреев в Израиль. Но даже если эта репатриация остановится сегодня, Израиль все равно перегонит Соединенные Штаты и остальную диаспору уже во второй половине следующего века — по той же причине, по которой палестинцы угрожают перегнать израильских евреев: более высокой рождаемости и более благоприятной для будущего пирамиды населения.

Рушпин и делла Пергола оказались правы. Но это вряд ли можно считать утешительной правотой. Только самые примитивные сионисты, безрассудно отрицавшие диаспору, мечтали о том, чтобы она

вымерла сама собой. Более разумные сионисты всегда взвешивали, что лучше для их народа. В свете уроков еврейской истории сомнительно, чтобы для него лучше всего было сложить все яйца в одну корзину и навсегда лишиться диаспоры или, того хуже, иметь крохотную диаспору, состоящую из одних ортодоксальных евреев. Диаспора и Сион нуждаются друг в друге, поскольку оба они стоят перед лицом угрозы их существованию. Разница лишь в том, что диаспоре угрожает терпимость, а Израилю — нетерпимость соседей, и первая угроза, как ни странно, оказалась страшнее.

Еврейство Соединенных Штатов напоминает сегодня кусок сахара, погруженный в континентальных размеров сосуд с теплой водой. Если температура воды не изменится, сахар, в конечном счете, неминуемо растает. Но сохранится ли эта температура? Классический сионизм утверждает, что ни в коем случае — рано или поздно наступит антисемитская реакция. Этот поворот, подстегнутый ухудшением экономического состояния и/или проигранной войной, остановит процесс ассимиляции и вернет ассимилированных и полуассимилированных евреев вспять к "ядру", если не вообще к Сиону. Классический сионизм не делает в этом смысле исключения и для Соединенных Штатов. Но даже самый прокахановский американский еврей в глубине души продолжает считать, что Соединенные Штаты все же окажутся исключением и вода там никогда не станет холодной.

К 2021 году диаспора, по всей видимости, уменьшится еще на миллион тел и душ. Вокруг этого уменьшившегося ядра, точно круги от брошенного в воду камня, будут существовать миллионы американцев, отцы или деды которых были евреями. Независимо от того, будут они лелеять или забывать воспоминания детства, их еврейские ощущения с каждым очередным мирным годом будут неотвратимо выветриваться. Это ядро уменьшающейся в численности, все более ортодоксальной диаспоры и окружающая его периферия будут сосредоточены, главным образом, в Соединенных Штатах.

Среди этих евреев будет и Сатчел, малолетний сын Вуди Аллена и Мэй Фарроу. Пойдет ли он на бар-мицву в судьбоносном 2000-м году? Впрочем, для израильского чиновника, регистрирующего репатриантов, это не будет иметь особого значения. Как не будет для него иметь особого значения, что мать Сатчела — нееврейка. Даже сыновья и дочери Сатчела могут рассчитывать на благожелательный прием, если случится маловероятное и им все же придется переменить свой адрес.

Такова диалектика еврейской истории. В ней возможно всякое. То, что произошло в Советском Союзе, ныне повторяется еще в большем масштабе в Соединенных Штатах. Образуется многомиллионный резервуар потенциальных евреев, и это происходит в тот самый момент, когда множество истинных евреев уходит от еврейства. В Израиле они могут снова стать евреями. Но не исключено, конечно, что время высушит этот океан бывших евреев, как оно высушило некогда океан испанских марранов. Что ж — числа сами по себе действительно ничего не значат. Почему бы еврейскому народу, пусть и уменьшившемуся и заново перераспределенному между Сноном и диаспорой, не оказаться в результате еще более сильным, здоровым, способным и целеустремленным именно сейчас, на пороге своего второго 4000-летия?

### ЕВРЕЙСКОЕ КИНО В ОБЕРХАУЗЕНЕ

Прочтя такой заголовок, массовый читатель прежде всего поинтересуется: "А что такое Оберхаузен?" Читатель же искушенный, заранее знающий, что такое Оберхаузен, естественно спросит не без ехидства: "А что такое, по-вашему, еврейское кино?"

Конечно, на первый вопрос ответить легче, чем на второй. Оберхаузен — это городок в Германии, в Северной Вестфалии и славен он тем, что начиная с 1955 г. в нем проводится один из самых престижных и уважаемых в мире фестивалей короткометражного фильма. Девиз фестиваля — "Путь к соседу" — в скрытом виде содержал идею единства Германии, т.к. тогда, в 1955-м, Оберхаузен принадлежал ФРГ. Однако социально-политический контекст этого девиза всегда был шире естественной реакции немцев на разделение их страны. Оглядываясь назад, можно отметить, что главным его содержанием было сопротивление самой идее раздела человечества на противоборствующие лагеря по политическому, идеологическому, национальному или еще какому-либо подобному признаку.

Фестиваль в Оберхаузене всегда отличали два качества: высокий артистический уровень отобранных фильмов и в то же время некое почти физическое ощущение пульса современности, безошибочное чутье при формировании фестивальных программ.

Конечно, за истекшие 30 лет девиз "Путь к соседу" аккумулировал разные контексты. За это же время появилось великое множество других документальных, короткометражных неигровых и т.п. фестивалей — скажем, в Лейпциге, в Берлине, тогда еще Западном; в Кракове и т.д., вплоть до совсем еще юного Ленинградского фестиваля неигровых фильмов, девиз которого: "Послание к человеку" — при всех различиях явно перекликается с Оберхаузенским. Но, несмотря на усилившуюся конкуренцию, фестиваль в Оберхаузене сохранил свое значение, свое лицо и репутацию одного из самых серьезных смотров мирового кино.

Ответить же на вопрос: что такое еврейское кино? — представляется гораздо более сложным. Скорее всего, на данном истори-

ческом этапе еще не удастся дать точное и исчерпывающее определение, пригодное на все случаи жизни. Многочисленные фестивали еврейских фильмов, расплодившиеся в последнее время, тоже мало что добавили к пониманию этого вопроса: имеется в этих фестивалях какая-то изначальная второсортность, некая кинематографическая провинциальность — хотя, как хорошо известно, евреи проявили себя в искусстве далеко не второсортным образом. В том числе и в кинематографе<sup>\*)</sup>.

Так что же это такое — еврейское кино? Достаточно ли, чтобы фильм имел дело с еврейской темой? Должны ли при этом режиссер, сценарист, а также главный герой быть непременно евреями, или этот последний может быть, скажем, антисемитом? Имеет ли значение национальность остальной съемочной группы? Будет ли израильский фильм обязательно еврейским? (Это, кстати, вполне серьезный вопрос.) Подобных вопросов можно задать множество, и дать какое-либо определение окажется еще сложнее, чем выяснить, наконец, кто же все-таки может считаться евреем. И все же мне, кажется, удалось понять или, по крайней мере, почувствовать, что такое еврейское кино. Произошло это на 37-м Оберхаузенском фестивале.

Один из тех, кто сформировал программы фестиваля, журналист Ганс Иоахим Шлегель высмотрел мой фильм "Письма из Ленинграда" на II-м Ленинградском международном фестивале неигрового кино. В результате фильм (и я вместе с ним) были приглашены в Оберхаузен. Поскольку мой фильм никак не соответствовал условиям фестиваля, будучи а) не короткометражным и б) вообще не фильмом а видео<sup>\*\*)</sup>, то я, естественно, рассудил: очевидно, моя работа имеет какие-то исключительные художественные достоинства, незаметные мне как автору, но вполне видимые со стороны.

Прибыв в Оберхаузен, я обнаружил, что мой видеофильм включен в специальную программу с подзаголовком "Еврейская жизнь".

---

<sup>\*)</sup> Например, Вуди Аллен постоянно отказывается от участия в таких фестивалях, не объясняя при этом своих мотивов, которые впрочем и так ясны.

<sup>\*\*)</sup> Большинство фестивалей не допускает видео к конкурсу. Это связано с конкуренцией между кино- и видеофильмами, а также с тем, что устав многих фестивалей был утвержден, когда видео еще не получило широкого распространения. В последнее время появились также фестивали видеофильмов.

Честно говоря меня это задело: на этот раз я подумал, что мой фильм выбрали исключительно по тематическому признаку, тем самым изначально включив его в определенные рамки. Или, еще того хуже, само появление подобной программы могло быть политическим актом либо неким проявлением немецкого комплекса вины, либо демонстративным реверансом в еврейскую сторону (вроде визита Геншпера в Израиль во время войны в Заливе), — то есть вызвано соображениями, не имеющими отношения к художественным достоинствам фильмов.

Этими своими мыслями я поделился с директором фестиваля Анжелой Хаардт. Мы сидели в небольшом ресторанчике внезапно притихшего и опустившегося в полутьму Луиз-Альберхалле, главного городского зала. Только что здесь кипела фестивальная жизнь, демонстрировались фильмы, проходили дискуссии, пресс-конференции, симпозиумы, лекции, семинары — и вот внезапно все закончилось, отошло в историю, в воспоминания, гости разъехались, опустели залы и коридоры. Фестиваль окончился.

Анжела, осунувшаяся после фестивальной недели, молча курила. Возможно, она сама не раз задавала себе подобные вопросы, подумал я. Ее ответ показался мне знаменательным.

— Мы не планировали специальной еврейской программы, мы просто отбирали фильмы для программы "Aspects of multicultural co-existence". Закончив отбор мы с удивлением обнаружили, что выделялась группа фильмов, имеющих дело не с теми злободневными конфликтами, которые мы видим каждый день на экране телевизора, но с конфликтами скрытыми, которые, хотя и относятся к категории вечных, до экранов телевизоров не доходят. Оказалось, что все эти фильмы так или иначе связаны с еврейской жизнью.

Вот как появилась эта программа. Программа "Еврейская жизнь" включала в себя 4 фильма: индийский "В будущем году в Иерусалиме", американский "Интервалы молчания: как быть евреем в Германии", советский "Good bye, СССР" и израильский (мой) "Письма из Ленинграда". К этой же программе явно примыкали 2 конкурсных фильма: советский "Одна из многих блуждающих звезд" и израильский "Такое расставание".

Анжела была права: собранные вместе, эти фильмы неожиданно отделились от остальных фестивальных работ, и я отчетливо увидел то, что объединило их в одну законченную и, на мой взгляд, лучшую программу фестиваля.

Индийский фильм — "В будущем году — в Иерусалиме", реж. Че-



тан Шах — самый традиционный: он посвящен евреям Кочина, общине, которая сейчас, на наших глазах, заканчивает свое существование. Молодые уехали или уезжают в Израиль, последняя свадьба была 9 лет назад. Евреи Кочина покидают Индию совсем не из-за антисемитизма, их существование там вполне безопасно. Никакой дискриминации они не испытывают. Некоторые из уехавших не приживаются в Израиле; не выдержав интенсивности, напряжения израильской жизни, возвращаются обратно. Это совсем не просто — жить евреем в Израиле; возможно, куда легче быть евреем в Индии. Но — пустеет синагога, все меньше евреев зажигают субботние свечи в Кочине, и уже ясно, что вскоре некому будет ухаживать за могилами на местном еврейском кладбище. Обычная история. Хотя — не совсем обычная: ни погромов, ни антисемитизма, ни кровавых наветов. Просто — время пришло. И ситуация исчерпана. И, видимо, все же заложен в еврейском характере вирус странствия, поиска, неудовлетворенности. А может, в еврейской судьбе есть предопределенность — покидать могилы своих близких и идти дальше. Кто знает? Где главная причина — в нас? В окружающих? Кто может ответить на этот вопрос, вопрос, который автор не задает, он просто делится своей болью — исчезает его община. Название фильма — "В будущем году — в Иерусалиме" — включает в себя и эту боль. Этот заголовок вполне мог бы подойти и другому фильму — "Одна из многих блуждающих звезд" советского режиссера П. Мостового. Поразительная судьба еврейки Ширы, приехавшей из России в Палестину еще до революции, построившей вместе со своими товарищами кибуц (разумеется, левый), уехавшей обратно в Россию, теперь уже советскую — чтобы строить еврейские колхозы в Крыму. "Кто же, если не ты?" — сказал ей один из еврейских идеалистов Элькинд, жаждущий социальной справедливости и всеобщего счастья. И она — поехала! С тремя маленькими детьми. Муж не захотел уезжать — уехала без мужа. Еврейские колхозы в Крыму, как известно, просуществовали недолго. Идеалисты, которые пытались эти колхозы создать, не намного их пережили. Элькинд не пережил — погиб в лагере. Шира пережила, выжила, вырастила детей, вышла на пенсию, похоронила второго мужа. И — оставила все: пенсию, квартиру, детей. Собралась — и вновь уехала в Палестину, то есть теперь уже в Израиль. Одна. Дети взрослые, связали свою жизнь с Россией. А она живет в доме для престарелых. Еврейская судьба. Одна из многих блуждающих звезд. Одна из лучших картин фестиваля.

Американский фильм режиссера Деборы Левкович "Интервалы

молчания: как быть евреем в Германии" занял совершенно особое место на фестивале. Для многих (и для меня в том числе) этот фильм стал главным событием фестиваля. Он тоже не соответствовал регламенту: 58 минут, совсем не короткометражный, но тем не менее, в последний день, когда присуждали призы, Дебора была приглашена на сцену вместе с победителями. Ей вручили... цветы.

Это удивительный фильм. Казалось бы, что может быть проще чем серия интервью, взятых у жителей Вестфалии. Почему Вестфалии? Да потому что муж Деборы — немец, родом из Вестфалии. И сразу в фильм входит элемент биографии, то самое личное свидетельство, личный опыт, личный аспект истории, которые пронизывают все без исключения еврейские фильмы Оберхаузена. Личное свидетельство автора соткано из свидетельских показаний участников, т.е. немцев, описывающих свое отношение к евреям, и евреев, описывающих свои ощущения от жизни в Германии. В фильме представлен весь спектр немецких отношений — от чувства вины и связанных с этим дискомфорта и скрытого недовольства до неприязненного удивления, что они, эти евреи, все еще селятся здесь, все еще собственным присутствием будят неприятные воспоминания. Пожалуй, единственное, чего нет — это нормального человеческого отношения, равноправного, уважительного, независимого, добрососедского, непредвзятого, свободного от стереотипов. А есть в этих отношениях взаимная болезненность, настороженность, включающая также немецкое недовольство (а почему это мы должны постоянно чувствовать вину?), в любом случае — неестественность совместного существования. Понятно: то, что лежит между немцами и евреями, не может быть преодолено или хотя бы забыто. И свидетельства самих евреев, живущих в Германии, их ощущения представляют собой такой болезненный пласт, что уже ни в коем случае не пожелал бы я кому-либо оказаться в их шкуре. И в то же самое время это — свидетельства, причем свидетельства из первых рук и о еврейской судьбе и о еврейском характере — по крайней мере об определенных их гранях и проекциях. Есть евреи, которые постарались забыть немецкий язык. И есть такие, которые не могут без него остаться самими собой. И, безусловно, имеются те, кому все равно где быть, лишь бы платили побольше. Или, по крайней мере, им кажется, что им все равно, а то, что не укладывается в эту доктрину — то отсекается. Или демонстративно не замечается, даже с каким-то озлоблением. И весь этот спектр еврейской судьбы и еврейско-немецких отношений в послевоенной Германии есть в фильме Деборы Левкович. Надо было

быть в Оберхаузене, чтобы почувствовать, как аудитория даже не смотрела, а впитывала этот фильм в себя, и в то же время сама погружалась в его пространство.

Не могу не сказать о том, как сделана картина. Фильм состоит из свидетельских показаний, но мы ни разу не видим говорящих. При появлении каждого нового персонажа, нового голоса, нового аспекта изображение буколических пейзажей и размеренной жизни Вестфалии уходит из резкости, на экране возникает подвижное черное каше, затемняющее порой две трети экрана (на этом каше и появляются английские субтитры, когда надо перевести немецкие интервью), — и все изображение, теряя фотографическую реальность, становится как бы изобразительным аналогом монологов, их пульсом, их визуальным отражением на экране. Я просто не могу описать своего волнения, когда увидел наконец на экране то, что не довелось реализовать мечтавшему об этом С.Эйзенштейну: внутренний монолог, его тонус, дыхание, образ. Некогда, работая над экранизацией "Американской трагедии" Драйзера, великий новатор в своих замыслах впервые, наверное, попытался уйти от механического соединения звука и изображения и выразить на экране, т.е., конечно, в виде предварительных набросков монтажных листов, внутренний монолог.

Увы, Эйзенштейну не удалось снять "Американскую трагедию", продюсеры Голливуда заблокировали его замысел. И вот сейчас, в Оберхаузене, через много лет после того, как были написаны эти строки, я увидел внутренний монолог, воспроизведенный Деборой Левкович с таким кинематографическим достоинством. Именно, пользуясь словами Эйзенштейна, "конструкция внутреннего монолога предельной напряженности и трагического переживания".

Стоило приехать в Оберхаузен даже ради одного фильма "Как быть евреем в Германии". Именно в Германии его понимаешь лучше всего. И еще, возможно, в Израиле.

А рядом с этими фильмами — скромный 10-минутный репортаж советского режиссера Аркадия Рудермана "Гуд бай, СССР". Что может быть проще: пойти в Шереметево и поснимать там людей, уезжающих в Израиль "на постоянное место жительства". Момент, когда еврейская судьба представлена в своей кульминации, позади все — дом, очаг, могилы, биография, впереди — неизвестность. Слезы остающихся родителей, бабушек и дедушек. Убогий блеск витрин советских валютных магазинов, этих жалких "Березок", которые представляются эмигрантам неким окном в Западный мир, обещанием будущего благополучия. Хотя, впрочем, эти самые переселенцы на-

столько вымотаны, что им не до витрин.

В фильме Рудермана, непритязательном и скромном, присутствует одно дополнительное качество, придающее этой работе новое измерение: то обстоятельство, что режиссер — еврей. Если помните, среди рисунков Пушкина есть один, который не несет привычного отпечатка пушкинского артистизма и блеска, свойственных его рисункам. Это рисунок виселиц, сделанный, когда Пушкин узнал о казни декабристов. И его знаменитая приписка "И я бы мог..." в сочетании с биографией этого рисунка вызывает куда больший отклик, чем другие, может быть, более изящные рисунки поэта. Вот именно это ощущение автора "И я бы мог", тот факт, что сознательно или бессознательно автор примеряет и проецирует судьбу, выбор, ситуацию эмигрантов на свои собственные — все это прочитывается: это присутствует в фильме, хотя и в неявном виде, вполне возможно, помимо желания автора. Кто знает?..

У документального кино есть это свойство: оно отражает не только реальность, но и автора. ...Я помнил об этом, когда работал над своим фильмом "Письма из Ленинграда". Фильм посвящен определенному периоду еврейской истории Ленинграда — с 1979 по 1987 год, когда искусственно созданная властями "община" отказников постепенно превратилась в реальную общину, стала центром еврейской жизни многомиллионного города, так или иначе определила судьбу многих из них. Я понимал, что в любом случае мне не удастся избежать личного отношения: описываемый период истории был также частью моей собственной биографии. Но я постарался включить в фильм максимальное количество свидетельств других людей, подлинные документы, в том числе киноматериалы, нелегально снятые в то время.

Вот что пишет об этом времени и об этом фильме известный историк Мартин Гилберт. "Это было подлинное возрождение, которое привело одних к соблюдению еврейских религиозных традиций, других — к изучению иврита и даже к его преподаванию. Появился самиздатский еврейский журнал и — в это трудно поверить — возник даже подпольный еврейский театр... Не только события, но сам дух этого удивительного периода еврейской истории присутствует в фильме. Фотографии, многие из которых имеют несомненную историческую ценность, съемки Ленинграда, личные впечатления и свидетельства участников этого возрождения смонтированы с официальной советской хроникой, что дает совершенно новую интерпретацию описываемым событиям".

Должен признаться, что фильм вызвал неожиданную реакцию в Оберхаузене — возможно потому, что из всех еврейских фильмов фестиваля, этот оказался самым оптимистичным. Он заканчивается в тот момент, когда ленинградские отказники после долгой борьбы за выезд, наконец, покидают Советский Союз. Во всяком случае после просмотра этого фильма аудитория буквально набросилась на автора, т.е. меня, спрашивая, как я собираюсь разрешить палестинскую проблему. Видимо, у них создалось впечатление, что остальные еврейские проблемы уже решены, либо они уверовали в нашу способность преодолеть любые препятствия. Хотя, казалось бы, в моем фильме присутствуют те же извечные темы, что и во всех остальных фильмах: противостояние окружающему миру, антисемитизм, предстоящий исход, уникальность еврейской судьбы... Думаю, что само желание аудитории переключиться, отойти от реальностей еврейского существования в 20 веке, вернуться в мир привычных представлений, созданный каждодневными усилиями "свободной" прессы и не менее свободного телевидения, в мир, где подлинная, а не выдуманная еврейская жизнь подменена "палестинской проблемой" — это желание показательно, и не только для Германии. Тем больше чести организаторам фестиваля, не только сумевшим услышать голос реальности сквозь завесу стереотипов, но и увидевшим и, кажется, воспринявшим еврейскую компоненту современной истории.

И, наконец, шестой фильм — израильская картина "Так мы расстались", или "Такое расставание" — первая режиссерская работа Йорге Гурвича, израильского оператора, и единственная игровая картина среди еврейских фильмов фестиваля. Если вы помните, в начале этой статьи я задал вопрос: будет ли израильский фильм обязательно еврейским? С формальной точки зрения картина Гурвича — безусловно, еврейская: фильм сделан в Израиле, все без исключения создатели фильма — евреи, все актеры — евреи и все герои фильма — евреи. Судьба героев чисто еврейская: в аэропорту им. Бен-Гуриона пожилой израильтянин провожает сына и его семью, переезжающих в Испанию "на постоянное место жительства". Герой — 65-летний Яков, вспоминает, как в 1937 г. он, еще ребенок, отправился из Польши в Аргентину на заработки, оставив мать, братьев и сестер, с тем, чтобы забрать их, когда встанет на ноги. Понятно, что ему уже не довелось их увидеть. И вот теперь, на склоне лет, прощаясь с сыном и любимыми внуками, покидающими Израиль в поисках материального благополучия, он неожиданно осознает, что, возможно и на этот раз он прощается с ними навсегда.

Странное дело: именно этот фильм, который, казалось бы, на 100% еврейский, таким не воспринимается. Конечно, можно найти формальное объяснение: ученическая режиссура, слабая актерская игра, за исключением главного героя (в добротном исполнении Иосифа Кармона), незнание атмосферы еврейского дома в Польше тех лет, того неповторимого явления, которое мы называем "идиш-кайт" и без которого нельзя представить себе жизнь вост.-европ. еврейства. Я уже не говорю о кошмарном идише, на котором изъясняются герои фильма и который не имеет ничего общего с "ма-мелешн", известным нам с детства.

Конечно, нельзя не принять во внимание, что игровая картина, да еще ученическая, неизбежно проиграет рядом с документальными фильмами. Однако само сопоставление катастрофы европейского еврейства с материальными трудностями в Израиле в качестве сходных источников переживания, мне кажется, изначально демонстрирует отсутствие каких-либо еврейских корней (чтобы не сказать резче). И, даже отдавая должное благим намерениям режиссера, если они были, нельзя не отметить с грустью потерю еврейского мироощущения, отличающую израильское кино в целом и даже ту небольшую и лучшую часть, которая пытается отойти от штампов третьесортной американской кинопродукции. Впрочем, эта тема заслуживает отдельного разговора.

Так в чем же феномен еврейского кино! И почему его нет в Израиле? Размышляя о фильме Гурвича в сопоставлении с остальными еврейскими фильмами, можно прийти к некоторым выводам: феномен еврейского кино возникает тогда, когда за биографией героя ощущается ход истории, а эта история, в свою очередь, превращает биографию в еврейскую судьбу. Сочетание временного и вневременного, злободневного и вечного, универсальность еврейской судьбы — и биография мира, отраженная в этой судьбе, как в капле воды, плюс авторский диагноз — вот, пожалуй, некоторые компоненты еврейского кино. Ничего нового для тех, кто внимательно читал Библию: человеческая судьба как субъект истории, приоритет этической системы отсчета.

Но оказывается, это еще не все! Фестиваль в Оберхаузене преподнес своим зрителям еще один сюрприз.

В рамках фестиваля была показана ретроспектива фильмов киргизского режиссера Изи Герштейна. Среди 39 фильмов, снятых им в Киргизии, нет ни одного, связанного с еврейской темой. Но все они вместе и каждый в отдельности отличаются от остальной продукции

Киргизской киностудии. Есть в них некая теплота восприятия, какой-то особый взгляд на людей, на жизнь, на природу, взгляд, жаждущий гармонии и находящий ее. Именно это видение автора заставило меня вспомнить об "идишкайте". И — как выяснилось — не только меня. Уже упомянутый выше Ганс Иоахим Шлегель, совсем не еврей, а немец, человек с необычайно тонким и точным чутьем психолога, киноман, с железной хваткой журналиста — аса, начал свое интервью с Герштейном лобовым вопросом:

— Где корни Изи Герштейна?

Герштейн — Корни моих фильмов?

Шлегель — Нет, жизненные корни.

Герштейн — Я родился в Киеве (далее следует рассказ о начале биографии, об эвакуации во время войны, об отце).

Шлегель — Если бы ваш отец остался в Киеве, он бы не избежал судьбы киевских евреев. Он был религиозным евреем?

Герштейн — Да, очень. К сожалению, я не унаследовал все это из-за моего советского воспитания...

Но Шлегель и тут не успокоился. Он спросил: "А вам не хотелось бы вернуться к еврейской религии?" И пожилой киргизский режиссер Изи Герштейн сказал: "Если говорить честно, то я бы очень хотел..."

В этом месте, пожалуй, и я поставлю многоточие. Что есть еврейского в творчестве евреев на нивах других культур кроме собственной еврейской судьбы?

Вопрос этот выходит далеко за рамки данной статьи, и так уже слишком разросшейся. Тем более, что даже сейчас, после Оберхаузена, я бы не решился дать исчерпывающий ответ на более простой вопрос: что же это такое — еврейское кино?

Но начиная свой следующий фильм в Израиле, я обязательно задумаюсь, сможет ли этот фильм когда-нибудь оказаться в одной программе с картинами Деборы Левкович из США и Петра Московского из России.

## ПОСЛЕВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИЗРАИЛЬСКИЙ РОМАН

История литературы — это область определений и классификаций, почти всегда страдающих вопиющей неточностью. Тем не менее такие определения и классификации необходимы, ибо без них невозможно понять взаимоотношения между литературой и культурой, литературой и исторической эпохой, а без таких обобщений литература представляется беспорядочным сборищем произведений, каждое из которых — само себе закон. Конечно, какой-нибудь упрямый номиналист может сказать, что говорить о "послевоенной литературе" в целом — чистое безумие, а такого понятия как "израильский роман" вообще не существует. Но любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что литература четырех последних десятилетий в чем-то существенном отличается от литературы 20-х годов или викторианской эпохи, и следовательно наше подразделение истории романа соответствует эмпирически наблюдаемому факту, даже со всеми возможными оговорками.

Разумеется, мировая литература после второй мировой войны демонстрирует множество различных тенденций, включая слегка модифицированную реалистическую. Можно, однако, указать на несколько особенностей, которые отличают ее от литератур предыдущих периодов. Три таких главных особенности состоят, на наш взгляд, в сознательной установке на постмодернизм, в повышенном интересе к литературной игре и в использовании фантастики как средства постижения истории. Охарактеризуем их вкратце, чтобы понять, оказали ли они влияние на израильский роман.

Период между окончанием первой мировой войны и концом 20-х годов был временем грандиозных литературных достижений. Кто-то назвал это время "периодом чудес" и действительно — как иначе расценить, скажем, четырехлетний период с 1921 по 1925 год, в течение которого были опубликованы такие шедевры, как "Улисс" Джойса, "Бесплодная земля" Эллиота, "Замок" Кафки, "Волшебная гора" Т.Манна и четыре тома "В поисках утраченного времени" Пруста? Высокий модернизм продолжал порождать выдающиеся произведения и за рамками этого периода —



например, в творчестве Броха, Музиля и Фолкнера, однако в целом вторая мировая война явилась неким переломным пунктом в истории литературы. После нее многие писатели ощутили необходимость выйти из той длинной тени, которую отбрасывали на них гиганты прошлого. Некоторые, не желая вступать в единоборство с модернизмом, обратились к более ранним формам повествования. Они отвергли архитектурный принцип построения, свойственный таким модернистским романам как "Улисс" или "В поисках утраченного времени", сменив его на более импровизационную или, во всяком случае, более небрежную композиционную структуру. Тем не менее иконоборчество, столь характерное для модернистов, стало общим достоянием и для этих авторов. Критическое отношение к доминирующим культурным ценностям, провозглашенное модернизмом, стало считаться необходимой отправной точкой любой серьезной литературы, и в случае Израиля эта критическая установка явилась одной из (второстепенных, впрочем) причин, по которым писатели оказались в перманентной оппозиции к политическому истеблишменту. С формальной точки зрения энергия модернизма была направлена на преобразование прежних форм повествования и разрушение условностей традиционного реализма. Это формальное иконоборчество сохранилось и в послевоенной литературе, временами доходя до такого пренебрежения или пародирования традиции, которое удивило бы самих модернистов. Аналогично до самых крайних пределов была развита и установка модернистов на сознательное изобретение новых форм, что в конце концов породило таких литературных новаторов как Набоков и Борхес, Джон Барт и Итало Кальвино, Алэн Роб-Грийе и Маргарет Дюрас.

Одним из пунктов, в котором современная литература дальше и очевидней всего ушла от своих модернистских предшественников, было увлечение фантастикой. Среди многих выдающихся писателей двадцатых-тридцатых годов один лишь Кафка отвел фантастическому центральное место в своем творчестве. Вряд ли можно утверждать, что современные авторы всерьез испытали его влияние — скорее, они увидели в его книгах лишь некий общий прецедент радикального разрыва с реализмом. Подлинную близость к Кафке обнаруживают сегодня лишь авторы типа Борхеса и Кальвино, которые используют фантастику как инструмент исследования метафизических и эпистемологических проблем. Более типичными для современной литературы оказались, однако, писатели типа Маркеса, Гюнтера Грасса, Салмана Рушди, Томаса Пинчона, Роберта Гувера, для которых фантастика стала парадоксальным средством изображения головокружительной панорамы новейшей истории. Если первая мировая война, как это уже часто отмечалось, была травматическим водоразделом в европейской истории, то второй мировой катаклизм, развязавший чудовищные силы геноцида и закончившийся созданием оружия, способного уничтожить человечество, привел к трагической реализа-

ции всех прежних мрачных предчувствий. Вдобавок, для писателей Третьего мира он сопровождался кровавым послесловием антиколониальных и постколониальных войн, высвободивших чудовищные силы разрушения, дремавшие в их народах. Не исключено, что наше нынешнее неустранимое ощущение глобального кризиса было усилено также появлением электронных средств информации, которые сделали картины войн, катастроф и трагедий частью нашего повседневного существования. Как бы то ни было, многие из самых выдающихся современных писателей пришли к выводу, что, оставаясь в пределах рационализма, базирующегося на законах причинности и вероятности, невозможно описать врожденный иррационализм и буйный хаос историко-политической реальности. Поэтому те из них, кто тяготел к серьезному историзму, стали обращаться к романной структуре, в основе которой лежит некое фантастическое предположение: ребенок, который отказывается взрослеть (конфронтация с нацизмом в "Жестяном барабане"), дар идеальной телепатии (конфронтация с убийственной реальностью Индии в "Детях полуночи"), человек, способный жить столетиями (конфронтация с колониализмом в "Ста годах одиночества").

Всякий, кто знаком с развитием израильской литературы, немедленно скажет, что вся эта схема имеет весьма малое отношение к тому, что происходило в ней — по крайней мере, на протяжении первых десятилетий государственного существования, а то и вплоть до начала 80-х годов. Тому есть множество причин. Прежде всего, сам характер предшествующих и близких по времени образцов ивритской литературы уже склонял начинающих израильских писателей к традициям реализма. Новейшая ивритская проза в Европе, начиная с Хаскалы, была порождена необходимостью дать трезвый анализ проблем еврейского общества и путей их решения, вплоть до призыва к определенным политическим действиям. В этой традиции, восходящей к началу 19-го века, вполне уместными считались дидактика и даже сатира, но никак не литературная игра или фантастика. Симптоматично, что новая ивритская проза сумела заимствовать методы Гоголя-сатирика, но почти полностью игнорировала Гоголя-фантаста. В ней не было своего Стерна или По, своей "Шагреневои кожи" или "Доктора Джекилла и мистера Хайда" (Тяга к сверхъестественному и к литературной игре свойственны творчеству Агнона, начиная с первых десятилетий нашего века, но выдающиеся достижения Агнона, при всем уважении к ним, не оказали существенного влияния на тех писателей-уроженцев Израиля, о которых мы говорим.) К моменту выхода на сцену первого поколения израильских писателей, для которых иврит был уже родным языком, и без того присущая этому языку внутренняя тяга к трезвому реализму превратилась в литературном плане в нечто подобное феодальной присяге на верность реалистическим образцам прошлого. Многие из этих писателей выросли в левых молодежных движениях, игравших

центральную роль в тогдашнем сионистском ишуве, и в их юношеском читательском меню значительную долю составлял советский социалистический реализм в ивритском переводе. Вот почему такие далеко разошедшиеся впоследствии люди как молодой романист Моше Шамир (сегодня находящийся на крайнем правом фланге израильского политического спектра) и молодой журналист Амос Элон (сегодня на крайнем левом) в те годы одинаково горячо и принципиально призывали к созданию глубоко ангажированной в политику литературы "сионистского социалистического реализма". И сама литература того времени, хоть и не столь социалистическая и страстная, как этим юным идеологам, возможно, хотелось, в целом отвечала на их призыв к ангажированности своей общей установкой на нравоучительный, зачастую приземленный реализм.

Но идеология не была единственной причиной этой склонности к реализму. Свое влияние оказывало и вполне понятное желание выразить в словах совершенно новую национальную реальность: социальную новизну киббуцной жизни, трудности и проблемы молодежного движения, посвящение в зрелость в кровавых сражениях Войны за Независимость, чудовищный городской пейзаж Израиля 50-х годов с его массовой иммиграцией, растущей бюрократией, исчезающим идеализмом и строжайшей экономией во всем. Этот вызов, бросаемый реальностью, подкреплялся другим вызовом, каким был сам иврит. Нельзя забывать, что это было первое — со времен античности — поколение писателей, которые впитали этот язык с детства, а не сконструировали его искусственно для своих литературных потребностей, как это сделали Агнон и его современники, опираясь на словарь древних священных текстов. Но эта лингвистическая "естественность" оказалась по меньшей мере сомнительным приобретением. Огромную энергию приходилось затрачивать на отработку реалистического диалога, не говоря уже о попытках фонетической передачи бытовой речи и быстро возникавшего ивритского сленга. Во всем же прочем литература поколения 1948 года была "литературной" в худшем смысле этого слова, поскольку представляла собой, в основном, повторное изобретение стереотипов европейского романа, приправленное попытками имитации классицистского стиля Агнона, Хаима Хазаза, Берковича и других писателей диаспоры. Борьба с трудностями языка и дешевым подражателем затянулась до конца 70-х годов, обрекая писателей на постоянные поиски средств реалистического отображения действительности и оставляя весьма мало места для того рода игровых экспериментов, которыми была столь богата в те времена зарубежная литература.

Тем не менее, и в израильской литературе происходила определенная эволюция. Обычно ее характеризуют с помощью "таблицы поколений" — "поколение 1948 года" (Шамир, Ицхар, Ханох Бартов, Натан Шахам); "новая волна", возникшая в конце 50-х годов (Амос Оз, А.Б.Иошуа, Амалия Кахана-Кармон); и "писатели 80-х" (Давид Гроссман, Меир Шалев,

Рут Альмог, Антон Шамасс). Эта схема, при всех ее достоинствах, отчетливо демонстрирует неизбежную приблизительность всех литературно-исторических схем. "Поколение" — это одновременно и реальное, и очень условное понятие. Конечно, большинство авторов "поколения 1948 года" выросли вместе, обладали сходным жизненным опытом и вдохновлялись сходными литературными стремлениями, но среди них были и такие, которых тот же опыт увел в совершенно иную сторону. Самым ярким примером может служить Иехуда Амихай, пришедший в прозу из поэзии. Хотя по возрасту его можно было бы отнести к "поколению 1948 года", присущий ему сюрреализм и тяга к символическим формам повествования не имеют ничего общего с прозой его современников. Амалия Кахана-Кармон очень часто зачисляется в тот же ряд, что и Оз с Йошуа, тогда как в действительности глубокая лиричность ее прозы, эксцентричность стиля и внимание к чисто женской проблематике располагают ее, скорее, по касательной к ним. Нужно еще заметить, что хотя писатели имеют склонность группироваться со своими сверстниками, они в целом вовсе не выстраиваются по группам в точном соответствии с возрастом, и даты рождения в "поколениях" варьируются столь же причудливо, как и литературные пристрастия.

Поэтому стоит, быть может, предложить другое, не менее произвольное, деление, не столько отрицающее схему "поколений", сколько дополняющее его другим подходом к эволюции израильской литературы. Я выберу самый показательный, по моему мнению, роман для каждого из четырех десятилетий израильской литературной истории (конечно, десятилетие — весьма условная единица исторического опыта, но не более условная, чем "поколение", зато лишенная его биологических импликаций). В двух из этих четырех случаев моя оценка совпадает с общим мнением израильской критики, в двух остальных она может вызвать изрядные споры; тем не менее я готов настаивать, что выбрал действительно самые оригинальные произведения соответствующих десятилетий, хотя, быть может, и не самые репрезентативные. Во всяком случае, их краткий анализ позволит нам уяснить определенные линии эволюции израильского романа в ее соотношении ко всей мировой литературе. Произведения, которые я хотел бы рассмотреть, — это "Дни Зиклага" Изхара (1958), "Не здесь, не сейчас" Амихая (1964), "Непрерывное прошлое" Шабтая (1977) и "Смотри на «Л»: Любовь" Гроссмана (1986).

Центральное место "Дней Зиклага" в израильской прозе 50-х годов сегодня не оспаривается никем. Этот роман объемом в 1200 страниц, написанный в виде длинных диалогов, перемежающихся с внутренними монологами, и воспроизводящий семь дней боев за негевскую высотку в ходе Войны за Независимость, явным образом вообрал в себя все лучшие итоги того десятилетия, когда израильская литература мучительно искала пути к запечатлению войны и показу тех личных и национальных проблем, пе-

ред которыми эта война поставила молодых израильтян. Стремление к трезвому реализму в описании новой исторической действительности, о котором говорилось выше, достигает здесь своего апогея. Точно так же апогея достигает здесь и стремление приспособить для этой реалистической цели новый литературный иврит. Язык романа перегружен редкими или доселе неупотреблявшимися словами и лингвистическими нововведениями, а его синтаксис отличается тягой к спирально свернутым фразеологическим конструкциям, каких не знала прежняя ивритская проза. Упор на этическую проблематику во многом выявляет влияние Сартра (то были времена гегемонии французского экзистенциализма), а стилистический лиризм и техника внутренних монологов — аналогичное влияние Фолкнера и Томаса Вулфа.

"Дни Зиклага", появление которых совпало с расцветом французского "нового романа" и всего на год опередило публикацию "Жестяного барабана", являются, в определенном смысле, примером того отставания израильской прозы от зарубежных тенденций, которому суждено было сохраниться и в следующем поколении. Увлечение Изхара техникой "потока сознания" сближает его с модернистской прозой двадцатых-тридцатых годов. Хотя он — единственный, пожалуй, израильский писатель, столь глубоко интересовавшийся такой техникой, это не помешало его книге быть немедленно признанной типичным образцом израильской литературы 50-х годов. Под покровом неторопливых лирических переливов и тончайших нюансов состояний и ощущений в этой книге ощущается жесткая структура идеологического утверждения. Сами эти переливы и нюансы повествования обусловлены не столько уверенностью, что окружающий мир утратил свою повествовательную связность и упорядоченность (как считал, например, Фолкнер), а попросту стремлением использовать литературные приемы как средство обсуждения определенных моральных и политических проблем. И в отличие от модернистов прошлого, занятых прежде всего исследованием индивидуального человеческого опыта, Изхар в типичной для всей тогдашней израильской литературы манере адресуется к проблемам коллектива и к коллективной судьбе: герой его романа — не отдельный человек, а группа одногодков.

В диалектике диалогов "Дней Зиклага" заключена проблематика целого поколения, восходящая — по крайней мере, косвенно, — к русской литературе 19-го века и таким ранним ивритским писателям, как Бреннер и Бердичевский. "Что делать?" — вот вопрос, который задают себе в бесконечных спорах и монологах между схватками молодые герои Изхара. Что делать с наследием диаспоры, которое мы призваны отвергнуть, с библейским прошлым, которое мы взялись возродить, с национальным будущим, которое нам изображали как реализацию мессианских мечтаний? — спрашивают себя эти люди, стоя на кровавом историческом распутии. Легко понять, какой глубокий отклик должны были получить эти

вопросы у израильской интеллигенции — даже если форма, в которой они были поставлены, кажется нам сегодня слегка анахроничной.

Пространный роман Амихая "Не здесь, не сейчас" представляется мне самым оригинальным произведением ивритской прозы 60-х годов. Это также первое произведение, которое решительно порывает с негласной верностью реализму и в этом плане является провозвестником того, что возобладало два десятилетия спустя. Экспериментальный характер этого романа, присущее ему странное сочетание причудливого, гротескного и фантастического делают его более похожим на современные западные образцы, чем любое предшествующее израильское произведение; но если не считать одного-двух мотивов, заимствованных из поэзии Рильке, здесь трудно обнаружить следы зарубежных влияний — Агнона тут, несомненно, больше, чем, скажем, того же Гюнтера Грасса. Справедливо будет также заметить, что этот примечательный роман — прежде всего книга поэта. Поэзия — главное призвание Амихая. Правда, в 50-е годы он опубликовал томик занятных антиреалистических рассказов, густо насыщенных метафорикой и дезориентирующими ассоциативными скачками. Но после "Не здесь, не сейчас" он написал всего лишь один роман — книгу несравненно меньшего калибра, выдержанную в фарсовом ключе и повествующую об израильтянине, осевшем в Нью-Йорке. Так вот, главная его прозаическая книга — поэтический роман в строгом смысле этого слова. Хотя она демонстрирует вполне разработанную романную структуру, предлагая читателю убедительное описание социальной среды, длинный список героев и положенную "поступь судьбы", выявляющуюся в сюжете, в своей основе это — лирический роман, потому что он повествует об одном-единственном лирическом герое, который, как и во всяком поэтическом произведении, соотносится с главными проблемами существования — страстями, смертью, скорбью, воспоминаниями, злом, любовью — через рефлексию и борьбу с теньями, образами и проекциями своего внутреннего мира. Даже Патриция, американка, с которой герой вовлечен во вполне прозаическую любовную связь, кажется не столько конкретной женщиной, сколько архетипом — русалкой, Венерой, экзотической амазонкой прерий, быть может — соблазнительной и впечатляющей, но тем не менее архетипичной прежде всего.

Главное формальное новшество романа состоит в расщеплении сюжета на два параллельных действия, объединенных общим героем, который в попеременных главах показан погруженным то в поиски любви (с Патрицией, в Иерусалиме, где рассказ ведется от третьего лица), то в разгадку смерти (в немецком городке, где он родился и пытается нащупать корни Катастрофы и где повествование ведется от первого лица). Эти переплетающиеся сюжеты связаны сложной системой общих тем и мотивов, хотя их тональности совершенно различны. Немецкий сюжет представляет собой, в основном, внутренний монолог человека, преследуемого кошмар-

ными воспоминаниями, встречающегося с людьми, которые кажутся ему призраками прошлого или галлюцинацией, порожденной его непрерывными размышлениями о прошлом. Сцены в Германии — явная попытка исследовать непостижимое, каким и является, в сущности, характер цивилизованного народа, ответственного за планомерное уничтожение миллионов невинных людей; возможно, "смысл" этих глав состоит в выводе, что тайна Катастрофы, что бы ни думал об этом сам герой, в действительности непостижима. Напротив, иерусалимские главы, с их живым описанием карнавального сочетания академических конференций и религиозных соборий, урбанистических пейзажей и развалин, расчлененных колючей проволокой, разделяющей город, выдают страстную увлеченность автора причудливым своеобразием Иерусалима (хотя его поэтическое воображение и преобразует весь этот ландшафт в некий символический "усилитель" одержимой любви Йоэля к Патриции).

Роман Амихая — значительное достижение, но, как я уже сказал, он не типичен для израильской прозы 60-х годов. В одном отношении, однако, он оказался знаменательным. Его антиреалистический прием расщепления сюжета был не столько изобретательным трюком, сколько неизбежным следствием специфики исследуемой ситуации: израильтянин, отпрыск европейской еврейской семьи, пытающийся разобраться в запутанных переживаниях своей взрослой жизни, события которой происходят на фоне неотступно преследующих его воспоминаний о трагической Катастрофе. То, что произошло между 1933 и 1945 годами, было таким радикальным разрушением всех координат привычной реальности, что определенное нарушение рациональной логики реализма кажется попросту необходимым, если мы хотим совместить в одном высказывании довоенную и послевоенную действительность. Йоэль иерусалимский целиком погружен в настоящее, и ему кажется, что он достигает его вершин, когда в минуту высшего любовного блаженства выкрикивает свое "Сейчас!" Йоэль в Германии, с его археологическими раскопками немецкой морали, одержим воспоминаниями, и убеждается, что прошлое, которое он пытается постичь, в действительности бездонно. Разумеется, эта двойная сюжетная структура не могла служить образцом для прямого подражания, но она несомненно показала другим израильским писателям, что попытка описать пространство геноцида в рамках литературы требует выхода за границы реалистических условностей.

Если в середине 60-х годов разрыв между новаторским уровнем израильской и зарубежной литератур мог быть перекрыт только с помощью уникальных приемов поэтического романа Амихая, то в 70-е годы израильский роман решительно вышел на международную сцену благодаря целой череде впечатляюще оригинальных произведений. Среди них следует упомянуть прежде всего "Идеальный мир" Амоса Оза (1982) и "Молхо" Йошуа (1987) — два совершенно разных романа, одинаково принадле-

жащих к потоку зрелой психологической прозы; фантастический "Баденхейм, 1939" Аарона Аппельфельда (1979); наполовину историко-реалистический, наполовину фантастически-гротескный роман Меира Шалева, эту ивритскую версию "Ста лет одиночества", получившую у автора ироническое название "Русский роман" (1988); увлекательные, но неровные "Арабески" Антона Шамасса (1986) и наконец роман Давида Гроссмана "Смотри на «Л»: Любовь" (1986), о котором мы еще будем говорить отдельно. Но подлинным поворотным пунктом, обозначившим окончательное повзросление израильской литературы, была публикация в 1977 году книги Яакова Шабтая "Непрерывное прошлое". Вряд ли какое-либо иное произведение последних десятилетий вызвало столь единодушную оценку израильской критики. (Посмертно опубликованная "Шира" Агнона выходит за рамки нашего обсуждения, поскольку мы рассматриваем лишь собственно израильских писателей.) В силу специфики своих формальных новшеств творчество Шабтая не могло иметь продолжателей или имитаторов. Однако в стилистическом плане его роман предложил образец блистательного решения тех языковых проблем, с которыми израильская литература сражалась, начиная с 40-х годов. (Роман Амиха не может считаться таким образцом, поскольку его стилистика во многом есть просто перенос в прозу поэтических особенностей лирики автора и потому является высоко субъективной). Проза "поколения 1948" была зачастую резко экзальтированной, и следы этой особенности можно было отчетливо различить еще в ранних романах Оза (именно в противовес ей Йошуа выработал свой сухой, порою даже нарочито приглушенный стилистический регистр.) Шабтай сумел создать новый синтез бытового, повседневного языка с тем богатым тончайшими нюансировками литературным ивритом, который разрабатывался в диаспоре, начиная с 1890-х годов. Я готов утверждать, хотя это не находит прямого подтверждения в остальной израильской прозе (ибо никто в ней не достиг вершин Шабтая), что той новаторской изощренностью и безграничным стилистическим богатством, которые характеризуют израильскую литературу последнего десятилетия (Гроссман, поздний Йошуа), она обязана, пусть и косвенно, мощному воздействию лексико-грамматических новаций, предложенных Шабтаем.

"Непрерывное прошлое" производит впечатление совершенно оригинальной вещи, созданной без особого пиетета к образцам, отечественным или зарубежным в равной мере. Тем не менее результатом явилась книга явно модернистского духа, во многом более близкая к Прусту, Джойсу, Музлию или Фолкнеру, чем, например, к Бютору или Кортасару. Ее формальные новшества бескомпромиссны и вызывающи, в них не ощущается ничего от свободной игры воображения или прихотливого экспериментирования; ее стилистические, структурные и даже типографические особенности выдержаны в строгой манере гипер-реализма. Хотя в ивритском



названии книги нет слова "непрерывное", оно незримо присутствует на каждой из ее 275 страниц, ибо все они вместе представляют собой единственную непрерывную фразу, не разделенную ни единым абзацем или знаком препинания. Время от времени в тексте можно уловить отдельные предложения, но и они, как правило, растягиваются чуть не на целую страницу, так что к концу читатель теряет из виду их грамматическое начало. Это эластичное растягивание синтаксической формы оказывается чрезвычайно удобным инструментом гипер-реалистического описания, ибо в мире Шабтая нет ничего отдельного или сегментированного. Различные люди, места и времена вновь и вновь сплетаются здесь в единую сеть. Мы живем, как бы утверждает Шабтай, в очень сложном и непрерывном взаимодействии, и для воплощения этого тезиса он изобретает предложения, которые протягиваются от одного персонажа к другому и от одного момента времени к другому. С помощью такого приема он ухитряется подробно и убедительно показать читателю картину вполне конкретных социальных и психологических реалий (здесь и широко разветвленная семья — институт, который в Израиле до сих пор играет более важную роль, чем в большинстве современных стран; и лабиринт друзей и любовников; и переплетение общественных и политических страстей) и дать анализ гнетущей его сознание проблемы неминуемого распада и гибели всего живого. С книгой Шабтая израильская литература впервые по-настоящему вышла на авансцену послевоенной прозы, ибо в своем размежевании с условностями традиционной прозы "Непрерывное прошлое" было не менее радикально, чем, к примеру, французский "новый роман", но в то же время выгодно отличалось от него подчинением формального экспериментирования серьезным жизненным задачам и нежеланием самоопределяться через простое подражание или отталкивание от предшествующих образцов. Смерть Шабтая в возрасте 47 лет, всего через 4 года после публикации романа, была непоправимой утратой для израильской литературы.

В 80-е годы на израильскую литературную сцену решительно вошел постмодернизм. "Арабески", "Русский роман" и книга Гроссмана разными способами, но в одинаковой мере демонстрируют увлечение последнего поколения израильских писателей фантастикой, пародией, литературной игрой и композиционным экспериментированием. Книга Гроссмана, однако, представляется мне самой значительной из них, поскольку она, на мой взгляд, демонстрирует ту степень оригинальности, которая может определить собой последующие поиски израильской литературы. Я позволю себе коротко охарактеризовать ее четырехчленную структуру, спектр ее стилистических стратегий и их связь со сквозной тематикой книги.

"Смотри на «Л»: Любовь" — это роман о Катастрофе, или, точнее, о неодолимой потребности и непоправимой невозможности постигнуть смысл

Катастрофы. Как и у Амихая, разрыв с реализмом здесь продиктован самой непостижимостью предмета размышления, хотя в формальном смысле Гроссман идет куда дальше Амихая. Его роман состоит из четырех больших глав, каждая из которых написана в своем стилистическом ключе и разной повествовательной манере. Только первая из глав следует традициям реализма, и стоит, может быть, упомянуть, что именно она вызвала восторг даже у тех ивритских читателей, которые в целом встретили книгу враждебно. (В Израиле книга стала бестселлером, хотя критики резко разошлись в ее оценке.) Рассказанная в третьем лице, с точки зрения 9-летнего мальчика, выросшего в Иерусалиме, эта глава действительно представляет собой одно из самых замечательных достижений мировой литературы в передаче детского восприятия мира. Ее герой, Мумик, — сын пары, вышедшей из лагеря уничтожения. Мир, который он пытается постичь, имеет в своей сердцевине некую "черную дыру", о существовании которой Мумик догадывается больше по умолчаниям и обрывкам разговоров родителей. И поскольку те не хотят рассказать ему, что "там" на самом деле происходило, он создает свое собственное фантастическое представление о "Тамашней земле", состоящее из крупниц неправильно истолкованной информации и прочитанного в детских приключенческих книгах. Даже лагерные номера, вытатуированные на предплечьях бывших узников, становятся частью этой безумной игры: Мумик старается заучить их наизусть, полагая, что таким образом он поймет конспиративный шифр, который, по его мнению, в них содержится.

Почва для остальных трех глав подготавливается внезапным появлением невинно бормочущего старика, по всей видимости — мумиковского деда, Аншеля Вассермана, который некогда был известным в Европе автором ивритских детских книг, а теперь, сломленный пережитым в лагере, способен лишь бесконечно повторять четыре слова: "Герр Нагель наци капут". Три последние главы книги написаны как произведения самого Мумика, который, повзрослев, стал писателем, но попрежнему одержим стремлением представить себе, что происходило в лагерях. Глава вторая, "Бруно" — это мифический перевертыш жизненной судьбы польско-еврейского писателя Бруно Шульца, который был убит нацистским офицером в дрогобужском гетто в 1942 году. У Мумика Бруно ухитряется бежать в Данциг, где в конце концов бросается в море, чтобы покончить жизнь самоубийством. Вместо смерти его, однако, ожидает превращение в лосося. Он присоединяется к стае лососей, блуждающих в мировом океане, и постепенно теряет человеческое сознание, полностью погружаясь в первобытную жестокость морской жизни. Эта глава написана в лирическом стиле, напоминающем стиль самого Шульца и, частично, Изхара — в тех разделах, где Море (здесь — мифологическое женское существо) обращается к Мумику с монологами на пряном разговорном иврите. В этой и двух последних главах язык вообще становится одной из централь-

ных проблем книги; Гроссман как бы вопрошает: способно искусство, как о том мечтал реальный Бруно Шульц, создать революционно новый, пророческий, "мессианский" язык, или любая человеческая речь обречена на непристойность с той минуты, как она позволила одному нацистскому офицеру обратиться к другому нацистскому офицеру в том же дрогобужском гетто со словами: "Ты убил моего еврея, так я за это убью твоего еврея"?

Третья и четвертая главы представляют собой историю Аишеля Вассермана и его мучителя-двойника, коменданта лагеря герра Нагеля. Судьба, как оказывается, наградила (или наказала) Вассермана неспособностью умереть. Револьверный выстрел в висок вызывает у него лишь ощущение легкого шума в ушах, а сама пуля, не причинив ему вреда, с визгом уходит в далекий лесок. Но Вассерман, на глазах которого Нагель убил его дочь и отправил в газовую печь жену, ни о чем не мечтает так, как о смерти. Когда выясняется, что нацистский комендант в детстве живо увлекался наивными приключенческими рассказами Вассермана в немецком переводе, они заключают некий анти-шехерезадовский договор: Вассерман будет каждую ночь рассказывать Нагелю очередную главу о похождениях своих былых героев, а за это Нагель каждую ночь по окончании чтения будет пытаться его застрелить. В результате между ними устанавливается извращенная связь, и Нагель превращается в своеобразного соавтора Вассермана. С помощью литературы Вассерман разрушает психологическую броню, которой защищен этот массовый убийца, преподает ему уроки гуманности и в конце концов уничтожает его. Последний рассказ, завершающий всю историю, озаглавлен "Полная энциклопедия жизни Казика". Ее герой, волшебный мальчик Казик, ухитряется прожить полную человеческую жизнь в течение 24 часов. Рассказ об этой жизни, переплетенный с историей Вассермана и Нагеля, построен в виде энциклопедических статей с их алфавитным порядком следования, от "алеф" [Ахава (любовь)] — до "тав" [Тфила (молитва)].

Хотя в кратком пересказе невозможно передать всю сложную мозаику причудливых форм романа, несколько слов относительно его стиля все же необходимы — хотя бы для того, чтобы обозначить место этой книги в эволюции израильской литературы и на современной международной сцене. Исключительно смелые стилистические эксперименты Гроссмана явно обязаны своим появлением заслугам предшественников типа Шабтая и Изхара, а также обогащению современного иврита под влиянием повседневной жизни и многочисленных литературных переводов. Стиль романа, варьирующий от стилизации детского языка в главе "Мумик" и лирической лексики в главе "Бруно" до отстраненной, сухой прозаичности энциклопедии с включениями старомодного, по-европейски орнаментального вассермановского иврита, усредненной грамотной лексики взрослого Мумика, сочного сленга монологов Моря и рафинированного литератур-

ного иврита Нагеля (который, разумеется, в действительности говорит по-немецки), отражает новую языковую и литературную проблематику, вставшую перед израильскими писателями 80-х годов: как передать с помощью языка сообщение о событиях, которые как будто вообще не поддаются передаче? Маленький Мумик с его попытками "расшифровки" лагерного "кода" как бы предвосхищает трудности взрослого Мумика-писателя. И не случайно остальные три главы романа напоминают русских матрешек, вложенных друг в друга: взрослый Мумик придумывает своего "Бруно", который включает в себя жизнь и произведения настоящего Бруно Шульца; он придумывает Вассермана, который, в свою очередь, придумывает свои истории во мраке исторической ночи; и наконец, этот же Мумик сливается с анонимными авторами "Энциклопедии", которая сообщает о Вассермане и его героях, даже не упоминая о Мумике и его попытках понять Катастрофу поколение спустя. Стоя в центре этой галереи зеркал, которые, собственно, и образуют роман, Нагель, этот старательный бюрократ от геноцида, с тоской говорит: "Я люблю простые истории" — на что Вассерман как бы от имени автора ему отвечает: "Простых историй больше нет."

Вместе с Грассом, Маркесом и Рушди Гроссман разделяет убеждение, что современный автор вынужден нарушить естественные законы, если он хочет воссоздать литературными средствами убийственную реальность двадцатого века. Его повышенное внимание к языку и стилю тоже глубоко современно и в то же время, быть может, представляет собой всего лишь новую трансмутацию той исторической и экзистенциальной серьезности, которая была всегда характерна для ивритской литературы. Ибо именно в этой литературе громче, чем, пожалуй, во всех других, звучит вопрос, которого нельзя избежать: как отыскать сегодня, через 50 лет после Катастрофы, человеческое место в истории, как о нем рассказать, как найти для него подлинно человеческий язык?

## О СЛЕПОТЕ И БЕССМЕРТИИ

*(несколько мыслей о спектаклях театра "Гешер" и не только о них)*

Я пошел на этот спектакль из чистого любопытства. Какая недолимая сила могла заставить творца спектакля соединить несоединимое? Вот уж воистину губы Никанора Ивановича представлены к носу Ивана Кузьмича...

И все-таки — что-то же объединяет три действия этого спектакля, каждое из разных пьес разных авторов разных эпох? Ну, естественно, прежде всего можно было бы сослаться на то очевидное обстоятельство, что авторы пьес, из которых эти действия извлечены с помощью безжалостного хирургического вмешательства, — русские классики. Но хотя идея великой преемственности русской классической традиции, в частности — драматургической, вполне достойна множества посвященных ей диссертаций, для сценического воплощения этого явно маловато.

Матримониальная идея? Тоже вещь несомненно бессмертная. Смелая мысль — показать процесс становления семьи от возникновения желания ("Не хочу учиться, а хочу жениться!") через драматическую коллизию сватовства ("Пошли вон, дураки!") к буффонадно-трагической развязке "прекрасной женитьбы красной" — демонстрация процесса, растянутого по обширному полотну российской истории от века восемнадцатого до века двадцатого. Оригинально. Но — зачем?

Или матримониальность здесь — только иносказание, и перед нами — грандиозная саркастическая метафора-аллегория созревания революционной ситуации в России? И — последствий ее разрешения? Коллизии, бесконечно повторяющейся в истории и — в своей основной схеме — вечно одной и той же: ни одна революция не разрешила задач и не достигла целей, которые перед собой ставила?.. Гипотеза не такая уж беспочвенная, если вдуматься. Но подобная аллегория скорее годилась бы для драматургии классицизма, для Расина-Лессинга-Сумарокова с их персонифицированными идеями и страстями, добродетелями и пороками.

Нет, ни на один из этих идейно-смысловых шампуров не стоило бы нанизывать такое драматургическое ассорти.

Тогда где же он, подлинный стержень? Без него вряд ли стоило огород городить, шить это лоскутное одеяло, похожее на внутренний занавес остроумной "самодвижущейся" конструкции, придуманной создателями спектакля.

Не помогут ли решить загадку две предыдущих "гешеровских" постановки — "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" и "Дело Дрейфуса"? Может быть, в них ключ? Что если они — вместе с последней — своеобразная трилогия, смысл которой развит и сконцентрирован в маленькой трилогии последнего спектакля?

Этих двух "трилогий", между прочим, вполне достаточно, чтобы представить себе особенности режиссерского стиля Евгения Арье, а также его литературно-драматургические пристрастия: в первом спектакле по сцене расхаживает Гамлет и другие герои шекспировской трагедии, но это никакой не Шекспир и даже никакой не Гамлет; второй называется "Дело Дрейфуса", но никакого подлинного Дрейфуса и судебного процесса над ним в спектакле нет, есть разве что отражение того и другого в очень кривом зеркале.

И, наконец, Фонвизин, Гоголь и Маяковский, попади они на представление малой "трилогии", если бы и не ужаснулись, то уж, во всяком случае, очень удивились, увидев, во что автор постановки превратил фрагменты из их пьес. Вроде бы и они это, но — не совсем, а иногда и совсем — не они.

Если говорить о всех трех спектаклях в целом, то перед нами тот же феномен: три таких разных постановки, а вот, поди ж ты, есть нечто, что их каким-то образом объединяет. Да, конечно, режиссерский стиль. Но прежде всего — общий замысел, овеященный с помощью этого стиля; с одной стороны, превративший в некое художественное целое три последовательных спектакля, а с другой — сценировавший в подобное же целое три разнородных части спектакля последнего.

Я не сомневаюсь в том, что Евгений Арье с полным пиететом относится к своим соавторам-классикам. Но не сомневаюсь и в том, что замысел его, если и использует в качестве опор образы и мысли этих пьес, то именно как опоры, тогда как сама постройка в целом имеет к пьесам лишь косвенное отношение.

Речь идет, таким образом, о некоей сквозной теме и сквозной идее.

Если говорить о теме, то она достаточно тривиальна: это тема

маленького человека — в такой лапидарной формулировке далеко не новая. Совсем другое дело — идейная трактовка этой темы режиссером, совпавшая с трактовкой формально-стилевой. Тут пришлось в пору и режиссерский стиль, и выбранный им драматургический материал, и именно такой, а не иной актерский ансамбль, и правильно найденный ритмико-хореографический — и акробатический! — рисунок мизансцен, и смелое световое и музыкально-вокальное обеспечение драматического действия.

Итак, трактовка.

... Но сначала несколько слов о бессмертии.

Мы привыкли относить это слово к высокому штилю: бессмертие Бога, славы Его пророков, великих ученых и творцов искусства. Бессмертие великих идей, открытий, изобретений...

Но давайте-ка вспомним Ильфа и Петрова. Прочитывать не смогу, но мысль сводится к тому, что вот кто-то изобрел, скажем, средство, сделавшее человека крылатым, а кто-то средство от вредных насекомых. Ничего не скажешь — оба изобретения бессмертны.

Бессмертны Фонвизин, Гоголь, Маяковский. Но по одному, не мне принадлежащему, точному замечанию, "всякое художество вторично, король Лир важнее Шекспира". Митрофанушка бессмертнее Фонвизина, Подколесин с Яичницей, Фекла с Агафьей Тихоновной бессмертнее Гоголя и, наконец, клоп — даже когда мы пишем его без кавычек и с маленькой буквы, то есть не как название бессмертной пьесы, а просто как название насекомого — бессмертнее Маяковского.

Бессмертны Глупость, Пошлость, Идиотизм мещанского существования. Митрофанушка благополучно перешагнул через века и воплотился в Присыпкина-Пьера Скрипкина, а тот в самой же пьесе Маяковского пережил автора, ожил в далеком будущем и — в заключительной сцене, которая не вошла в спектакль Арье, потому что не соответствовала его замыслу, — с радостным воплем обнаружил на своем теле такого знакомого, такого родного бессмертного клопа...

И все-таки, при всей бесшабашной удали талантливой режиссуры-бурлеска, при всем удивительном всемогуществе актеров — они все могут и все умеют! — и эта идея, идея бессмертия человеческого ничтожества, не стоила бы той титанической работы, которая была проделана коллективом театра во главе с режиссером, а эта работа не стоила бы риска быть обвиненной — слава Богу, не постановлением ЦК, а всего лишь автором какой-нибудь бойкой ре-

цензии — в кощунственном опошлении классики, — если бы герои спектакля в своем бессмертном шествии не пошли дальше гоголевского Башмачкина.

Арье решил дать своим героям шанс. Но одновременно и предостеречь их. Маленькие люди нашего времени уже не Башмачкины. Конечно, и в наше время осталась тупая, инертная масса обывателей, которой ничего не надо, кроме сытости и покоя. Но теперь и эти понятия складываются отнюдь не только из новой теплой шинели и возможности безмятежно переписывать казенные бумаги. Тут уж подавай телевизор, видео, машину, ковры и бренди. Обретя все это — ну, и конечно, еще собственный дом или квартиру, — обыватель, израильский в том числе, получает право на самоуверенность, самодовольство и равнодушие ко всему, что выходит за узкий круг лично-семейных интересов. Да еще на звериную ненависть ко всему, в чем ему, обывателю, чужится угроза этим интересам.

Но такая характеристика будет очень неполной, если при этом не учитывать, что сами понятия не только "сытости", но и "инертности", "покоя" для огромного большинства представителей этого социального слоя — преимущественно молодежи, но не только — приобрели совершенно новое содержание. Духовная инертность, а проще сказать — бездуховность приводит их зачастую к весьма динамичному стремлению бить витрины, калечить автомобили, грабить магазины, убивать инородцев — образ действий, дальновидно предугазанный еще деятельностью знаменитых черносотенных союзов "русского народа" и "Михаила Архангела".

Маленький человек стал с и л о й. Из вечно недоедающего злобного звереныша он превратился во вполне взрослого, звероподобного микроцефала. Чуть что — и инертная масса обывателей превращается в толпу, в ч е р н ь, в творца эфемерно-кошмарных охлократий.

Но это, как говорится, цветочки. Ягодки выглядят пострашнее. "Та чернь великая и сволочь та святая", которая "к бессмертию неслась" по улицам и площадям революционного Парижа в 1848 году, могла еще стать предметом романтической идеализации у Огюста Барбье. Времена меняются. Диктаторы двадцатого века хорошо поняли и оценили зловещую мощь черни, по-своему "идеализировали" ее и — сумели поставить себе на службу. Им тем легче было это сделать, что и сами они — плоть от плоти этой черни. Аморфную, неуправляемо-непредсказуемую толпу, ведомую звериными инстинктами, они превратили в стройные ряды штурмовиков, дивизии СС,



отряды ЧОН и ОМОН, в дивизии КГБ, "стражей исламской революции", отряды "саддамова меча".

Ни слова об этом нет в спектаклях театра "Гешер". Герои их не чувствуют и не видят опасности. Даже тогда, когда в "Деле Дрейфуса" чернь ломится в их собственный дом и убивает одного из них. Один Арнольд что-то чувствует и видит, но — очень смутно, и поэтому не в состоянии преодолеть близорукость остальных... И именно в этом — предостережение...

Масса "маленьких людей" — двуликий Янус. Герои "Дела Дрейфуса" — маленькие люди. Но ведь и убийцы Залмана — тоже из рода маленьких людей. Башмачкин — маленький человек, но ведь "маленькие" и те, кто его ограбил. И легенда о посмертных похождениях Башмачкина наводит на мысль, что граница между первыми и вторыми очень подвижна...

А теперь самое время поговорить о слепоте.

У Шекспира Розенкранц и Гильденстерн просто два мелкотравчатых дворянина из разряда "чего изволите". У Арье (и у Тома Стоппарда? Не знаю, не читал) это слепцы, мучительно ищущие правильную линию поведения, способную помочь им — в сущности, маленьким людям, несмотря на все их дворянство, — выбраться целыми и невредимыми из чужого мрачного пира властителей, в котором на их долю может выпасть лишь горькое смертное похмелье. Они выбрали покорность и бесчестье и этим приговорили себя к гибели.

Мало ли сейчас розенкранцев и гильденстернов? Поэтому я хотел назвать свою, так, к сожалению, и не написанную рецензию на этот спектакль именем самой пьесы, поставив, однако, в конце вопросительный знак. Но потом понял: Арье вряд ли думал, что они действительно мертвы. Ему важнее всего было дать понять, что у них был в ы б о р. И на их примере показать, как губителен тот выбор, который они сделали. Это всем сидящим в зале розенкранцам и гильденстернам он тычет под нос: не будьте слепцами! Смотрите: они мертвы! не ошибитесь и вы в своем выборе!

Есть у Метерлинка пьеса, прочитанная мной много лет назад. Называется она "Слепые". На сцене слепцы, которые ждут некого божественного Спасителя. Наконец, они — а вместе с ними и зал — слышат Его шаги. Вот Он приближается, вот Его поступь слышна уже на сцене... И тут — потрясение: вошедшего не видят не только слепцы — не видят и зрители. Его видит лишь ребенок — единственный зрячий среди слепцов на сцене и — в зале...

Нет, Арье не хочет, чтобы на его героев зал смотрел презрительно и свысока. Он даже находит в них некое достоинство: да, они слепые. Но они ищут. Они х о т я т сделать правильный выбор. А вы?.. Конечно, вы сделали правильный выбор, приехав в Израиль. Но это еще — далеко не весь выбор. И в Израиле, как и в любом месте, можно быть подлецом, равнодушным, эгоистом, преступником. Даже если ты министр, депутат кнессета, раввин. Не будьте безмозглыми слепцами — делайте с в о й выбор, господа, самостоятельный и — правильный.

Выбор Розенкранца и Гильденстерна — не выбор глупцов. Это трагический выбор с л е п ы х, не имеющих внутреннего поводыря. Они хотели нащупать спасительную тропинку, а свалились в пропасть.

Герои "Дела Дрейфуса" — маленькие люди, жители затерянного где-то в Польше еврейского местечка. Симпатичные, милые нашему сердцу, но тоже слепцы. Дрейфус для них — полуреальный, лубочный герой, какой-то диковинный еврей — французский офицер. В самый канун фашистского переворота молодые герои пьесы, даже вырвавшись в широкий мир, не видят, не предчувствуют надвигающейся катастрофы. Один становится коммунистом, для которого главные враги — не нацисты, а социал-демократы, другие не хотят переезжать в соседнюю Англию — им, видите ли, в Германии больше нравится, немцы такие вежливые и аккуратные... А в Италии на улицах уже горланят чернорубашечники, в Германии произносит свои истерические речи фюрер... Герои пьесы не успеют прозреть. Но их роковая слепота — слепота маленьких людей — должна нас заставить увидеть.

Вот уж, казалось бы, герои "Недоросля" не просто слепцы — слепорожденные! Но у Арье коронная реплика Митрофанушки: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" — звучит отнюдь не по-фонвизински. В ней слышится осмысленный вызов: Митрофан делает свой самостоятельный выбор. Да и в самом деле: многого ли стоит учеба у "прославленного" Цифиркина? Чем такая учеба — уж лучше женитьба, а значит — свобода, только бы уйти от назойливой маменькиной опеки, а там, Бог даст, чему-нибудь и выучится...

Не очень мудрый выбор? И даже в такой его форме слишком уж мудреный для Митрофанушки? Что ж, до "разумного" Присыпкина ему еще шагать и шагать...

Важно осознать, что выбор е с т ь. Когда об этом догадываются даже слепые — дело сделано...

Разве не муками выбора изводят себя Подколесин и Агафья Тихоновна ("Право, такое затруднение выбор!") в отличие от других героев гоголевской "Женитьбы"? Эти двое, может быть, когда-нибудь прозреют, последние — никогда.

Но главный шанс Арье предоставляет Присыпкин — вопреки воле Маяковского. Чужим приходит Присыпкин на свою "свадьбу красную" — сборище монстров-мещан (с Лассальченко и его секретарями в том числе), чужим и покидает сцену. Т а к о й Присыпкин не станет радоваться свиданию с клопом в лучезарном будущем. Но все-таки не забудем, что в заключительной сцене пьесы Маяковского, взглядевшись в зрителей будущего — в нас с вами! — Присыпкин узнает все тех же участников "прекрасной женитьбы красной" ("Милые вы мои!").

Во имя избавления настоящих и будущих присыпкиных от судьбы слепых мещан-обывателей Арье исключил этот последний монолог героя из своей композиции, вступив тем самым в страстный спор не только с Маяковским, но и Герценом, который был убежден, что каждый рабочий мечтает стать мелким буржуа...

Вы бессмертны, маленькие люди! — как бы говорит своими спектаклями Арье. — Вы пережили и еще переживете всех иродов, наполеонов, гитлеров, гиммлеров, сталиных, берий, саддамов хуссейнов и прочих. Но, осознав свое бессмертие, обретите острое зрение, индивидуальность, независимость. Обретите право на самостоятельный выбор — пусть даже такой нелепо-комический, как у Митрофанушки, но — свой!

Так тема маленького человека вырастает у Евгения Арье до масштабов одной из главных проблем нашего времени.

Тут может возникнуть законный вопрос: зачем для изложения такой, в сущности, простой и ясной проблемы понадобилась столь сложная симфония трилогий? Ее, эту проблему, вполне можно было изложить, не мудрствуя лукаво, в серии темпераментных монологов и диалогов. Но вряд ли убедительных, даже если бы специально для этой цели была написана не вовсе бездарная пьеса.

Солнечный луч можно преломить через простую стеклянную призму, а можно — через грани алмаза. В обоих случаях возникнет один и тот же многоцветный спектр. Но призма продемонстрирует лишь явление природы, тогда как алмаз создаст целую драматургию света. Арье гранит постановку, превращая ее в чистой воды кристалл, многими гранями и по-разному отражающий и преломляющий его сквозную творческую мысль: маленький человек, что же дальше?..

### ЧТО ДВИЖЕТ ИСТОРИЕЙ?

Сформулируем нашу позицию сразу: двигателем истории — и в конечном, и в начальном счете — являются человеческие побуждения. По своей структуре они многослойны. Внешне они проявляются в виде чрезвычайно многообразных потребностей, стремлений, интересов, целей и т.п. В глубинной же их основе лежат древние неосознанные мотивации, определяющиеся природой человека как биологического существа. По сути дела, в истории может происходить лишь то, что соответствует человеческой психологии. Поэтому нельзя во всей полноте постигнуть причины исторических явлений и закономерности истории, не поняв психологических закономерностей, лежащих в основе деятельности и взаимодействия людей в различных исторических обстоятельствах.

### Побуждения и поведение

Что вообще заставляет нас интересоваться историей? Помимо чистой любознательности, в нашем интересе присутствует также стремление извлечь из истории (как процесса) уроки для того, чтобы в действиях, направленных на будущее, избежать ошибок, совершенных в прошлом и приведших к незапланированным последствиям.

Это стремление основывается на представлении (в сущности, гипотезе), что исторический процесс подчиняется неким закономерностям, раскрыть которые — одна из задач исторической науки. При этом сосуществуют два формально противоречащих друг другу положения. Одно из них постулирует, что субъектом (двигателем) истории являются люди (народ), другое — что законы исторических процессов "объективны", то есть действуют независимо от сознания людей.

При всей очевидной противоположности этих положений в каждом из них ощущается своя правда. Действительно, исторические со-

бытия иницируются людьми соответственно целям, которые они осознанно ставят перед собой. Но тот факт, что результаты действий людей не совпадают с их первоначальными замыслами и все "возвращается на круги своя", как будто свидетельствует, что ход исторических событий определяется действием неких объективных законов и, стало быть, не зависит от воли и сознания людей. Существует ряд концепций относительно конкретных объективных факторов, которые движут и направляют исторические процессы: географические, этно-демографические, политические, социально-экономические и др.

Несомненно, никакое сложное явление (а что может быть сложнее истории?) не обусловлено лишь одной причиной — оно является результатом совокупного действия многих факторов. Деятельность людей (субъекта истории) протекает в русле объективных обстоятельств и, естественно, в значительной мере направляется этим руслом. Но ведь и течение реки изменяет русло, которое и само-то существует потому, что создано потоком. Что же движет людьми?

Как мы уже сказали, причиной деятельности людей являются их побуждения. Однако невозможно правильно понять истинные человеческие побуждения — касается дело отдельных индивидуумов или масс, — если судить о них лишь потому, как они осознаются самими людьми. Ведь, кроме сознания, психика человека включает в себе огромный пласт неосознаваемых психических явлений и процессов, которые неощутимым для субъекта образом влияют на осознаваемые им желания, стремления, поступки, всю систему поведения в целом. В результате оказывается, что поступки и поведение людей подчиняются определенным закономерностям, которые и в самом деле существуют объективно, поскольку находятся вне их сознания, т.е. в сфере бессознательного. (Под бессознательным мы понимаем здесь не просто все, что не осознается, а лишь те неосознаваемые явления, которые обладают мотивационным действием, т.е. как сказано выше, влияют на побуждения, эмоции, мышление, действия индивидуума.) Вот почему любое целенаправленное действие отдельного человека (выходящее за пределы его животных нужд) имеет двойственный характер: с одной стороны, оно направлено на то, чтобы удовлетворить осознаваемые стремления, приобрести какие-то конкретные реальные блага, с другой — на то, чтобы удовлетворить те потребности, что порождаются комплексом неосознаваемых мотиваций. Наиболее важная среди последних — потребность в "смысле жизни".

## В чем "смысл жизни"?

Начнем с животных. Конечно, их поведение нельзя назвать субъективно осмысленным, однако оно всегда имеет объективный смысл, поскольку направлено на удовлетворение реальных биологических потребностей — поддержание жизни и воспроизведение рода. В отличие от животных, поведение человека, как правило, является субъективно осмысленным, то есть сознательно направленным на достижение желаемого, но зато зачастую бывает лишено объективного смысла — ведь стремления человека не только выходят за рамки чисто биологических потребностей, но порой просто противоречат им: человек, например, может стремиться к самопожертвованию. Более того, вся стратегия поведения человека подчас резко не соответствует тем целям, которые он осознанно преследует. Важно, однако, что и при этом он субъективно воспринимает свои поступки как "правильные", то есть соответствующие этим целям, иными словами — как "осмысленные". И наоборот, как только человек субъективно ощущает свою деятельность как бессмысленную, он тотчас прекращает ее. Следовательно, деятельность человека неразрывно связана с неким субъективным представлением о "смысле", и не случайно Ф.В.Бассин назвал этот фундаментальный принцип человеческой психики "законом смысла". Но откуда у человека это ощущение "смысла", что такое этот "смысл", если, будучи, в сущности, категорией духа, он влияет на поведение человека сильнее, чем даже биологическая целесообразность?

Вернемся снова к животным. Среди множества регуляторов их поведения этологи выделяют такой эволюционно древнейший, всеобщий и, пожалуй, важнейший для поддержания жизни, как стремление "быть ориентированным". В наиболее общем виде ориентированность заключается в принятии организмом нужного ему состояния в пространстве неких внешних ориентиров. Самая простая ориентированность состоит в том, что организм — любой сложности, даже и одноклеточный — одновременно и отграничен от окружающей среды, и находится в постоянном контакте с ней, что, в конечном счете, и позволяет ему сохранять свое равновесное состояние.

Стремление к ориентированности существует также и у человека. И у него имеется — как осознаваемая, так и неосознаваемая — потребность быть ориентированным в пространстве и выделять в нем ориентиры. Люди, оказавшиеся в незнакомом месте, обычно испытывают растерянность и тревогу. Но, в отличие от животных, у че-

ловека, поскольку он обладает способностью к абстрактному мышлению, кроме пространства окружающей среды имеется еще и второе "пространство" — его субъективный внутриспсихический мир. Его образуют те фрагменты действительности, которые усвоены нами в ходе жизненного опыта и стали содержанием нашего сознания. У каждого человека этот опыт разный, и в этом смысле можно сказать, что субъективно каждый из нас живет в собственной вселенной. Так вот, потребность ориентировки, неосознаваемый поиск опорных ориентиров и неосознаваемое стремление организовать эти ориентиры в некое упорядоченное целое действует и в отношении этой субъективной реальности. А возникающая в результате такого упорядочения "картина мира" как раз и образует для человека так называемый "смысл бытия" (разумеется, в его субъективно-личном понимании).

Можно думать, что человеческая история в определенной мере развивалась именно в результате свойственного человеку стремления к упорядочению своего внутриспсихического "пространства". Так на ранних этапах развития человеческой психики именно потребность первобытного человека в организации своих психических процессов, по-видимому, способствовала формированию и развитию речи. Ведь слово, как указывал Л.С.Выготский, является не только средством коммуникации, но и средством организации мышления.

Овладение речью, в свою очередь, породило такой психологический феномен, как осознание своего "Я", т.е. своей отдельности, отличия от других людей. С возникновением у человека этого "Я" он неизбежно ощутил потребность в ориентации в "пространстве себе подобных", т.е. других людей, что привело к установлению контакта с ними, к образованию первобытных коллективов. Но эта потребность не отменяла желания "Я" сохранить свою отдельность, отгороженность от других, в результате чего возникло двойственное стремление — к контакту (со "своими") и одновременно к отгораживанию (от "чужих"). Возможно, именно это и стало психологической основой этногенеза, т.е. образования различных этнических групп. В продолжение всей истории человечества (да и поныне) стремление к контакту со "своими" психологически "подпытывает" процессы объединения людей в различные группы, тогда как сохраняющееся стремление к отграничению от "чужих" порождает психологический феномен ксенофобии — объективно ничем не оправданной, неадекватной нетерпимости, вплоть до ненависти, к "инородцам", "иноземцам", "инакомыслящим".

## **"Инстинкт порядка"**

Итак, мы выдвигаем гипотезу, что одной из главных психологических мотиваций, неосознанно побуждающих людей к различным действиям, складывающимся затем в историю, является присущее психике фундаментальное стремление к ориентированности. Это стремление субъективно ощущается индивидом как потребность в наведении и сохранении упорядоченности ("смысла") в своей внутренней "картине мира" (т.е. в своем психическом мире); по выражению того же Бассина, оно имеет характер "инстинкта порядка". Такое упорядочение достигается благодаря тому, что все элементы содержания психики (сознания) человека — его представления о мире и своем месте в нем, о "правильном" и "должном", его пристрастия, желания, ожидания, притязания и т.п. — организуются им в некую иерархическую систему. Она иерархична в том плане, что каждый ее элемент занимает свое место по отношению к некой высшей ценности, которая выполняет роль "главного ориентира", или "цели жизни". Те или иные действия оцениваются человеком исходя из того, соответствуют ли они достижению этой цели. То, что ей соответствует, представляется субъективно "осмысленным" (хотя объективно может и не быть таковым), поскольку оно согласуется с субъективным пониманием "смысла бытия" (с внутренне упорядоченной "картиной мира"). Исчезновение "главного ориентира" влечет за собой распад всей системы; мир и бытие (для данного человека) лишаются "смысла"; и возникающий при этом хаос ощущается как тягостное переживание, близкое к невротическому.

Утрата человеком субъективного "смысла бытия" всегда влечет за собой автоматическое включение механизмов неосознаваемой психологической защиты. Один из способов такой защиты сводится к тому, что человек попросту игнорирует изменения, произошедшие в объективной реальности, не замечает ее несоответствия уже сложившейся у него внутриспсихической "картине мира" и тем самым сохраняет эту картину. Такая защитная "слепота" достигается в результате своеобразного снижения уровня сознания, его регрессии, порой до архаического уровня (о чем будет речь ниже). Но человек может защищать свою систему ценностных ориентиров и другим путем: осознав, что реальная ситуация ей не соответствует, он может попытаться изменить реальность, чтобы привести ее в соответствие со своими представлениями о "правильном" и "должном". Наконец, возможен и третий путь — перестройка своей субъективной иерар-



хии ценностей с целью приспособить ее к новой объективной реальности. Порой, однако, такое приспособление осуществляется за счет искажения представлений о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо", т.е. приводит к извращению морально-нравственных норм.

Какими же способами достигается иерархическое упорядочение внутреннего мира, т.е. придание бытию субъективного "смысла"? Одним из проявлений этой потребности является тяга людей к "концептуализации". Она прослеживается уже в архаическом, или, как говорят, "мифологическом" мышлении, которое объясняло мир с помощью глобальных концепций-мифов. Характерная особенность такого мышления состоит в том, что у его носителей отсутствует какая-либо потребность искать соответствия между своими представлениями и объективной реальностью: для них эти представления убедительны сами по себе и не нуждаются ни в каких доказательствах. Это есть вера в первоначальном значении этого слова. Хотя такое мышление в значительной мере оторвано от реальности, однако на определенном этапе оно внесло свой вклад в историческую эволюцию человечества, послужив удовлетворению его реальных нужд. Так, возникавшие во всех первобытных человеческих сообществах мифы об их общем происхождении отвечали неосознаваемой потребности людей в обосновании своей взаимной сопричастности и тем самым способствовали консолидации празднических коллективов. Можно предположить, что мифы о происхождении, отражавшие напряженный, хотя, казалось бы, и лишенный практической ценности интерес людей к своему прошлому, удовлетворяли также и их потребность в ориентировании во времени. Стремление определить свое место в мироздании могло сыграть определенную роль и в возникновении религиозного чувства, в формировании различных религий.

Более сложным орудием упорядочения являются идеологии (включая религиозные). Их особенность состоит в том, что они не только упорядочивают картину мира, но и указывают оценочные ориентиры (добро — зло, истинно — ложно, прогрессивно — реакционно и т.п.). Эти ориентиры регулируют эмоционально-душевное состояние людей и задают направленность их мыслительным процессам. Кроме того, всякая идеология дает своим приверженцам возможность реализовать их неосознаваемую потребность в сопричастности (с "единоверцами" и "единомышленниками") и в отгороженности (от "иноверцев" и "инакомыслящих"). Можно предположить, что и возникновение морали, как системы указаний "хорошо" —

"плохо" ("добро" — "зло"), тоже обусловлено ее двоякой функцией: она не только регулировала социальные взаимоотношения людей, но одновременно была средством упорядочения их душевной жизни: побуждений, предпочтений, поступков — санкционируя одни и запрещая другие.

Еще одним механизмом упорядочения, или придания "смысла" бытию, является поиск причинно-следственных связей. Несомненно, первые представления о них человек почерпнул из непосредственных наблюдений. Но тот факт, что эти наблюдения были восприняты первобытным человеком со всей безусловностью и легли в основу его мировоззрения, по всей видимости, обусловлен известной предрасположенностью сознания к их принятию. Видимо, эта идея тоже способствовала упорядочению как самой картины мира, так и способов мышления первобытного человека. Как свидетельствуют наблюдения этнографов, архаическому мышлению присущ принцип абсолютного, "жесткого" детерминизма, для которого в мире нет ничего случайного и все со всем связано некими скрытыми мистическими отношениями. Однако эти отношения архаическая психика устанавливает не столько путем отыскания объективных связей между явлениями, сколько по принципу "после этого — значит, вследствие этого".

### Архаическое мышление

Здесь уместно подробнее рассмотреть основные особенности архаического мышления вообще, поскольку это понадобится нам для дальнейшего.

Наряду с примитивным детерминизмом, архаической психике свойственна нечувствительность к логическим противоречиям, и сочетание этих двух особенностей порождает такую черту как магическое мышление. Оно, в частности, проявляется в вере в магические способности некоторых лиц (вождей, колдунов) воздействовать на людей и события. Отсюда — склонность архаической психики к созданию "культов" вождей. Наличие вождя стабилизировало первобытную общину: его воля (указания, распоряжения, толкования) организовывала умонастроения людей, способствуя наведению порядка в их эмоционально-психологическом состоянии. Такое "успокаивающее" влияние личности вождя побуждало приписывать ему мистически-магические способности.

Наконец, архаическая психика характеризуется "коллективнос-

тью" представлений, мнений, мышления, мировосприятия. Это свойство имеет несколько психологических корней. Главный из них связан с тем, что ощущение "Мы" исторически предшествовало ощущению "Я". Другой корень коллективистской психики уходит в неосознаваемое (а потому почти автоматическое) взаимное эмоциональное заражение людей и их взаимное внушение ("суггестию"). И наконец, общность мнений, представлений, эмоций отвечает потребности членов коллектива во взаимной сопричастности. Не случайно для коллективного мышления единодушие существенней, чем соответствие общего мнения реальности, единомыслие важнее истины.

Все эти черты архаической психологии подспудно присутствуют в людях и поныне и время от времени проявляются как в обыденной жизни, так и в общественно-историческом бытии, во многом определяя ход исторических событий.

Архаическая психология легче и чаще всего воскресает в ситуациях неопределенности и опасности, при эмоционально напряженном состоянии растерянности, тревоги, страха. Тогда оживляются "предчувствия", религиозно-мистические настроения, вера в приметы, в гадания. Людей тянет к скоплению, к сборищам. Они полагают, что ищут общения с единомышленниками, но на самом деле ими в немалой степени движет неосознаваемая потребность в деиндивидуализации, коллективизации своих эмоций и страхов. Так возникает феномен коллективного сознания "толпы", проявляющийся во взаимном эмоциональном заражении, повышении общей суггестивности (и, как следствие, — веры в "общее мнение"), в широком распространении то устрашающих, то обнадеживающих слухов (что, в свою очередь, усиливает эмоциональную напряженность). Конечным результатом всех этих процессов становится появление потребности в "спасителе", "высшем авторитете" (суггесторе), который указал бы, "что делать", и тем самым внес определенность в понимание и оценку ситуации. "Спаситель" дает такую определенность, предлагая толпе некое толкование ("смысл") происходящего, причем для того, чтобы толкование было принято массами, очень важно, чтобы оно четко указывало "врага" или "враждебные силы", что дает однозначную направленность ("цель") ходу эмоций, мыслей и действий. В целом, такое состояние общества можно расценивать как социальную невротизацию, а суггестора ("вождя") — как носителя функции "социального психотерапевта", создающего психотерапевтический миф. Действительно, выдвигаемая им концепция (в форме идеи, лозунга, учения) может быть весьма далекой от истины, даже вполне

мифической. На известном историческом расстоянии она порой выглядит совершенно фантастической, и тогда возникает недоумение, почему в свое время она могла казаться убедительной для широкого круга разумных людей.

Этот феномен обусловлен еще одним (чрезвычайно часто наблюдающимся и в повседневной жизни каждого человека) психологическим защитным механизмом, так называемой рационализацией, иначе говоря — неосознаваемой тенденцией сознания обосновать разумными или морально приемлемыми мотивами иррациональное или морально неприемлемое поведение, обусловленное влиянием неосознаваемых мотиваций. В тех ситуациях, когда ложная идея овладевает массами и принимается с доверием даже весьма разумными людьми, рационализация в общем виде заключается в расхожем, но также ложном постулате: "большинство право". Сохранить в таких случаях самостоятельный взгляд на события бывает довольно трудно, ибо это идет вразрез с неосознаваемой потребностью в сопричастности и чревато опасностью стать отщепенцем, то есть "чужим" для "большинства".

В историческом плане описанное выше эмоциональное состояние общества возникает в ситуациях неопределенности, когда социальная обстановка изменяется настолько существенно и быстро, что оказывается в резком несоответствии с устоявшимся укладом жизни и сложившимся мировоззрением, а также с общественными ожиданиями. Видимо, существуют некие пределы скорости психологической адаптации человека к изменениям объективной обстановки.

### **Советская история как невротическая "арханзация"**

Мы могли бы привести множество примеров "невротизации" массового сознания, но лучше всего, наверно, обратиться к знакомой нам всем новейшей российской истории.

Современность началась для России с 1917 года. Политико-экономические обстоятельства, послужившие причиной Февральской и Октябрьской революций, достаточно хорошо известны. Попытаемся посмотреть на те же события глазами психотерапевта, т.е. с точки зрения их влияния на психологическое состояние людей, которое, в свою очередь, обусловило их действия, в конечном счете сложившееся в то, что мы называем советской историей.

1. Прежде всего, говорит психотерапевт, неудачный для России ход первой мировой войны, который, наряду с другими обстоятельствами, вызвал падение авторитета государственной системы, озна-

чал "обесценивание" главного ориентира внутренней "картины мира" — монарха. Это психологически обусловило возможность возникновения первого двоевластия (царь — Дума).

Ситуация двоевластия, в свою очередь, способствовала распаду других ориентиров, прежде организовывавших интрапсихическую "картину мира" в упорядоченную систему. Это породило социальную невротизацию с характерными для нее всеобщей растерянностью и эмоциональной напряженностью.

Слабость Временного правительства обусловила возникновение второго двоевластия (Временное правительство — Советы), что еще более усилило социальную невротизацию, породив в широких массах острую "потребность в порядке". Это психологическое состояние масс сыграло свою роль в привлечении их на сторону большевиков, решившихся взять власть в свои руки ("Есть такая партия!").

Последовавший за этим полный распад административной и социальной структуры общества настолько обострил социальную невротизацию, что создал психологические предпосылки для возникновения гражданской войны.

2. После окончания гражданской войны "порядок" был отчасти восстановлен, но ситуация в стране сложилась не такая, какая ожидалась и массами, и, главное, партией: не возникла мировая революция, не оправдала себя экономическая система военного коммунизма. Психологическое состояние растерянности стало снова нарастать. Введение нэпа еще более усилило эту растерянность. Тяжелым психологическим ударом была смерть Ленина, который в сознании партии (и, отчасти, всего народа) занял место нового главного ориентира. Растерянность в партийных рядах достигла уровня идейного и организационного разброда, вылившегося в борьбу фракций и лидеров за личную власть, усугублявшую общий социальный невротизм.

3. Политические манипуляции Сталина, выдвинувшего концепцию "построения социализма в отдельно взятой стране" и указавшего массам "врага" — Троцкого, усилив накал борьбы, одновременно внесли в нее определенный порядок, что способствовало смягчению социальной невротизации и наделило Сталина авторитетом своеобразного "психотерапевта".

Концепция Сталина, хоть она и не соответствовала объективной ситуации, находилась в согласии с прежней системой идеологических представлений; тем самым она избавляла от необходимости изменять как эту систему, так и психологическое отношение к ней. Это тоже сыграло свою "психотерапевтическую" роль.

С этого момента мы начинаем все чаще замечать нарастающие признаки "архаизации" советского массового сознания. Истосковавшиеся по упорядочению своего внутреннего мира массы начинают все более некритично воспринимать идеи "вождя", увлекаясь их кажущейся непротиворечивостью и игнорируя их несоответствие реальности (последнее достигается с помощью описанных выше защитных механизмов психики.) Сам "вождь" все больше приобретает роль массового суггестора, "властителя умов".

4. Усиление сталинских репрессий было психологически воспринято как не слишком дорогая цена за сохранение идеологической упорядоченности сознания. Таким образом, идеология получила значение высшей ценности, более значимой, чем реальность, то есть приобрела характер догмы. Здесь сработал третий из психологических защитных механизмов, о которых говорилось выше, — изменение системы ценностей: приспособление к догме стала важнее общечеловеческих ценностей, включая нравственные.

Вообще говоря, искажение ценностной системы началось раньше, когда во главу ее была поставлена "мировая революция". Однако этот ориентир все же имел некий нравственный характер — достижение "всеобщего счастья", якобы оправдывавшее частные жертвы. Кроме того, эта идея отчасти имела защитный характер "рационализации" — морального оправдания развязываемых агрессивных инстинктов.

При всей ожесточенности гражданской войны крайности, допускавшиеся с обеих сторон, понимались все же как нравственные отступления, как "грех". В 30-е же годы нравственные ориентиры "хорошо — плохо" были извращены ("беспощадность к врагам" и донос были объявлены доблестью, терпимость, сострадание, гуманность — преступлением), а вскоре полностью утратили смысл. Единственным оценочным признаком стала верность догме и безусловная преданность вождю. Любые отклонения от этих ориентиров расценивались уже не как "грех", а как "ересь", не заслуживающая прощения и, в лучшем случае, искупаемая лишь отречением.

5. Дальнейшее нарастание и расширение террора усилило всеобщий страх и породило новое смятение и растерянность, так как вследствие бессистемности репрессий никто не мог определить систему целесообразного поведения, которое гарантировало бы личную безопасность. Это психологическое состояние масс вызвало в качестве тотальной психологической защиты снижение уровня сознания. На этом фоне оказалось возможным — и относительно эффектив-

ным — включение психологических защитных механизмов примитивной "рационализации". Так, страх перед возможным арестом породил в 30-е годы веру в то, что "у нас зря не сажают". Этот символ веры давал каждому некоторую надежду на "личное спасение" ("меня не посадят, так как не за что"), но одновременно побуждал верить в виновность тех, кого посадили, а это служило своего рода психологическим обеспечением для дальнейшего расширения репрессий.

Надежда на то, что происходящие события имеют некий, пусть не постижимый для каждого отдельного человека, смысл ("потребность в смысле") отразился в таких бытовавших в то время формулах, как "лес рубят — щепки летят" и "значит, так надо", сыгравших также роль своеобразной моральной санкции на происходящее.

Нетрудно заметить, что эти защитные механизмы рационализации основывались на иррациональной, по существу — мистической вере в некую "Высшую мудрость", что как раз и характерно для архаической психики. Действительно, снижение (регресс) уровня сознания способствовало быстрому всплыванию ряда ее элементов. Проявлением одного из них явилась мифологизация Сталина, иррациональная, не нуждающаяся в доказательствах вера в его гениальность и всемогущество, как и вера в таинственное всеведение и непогрешимость "органов" (НКВД).

Сниженный уровень сознания содействовал и оживлению примитивного мистического детерминизма: именно в этом состоит психологическое объяснение того, что никакая социальная неудача, никакая авария, никакое частное упущение не казались случайными, а воспринимались как результат происков неведомых врагов ("вредителей"), состоящих в сложном заговоре и обладающих непостижимыми, мистическими способностями к мимикрии, близкой к "оборотничеству" (а поскольку "оборотень" — он оборотень и есть, то уже не казалось неправдоподобным, что не вызывавший никакого подозрения человек вдруг "оказывался" врагом народа).

Черты архаической психики проявились также в деиндивидуализации личности, в растворении собственного "Я" в массе ("Я счастлив, что я этой массы частица"), в потребности в одинодушии. Отсюда — массовый конформизм, который стал не только нормой поведения, но и заменил собой нравственные нормы, так что стереотипность мышления стала признаком его нормальности.

Следует подчеркнуть, что этот конформизм мышления во многих случаях не являлся сознательным приспособленчеством. С какого-то времени люди начинали искренне думать то, что вынуждены были

говорить. Это обуславливалось бессознательной психологической защитой, направленной на сохранение целостности своего "Я". Такая целостность была достижима только при условии веры в абсолютную правоту и мудрость "вождя"; поэтому истерически-экзальтированное поклонение Сталину и ненависть к его "врагам" имела в значительной мере защитно-компенсаторный характер: преувеличенная уверенность в правоте "вождя" как бы компенсировала людям глубинные сомнения в своей собственной моральной правоте.

6. Развенчание Сталина явилось серьезной психической травмой для многих людей, поскольку это означало очередное исчезновение главного ориентира в их системе ценностей и грозило распадом системы. Для тех, кто наиболее активный, судьбоопределяющий период своей жизни прожил в рамках этой системы, ее крах субъективно означал обесмысливание всего их прошлого. В их сознании возникал трагический психологический конфликт с "законом смысла", что по сути, представляло собой так называемое кризисное состояние личности. Описывая такие состояния, Ф.Е.Василюк в своей книге "Психология переживаний" указывает на возможность выхода из них "творческим" путем, то есть путем перестройки иерархии внутренних ценностей и обретения нового личного смысла. У людей же, не способных к подобному разрешению внутреннего конфликта, выход из кризиса достигается, напротив, путем активации психологического защитного механизма в форме "окаменения" сложившейся прежде "картины мира" и инкапсуляции (замуровывания) себя в ней.

7. В период, называемый ныне "застоем", к прежним причинам социальной невротизации добавилось еще ставшее явным несоответствие объективной реальности и догматизированной идеологической схемы. В этих условиях в сознании многих людей активно включились новые психологические защитные механизмы. У одних людей потребность в отыскании новых ценностных ориентиров и в обретении "смысла" проявилась в оживлении мистических настроений. Именно тогда возродился интерес к парапсихологии, к различным религиозно-нравственным мировоззренческим системам. У других "воскресло" мистическое ощущение всеприсутствия "сил зла", существования сложного таинственного заговора врагов (примитивный детерминизм). Это сопровождалось обострением потребности в объединении со "своими" (по любому признаку — будь то религия, или место проживания, или модус поведения и стиль одежды, или этническая общность и т.п.) и одновременное усиление ксенофобического аффекта.



8. В настоящее время, в период перестройки, происходит коренная ломка всех прежних (экономических, политических, социальных и идеологических) стереотипов, требующая такого же радикального изменения сложившейся у людей интрапсихической картины мира со всеми определяющими ее ориентирами. Это не может не сопровождаться гигантской, поистине всеобщей социальной невротизацией, что мы ныне и наблюдаем. Однако современная ситуация имеет ряд особенностей, которые накладывают свой отпечаток на некоторые проявления этого социального невротизма.

Пожалуй, главная из особенностей нынешней, действительно, революционной ситуации — это неопределенность, несформированность новой идеологии, то есть схематизированной "картины будущего мира", которая могла бы сменить старую в ее роли "упорядочивающего" фактора. Грубо говоря, перестройка пока не может предложить какой-то новой догмы.

Другая особенность перестроечной ситуации заключается в отсутствии указания конкретного "врага". "Бюрократия", "аппарат" — слишком расплывчатые понятия, которые именно вследствие своей неопределенности не способны послужить ориентиром, направляющим ход эмоциональных процессов.

Но эти отличительные качества нынешней "русской революции" отнюдь не ликвидируют само социально-невротическое состояние. Они не могут, например, полностью нейтрализовать такие ее компоненты, как усиление тенденций к "объединению — отграничению", часто включающие в себя агрессивно-ксенофобические аффекты. Вследствие очевидной и общепризнанной насущности перестройки сама ее идея не встречает рациональных возражений. Именно поэтому, можно думать, тенденция к "объединению — отграничению" в настоящей конкретной ситуации пока реализуется не столько по политическому, сколько по иррациональному, не имеющему отношения к сути перестройки, этническому признаку — в форме межнациональных конфликтов (характерное для невротических состояний "смещение аффекта"). По этому же иррациональному этническому признаку направляется и характерный для невротически сниженного уровня сознания поиск "врагов", в котором проявляется невротический тревожный аффект.

### Заключение

В этой статье речь шла лишь об одном из неосознаваемых факторов, влияющих на поведение людей, — о бессознательной

потребности сознания в "ориентированности", т.е. в упорядочении своего содержания. Являясь одной из мотиваций, эта потребность однако в большей степени играет роль регулятора человеческой активности, чем самостоятельной движущей силы. Она осуществляет как бы поиск направления движения; само же движение возбуждается какими-то другими силами. О существовании таких сил мы можем судить хотя бы по тому, что, стремясь к "порядку", люди никогда не достигают его. Каковы же эти другие движущие силы, противодействующие свойственному человеку "инстинкту порядка"? Какие еще неосознаваемые потребности ищут своего удовлетворения в осознанной деятельности людей? Эти вопросы требуют особого обсуждения.

## РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

---

Бен-Барух

### ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ И ПОСЛЕ ПОИСКОВ СМЫСЛА

*Среди классиков современной психологии Виктор Франкл занимает особое место. Венский еврей, родившийся в 1905 году, ученик Фрейда и Адлера, он провел три года в нацистских лагерях смерти, опыт которых описал в книге "Психология, пережитая в концлагере", принесшей ему мировую славу. Выработанное на краю смерти понимание человека и его судьбы Франкл положил в основу созданной им "логотерапии" — нового раздела психологии, занимающегося проблемой утраты людьми смысла жизни, которая стала особенно остро актуальной в наше время. В основе логотерапии — глубокое убеждение, что жизнь требует веры человека в осмысленность жизни; отсутствие смысла порождает состояние "экзистенциального вакуума", являющееся причиной все более распространяющихся по земному шару "ноогенных неврозов". По Франклу, смысл жизни в принципе доступен каждому; он не изобретается, а обнаруживается человеком в мире; он может быть увиден человеком — или в том, что он дает жизни (т.н. "ценности творчества"), или в том, что он берет от жизни (т.н. "ценности переживания"), или, наконец, в той позиции, которую он занимает по отношению к жизни (т.н. "ценности отношения"). Даже оказываясь в обстоятельствах, которые он не может изменить, человек свободен занять осмысленную позицию по отношению к ним и придать глубокий жизненный смысл своему страданию; эту позицию Франкл называет "трагическим оптимизмом". Таким образом, Франкл постулирует, что человек всегда свободен найти и реализовать смысл своей жизни, а сам этот смысл всегда может быть найден. В отыскании смыслов человеку помогает совесть, которую Франкл именует "подсознательным богом"; сам же процесс такого поиска есть одновременно процесс становления человека в его уникальности; этот последний штрих сближает позицию Франкла с основным экзистенциалистским тезисом: "Существование (человека) предшествует (его) сущности".*

Я никогда не пробовал заниматься систематической критикой. Сборник, составленный из работ Виктора Франкла "Человек в поисках смысла", заставил меня пожалеть об этом. В жизни не попадалась мне книга, с которой я был бы столь солидарен и в то же время совершенно не согласен. Это удивительное противоречие подействовало на меня как вызов и побудило выйти на критический турнир, несмотря на недостаточное владение оружием. Ведь критика научной теории, исходящая от неспеци-

листа, вообще говоря, нелепа. И я бы никогда на такое не пошел, если бы не тесное знакомство с предметом, который Виктор Франкл называет экзистенциальным вакуумом. Как мне точно известно, в этом самом вакууме ученая степень, сама по себе, ничего не значит. На этой территории и простолоудин вроде меня может выйти на поединок. Я отвечаю на вызов.

"Когда меня спрашивают, как я объясняю себе причины, порождающие экзистенциальный вакуум, — пишет Франкл, — я обычно использую следующую краткую формулу: в отличие от животных, инстинкты не диктуют человеку, что ему нужно, и в отличие от человека вчерашнего дня, традиции не диктуют сегодняшнему человеку, что ему должно. Не зная ни того, что ему нужно, ни того, что он должен, человек, похоже, утратил ясное представление о том, чего же он хочет. В итоге он либо хочет того же, что и другие (конформизм), либо делает то, чего другие хотят от него (тоталитаризм)".

Вспоминаю: речь идет об одном из сильнейших, глубочайших человеческих чувств — чувстве бессмысленности жизни. Виктор Франкл испытал его. Проф. Франкл находит и формулирует его п р и ч и н ы.

Но ведь причинность бессмысленности — это осмысленность бессмысленности, то есть абсурд! Ведь сам Франкл в другом месте утверждает несводимость духовного к психическому, а психического к психофизиологическому. Как же он не заметил, что бессмысленность несводима к причинности?

Другой характеристикой подхода Франкла к проблеме бессмысленности является выбор понятия "вакуум". Вакуум — это о т с у т с т в и е чего бы то ни было. Экзистенциальный вакуум, по Франклу, — это не экзистенция, а ее отсутствие, которое и необходимо заполнить экзистенциальными смыслами. Их следует найти и реализовать, и тогда вакуум исчезнет и появится ощущение полноты и осмысленности жизни.

А теперь испытаем краткую формулу проф. Франкла на примере.

Вот Пьер Безухов, "утративший ясное представление о том, чего же он хочет". По формуле, он "либо хочет того же, что и другие (конформизм), либо делает то, что другие от него хотят (тоталитаризм)".

То есть, отчасти, так оно и есть. Но насколько же поверхностно это "отчасти"! Потерянный смысл, а вовсе не найденные смыслы (женитьба на Элен, масонство, благотворительность), сообщает жизни высоту и глубину.

Есть интересный вопрос, на бесспорное разрешение которого мне не хватает эрудиции: когда и кем было впервые употреблено понятие "смысл жизни"?

Рискну предположить, что оно сравнительно недавнего происхождения, связано с философским рационализмом и появилось, чтобы обозначить о т с у т с т в у ю щ и й смысл. Вряд ли проблема смысла жизни возникла из смыслового удовлетворения. Смысл жизни — скорее, рациональная гипотеза, предполагающая то, что д о л ж н о б ы т ь. Если же его нет, значит, оно потеряно, его можно и даже должно найти.

Жизнь, таким образом, представляется неким домом, в котором потерянная вещь пропасть не может. Надо только хорошо ее поискать. При всей сложности и запутанности этот дом твердо стоит на своем месте и в принципе завершен. Возможны лишь внутренние перестановки и внешние пристройки.

Именно такого рода представлению отвечает основной тезис развиваемого проф. Франклом экзистенциального анализа: смыслы существуют объективно и априорно, их можно (и необходимо) найти и реализовать. Есть тесная связь между этим тезисом и пафосом прошедшего, пронизывающим его учение. Прошедшее, по Франклу, вечно и неизменно. Совершая поступок, человек тем самым увековечивает свое существование, и никакие грядущие изменения не властны над уже совершенным. Отсюда следует непоколебимая осмысленность жизни, а также величайшая ответственность человека за все, совершенное им, ответственность перед неизменной вечностью. Именно в этой метаисторической вечности полагает проф. Франкл неиссякаемую кладовую объективных смыслов (измерение смыслов — по его собственному выражению). Настоящее как бы перетекает в эту вечность, становясь прошедшим, и вместе с тем оказывается проекцией измерения смыслов. Смыслы существуют в прошедшем и проецируются на настоящее, а человек улавливает проекцию смыслов благодаря совести, которую Франкл называет органом смысла. Реализация найденного смысла заполняет экзистенциальный вакуум и упраздняет экзистенциальную фрустрацию, то есть ощущение бессмысленности существования. Логотерапия — это и есть психотерапевтическое воздействие, возбуждающее совесть и тем самым открывающее пациенту измерение смыслов. Проблема бессмысленности жизни решена.

И все же, попробуем это решение хоть на том же Пьере Безухове. Благодетель открыл Пьеру измерение смыслов, и счастливый Пьер с жаром принялся их реализовать. Но через несколько лет разочаровался в них совершенно, настолько, что последний смысл, на реализацию которого возлагалась им последняя надежда, оказался... покушением на Наполеона. После того, как нелепость и этого смысла ясно обнаружилась, Пьер впал в полную растерянность.

Из этого состояния вывел Пьера Каратаев — антипод Благодетеля. Каратаев не искал смысла и не нуждался в нем. Однако поразил Пьера именно неким совершенством поведения и отношения к жизни. Словно он знал нечто такое, о чем Благодетель даже не догадывался. Пьер, по привычке, пытается определить смысл поведения Каратаева и не может. Каратаев жил так, словно ни смысла, ни бессмысленности не существовало вовсе. Его жизнь была (по терминологии Франкла) проекцией более высокого измерения, но не измерения смыслов, а иного.

Благодетель помог Пьеру найти смысл, которого Пьер не знал. Но со временем Пьер разочаровался в найденном смысле. Потому что смысл не преодолевает бессмысленность, а лишь отвлекает от нее внимание. Как паллиатив это помогает. Но ненадолго.

Измерение смыслов существует. Но существует и иное измерение, в котором нет ничего наперед заданного (тем-то оно и ужасно для аксиоматически-ориентированного разума!). Это однако — не экзистенциальный вакуум, а экзистенциальная возможность нетавтологического продолжения жизни. Не в бессмысленности причина экзистенциальной фрустрации и ноогенных неврозов, а в неготовности разума к встрече с ней и в неумении использовать уникальную возможность, которую она открывает.

Человек не потерял смысл. Он просто **д о р о с** до бессмысленности. И бегство от нее возвращает человека назад, даже если принимает форму поисков смысла.

Проф. Франкл тонко и убедительно показывает, что его учитель, проф. Фрейд, ошибался, полагая принцип удовольствия ведущим мотивом человеческой деятельности. Проф. Фрейд, выводя высшие формы поведения из низших, не заметил их несводимость. Именно понимание этой несводимости позволило проф. Франклу преодолеть ограниченность ортодоксального психоанализа. Но методологически он повторяет ту же ошибку, только заменяет один мотив другим: принцип удовольствия — принципом осмысленности. И не замечает, что осмысление, как и удовольствие, **п о с л е д у е т** поведению, что поступок обретает смысл **п о с т ф а к т у м**. Если же поступок реализует собой некий наперед заданный смысл, то это **р у т и н н о е** поведение, аналогичное инстинктивно-предопределенному стремлению к удовольствию, хотя и на более высоком уровне. А духовное удовлетворение от осмысленности совершенного поступка аналогично психофизическому удовольствию.

Реализовав смысл, человек может быть очень собой доволен, так что ни об экзистенциальной фрустрации, ни о ноогенном неврозе и речи быть не может. Но вряд ли такую психологию можно назвать вершинной, в отличие от глубинной психологии, являющейся предметом психоанализа.

Вершинная психология (если только таковая возможна) должна была бы заниматься **с в о б о д н ы м**, то есть непредопределенным, немотивированным поведением. Ибо только здесь совершаются прорывы, обогащающие существование тем, что оно **н е и м е л о** и что осмысляется задним числом как новая ценность и новый смысл. Самое важное совершается **н е ч а я н н о**, хотя фоном для этого нередко служит целенаправленная деятельность.

Научно-ориентированный разум не приемлет немотивированность, боится ее и создает научные мифы, которые ее дискредитируют. Но большой ученый — больше, чем ученый, и видит ограниченность научного подхода. Виктор Франкл постоянно на страже и корректирует проф. Франкла. "Смысл", — говорит профессор. "Может быть ошибочным", — поправляет Виктор. "Существует в каждой ситуации, для каждого человека", — утверждает профессор, верный традиции философского детерминизма. "До самой смерти человек не может быть уверен в том, что нашел и реализовал истинный смысл", — говорит Виктор, и эта его неуверенность до-  
стовернее уверенности профессора.

В текстах Виктора Франкла рассыпано множество глубоких впечатлений, тонких наблюдений и блестящих мыслей, которые я не позволю себе разбирать именно потому, что лучше все равно не скажешь. А его неукротимое стремление к вершине человечности в любых условиях просто восхищает.

Но вот, к примеру, чеканная формула проф. Франкла: "Смысл должен быть найден, но не может быть создан".

Ведь это же — модификация закона сохранения материи: материя не исчезает и не возникает вновь. В другом месте и по другому поводу сам Франкл сомневается в том, что к психической реальности применим "принцип гомеостаза". Но ведь принцип гомеостаза — это лишь другая формулировка принципа сохранения.

Если психическая реальность его опровергает, то смысл именно *м о ж е т* быть создан. Но проф. Франкл не делает этого вывода, хотя он с очевидностью следует из его собственного опыта врача-психолога. Потому, должно быть, что нарушение принципа сохранения подрывает научный подход, как таковой.

Также и вторая часть формулы (смысл должен быть найден) верна лишь при условии, что смысл существует априорно.

А почему, собственно?! Потому что отсутствие априорного смысла выбивает почву из-под научного подхода, согласно которому *в с е д о л ж н о* иметь причину и цель?

Способ познания, именуемый научным и блестяще проявивший себя на протяжении последних трех-четырех столетий, оказался бессилем перед явлениями, открытыми только в наше время и доселе неизвестными. И это естественно. То же самое произошло и с предшествующими способами познания: начинаясь как стимул, развиваясь как мировоззрение, они превращались в конце в препятствие к дальнейшему познанию, но и в базу для образования и развития нового способа. Так научный подход, опираясь на метафизический, стал неметафизическим. Но не дометафизическим, а постметафизическим. Так и научному подходу последует ненаучный подход, но не донаучный, а постнаучный, то есть опирающийся на научное знание, а не упраздняющий его.

Бессмысленность существования и есть та неизвестная доселе реальность, познание которой требует создания постнаучного подхода. Ибо с помощью научного подхода можно лишь уйти от проблемы бессмысленности "в поисках смысла". Но чтобы понять бессмысленность, научиться существовать в ней, научиться использовать ее для обогащения существования, требуется иной подход и иное мировосприятие. Требуется именно создавать новый смысл — посредством деятельности, немотивированной априорным смыслом, а если угодно: мотивированной смыслом, который еще не создан.

"Уникальный смысл, найденный сегодня, становится универсальной ценностью завтра" — говорит проф. Франкл и не замечает, что универсальные ценности — это ценности *в ч е р а ш н е г о*, а не завтрашнего

дня. Это происходит потому, что научный подход полагает время текущим мимо человека, подобно киноленте, в которой следующий кадр становится предыдущим по мере просмотра.

Но ведь фильм уже снят, уже весь в прошедшем, хотя просматривается в настоящем. В фильме будущий кадр становится прошедшим, потому что он и есть прошедший.

В жизни завтрашний день никогда не становится вчерашним. Зато сегодняшний день становится вчерашним — и завтрашним. Время не течет через настоящее, но происходит из настоящего и переходит — и в прошедшее, и в будущее. Поэтому человек живущий находится в ином отношении к жизни, нежели человек, просматривающий прожитый материал.

Найти смысл можно лишь в прожитом материале. Найденный смысл может показаться новым, но это — то самое новое, которое всего лишь хорошо забытое старое. Прошедшее никогда не заполняет настоящее целиком, и незаполненный остаток страшит своей пустотой. Реализуя смыслы прошедшего изо дня в день, человек, подобно данаидам, носит воду в сосуде без дна. А проф. Франкл пытается убедить его, что поскольку вода — действительно вода — и труд — действительно труд, то и надо сосредоточиться на процессе переноски воды, тем более, что у человека, в отличие от данаид, время ограничено. Но Виктор Франкл знает, что как ни спешить носить воду, нет и быть не может никакой гарантии, что сосуд наполнится: "до конца жизни (то есть именно в конце жизни!) нельзя быть уверенным в истинности найденного смысла", — говорит он.

Развивая свое учение о ценностях, проф. Франкл упускает из виду, что ценность — это результат оценки. То, что он называет универсальной ценностью, является, скорее, универсальной мерой, с помощью которой человек может оценить, определить актуальную ценность своего поступка. Мера априорна, оценка апостериорна. Именно это, должно быть, имел в виду Иисус в притче о талантах. Негодный раб, вернувший господину тот самый талант, который получил от него, противопоставляется добрым рабам, умножившим талант в три, пять, десять раз. Ценности завтрашнего дня создаются сегодня и в этом их уникальность.

Виктор Франкл именно создавал ценности. Но проф. Франкл учит прямо противоположному.

Как пример ценности переживания, Франкл приводит человека, слушающего симфонию и потрясенного ею. "Если спросить его в этот момент о смысле жизни, он не задумываясь ответит, что смысл есть".

Но ведь того же самого человека можно застичнуть при обстоятельствах, когда он столь же решительно ответит, что в жизни нет смысла. И даже если напомнить ему о давнем переживании, это вряд ли поможет. Так когда же он прав?

Десятки миллионов туристов колесят по всему миру, реализуя ценности переживания, и не могут их реализовать, разве что на фото- видеопленке. Сотни миллионов смотрят в кино и по телевидению черт знает что



и находят в этом смысл. А те, кто не находит смысла даже в этом, кончают с собой, спиваются и колются. Шоу-бизнес — это ведь тоже своего рода логотерапия.

Переживание наполняет жизнь только тогда, когда из восприятия готового материала человек творит новое, неизвестное до того впечатление. И возможно это именно благодаря пустоте, бессмысленности. "Нефрустрированные" на это совершенно неспособны. А "фрустрированные" способны лишь настолько, насколько сумели преодолеть ужас перед экзистенциальным вакуумом и понять, что это вовсе не вакуум, а возможность творить.

Наибольшей заслугой проф. Франкла принято считать его учение о ценностях отношения. А я отдаю предпочтение ссылке Виктора Франкла на "упрямство духа". Потому что у кого оно есть, тот обойдется и без учения о ценностях отношения. "А у неимеющего, — как сказал великий психолог Иисус, — отнимется и то, что он думает, что имеет".

Смысл можно найти в чем угодно, и найти его может каждый, потому что у каждого есть прошедшее, а в прошедшем у всего была какая-то причина и какая-то цель.

Но отнюдь не каждый имеет достаточно мужества, чтобы преодолеть полную неопределенность своего будущего в каждый момент своего настоящего. Поэтому вовсе не у каждого есть будущее.

Будущее человек может создать себе сам, преодолевая инерцию уже совершившегося и неопределенность неведомого. Зачем?

В том-то и дело, что низачем. Но если он хочет, он может, и его прошедшее служит фундаментом для этого.

Виктор Франкл смог выжить в лагерях смерти и стать врачом, исцеляющим людей от нежелания жить. Проф. Франкл создал учение о ценностях, которые всякий может найти всегда.

Всеобщность — необходимый атрибут истины! Это ведь тоже один из предрассудков научного подхода. Такие истины очень убедительны за письменным столом. А в жизни такие понятия, как "все" и "всегда", лишены всякого содержания.

В жизни — как на войне: есть тыл, есть передовая. На передовой люди гибнут, но и побеждают. На передовой человек сам себе командир и сам себе солдат, сам отдает приказ "в атаку!" или "ни шагу назад!" — и сам же его исполняет. Или не исполняет.

Это очень тяжело. Чтобы облегчить себе выполнение собственной команды, человек говорит: "я должен!" Но когда он отдает приказ, он знает, что "не должен", что это его свободное решение. И ему страшно собственной свободы. Тогда он говорит себе: "у меня есть ответственность перед..." — и вместо многоточия подставляет Бога, другого человека, идею, мечту или воспоминание. Так он помогает самому себе преодолеть страх перед собственной свободой и совершить свободный акт. Однако тот же психотерапевтический прием может послужить и оправданием отказа от свободы.

Виктор Франкл не замечает этой двусмысленности и побеждает. Проф. Франкл не замечает этой двусмысленности и создает учение о человеческой ответственности, все равно перед чем или перед кем, лишь бы поступок имел смысл.

Проф. Франкл боится свободы без ответственности, то есть свободы, как таковой. И не замечает (я все время употребляю этот оборот, потому что подход проф. Франкла изначально ограничивает его поле зрения), что свобода "под ответственностью" — та же "осознанная необходимость". Виктор Франкл — за свободу. Проф. Франкл, как и подобает ученому, — противник произвола. В результате рождается компромисс: свободный поступок мотивирован совестью. Профессор удовлетворен. Но Виктора продолжает мучить вопрос: может ли человек, еще только совершая поступок, уже знать, что он мотивирован совестью, а не чем-то другим? И Виктор чувствует, что н е м о ж е т.

Оба не замечают, что величайшая заслуга психоанализа состоит в том, что он показывает м о т и в и р о в а н н о с т ь п р о и з в о л а под-сознанием. То есть, что произвол — вовсе не свобода, а н е о с о з н а н - н а я необходимость. А значит, между свободой и произволом нет ничего общего. Зато есть общее между поведением, мотивированным сознательно и подсознательно. Это общее и есть априорный смысл, на поиски которого отправляет проф. Франкл своих учеников.

Спору нет, "ответственность перед..." — более высокий уровень поведения, чем безответственность. Но отнюдь не самый высокий. И здесь уместно, вслед за Франклом, повторить слова Парацельса: "Лишь вершина человека — это человек".

Ценность переживания, будь то радость или горе, непременно содержит и смысл (в этом я с Франклом согласен), ибо опирается на предшествующий опыт. Но главное не в этом, а в том, что человек выходит из переживания иным, нежели в него вошел. При этом он может оказаться и выше, и ниже себя прежнего.

Можно искать и находить в этом смысл. А можно искать и находить в этом нового себя. Человек ищет в переживании смысл, потому что полагает смысл выше себя. И это действительно так и есть, если он не использует обусловленную свободой от смысла возможность преодолеть себя прошедшего. Но если он сумел сделать этот трудный шаг, смысл отступает на второй план, человек становится выше смысла.

Виктор Франкл говорит о жизни, как о самотрансценденции человека. Проф. Франкл добавляет: самотрансценденция к априорному смыслу, ко внешней цели.

Цель и смысл действительно могут послужить поводом к самотрансценденции. Но в поисках смысла и цели человек может и деградировать, то есть найти себя меньшего, предшествующего на ступенях развития. Одержимый смыслом и целью, человек нередко теряет себя. Потому что смысл для человека, а не человек для смысла. Привыкнув во всем искать смысл и цель, человек испытывает непреодолимый ужас перед новым, ко-

того не было, и перед самим собой, которым он мог бы стать. Пустота существования — это вызов, на который ни смыслы, ни цели не могут ответить, и это непрестанная угроза всему осмысленному и целенаправленному.

Виктор Франкл справедливо указывает, что ограниченность жизни не упраздняет ее смысл. "Зачем жить, если все равно умрешь?" — это подлог. Здесь жизнь упраздняется еще прежде, чем наступила смерть. Аналогичным подлогом является и известный силлогизм: человек смертен, я — человек, следовательно, я смертен. Здесь посылка опирается на прошедшее: люди умирали и умирают (умерший даже сяю секунду у же умер). А следствие проецируется в будущее: значит, умру и я. То есть будущее понимается как потенциальное прошедшее.

Но это совсем не так. Настоящее становится и прошедшим, и будущим, а будущее никогда не становится прошедшим. Нет непрерывного перехода между будущим и прошедшим. Поэтому логика прошедшего относится к прошедшему и, отчасти, к настоящему, но никак не к будущему.

Думая о смерти, человек как бы становится лицом к прошедшему и спиной к будущему. И именно так ориентировано сознание подавляющего большинства людей во второй половине жизни. В первой же половине человек обращен лицом в будущее, а в будущем смерти нет. С человеком происходит то же, что с женой Лота: обернувшись, она так и остается на месте соляным столбом.

Молодой Виктор Франкл был обращен в будущее, и это помогло ему обрести будущее, несмотря на близость смерти, а отчасти, и благодаря ей: чем ближе была смерть, тем интенсивнее было стремление от нее, в будущее. Пожилой, умудренный опытом проф. Франкл обратился в прошедшее, чтобы найти в нем смыслы.

Анализ, в том числе и экзистенциальный, анализирует совершившееся, прошедшее. Будущее нельзя проанализировать, его можно только создать.

Фрейд считал, что когда молодой человек задается вопросом о смысле жизни — это свидетельство болезни. Франкл, напротив, утверждает, что именно для молодого человека этот вопрос совершенно естествен.

По-моему, правы оба. У молодого человека мало прошедшего, стало быть, в его жизни действительно недостает смысла. Но он и не должен обращаться в прошедшее и стало быть, ощущать этот недостаток.

Если все больше молодых людей ощущает недостаток смысла в своей жизни, значит — вся наша цивилизация повернула на старость. Она продолжает существовать лишь за счет прошедшего, накопленного, и эта ориентация захватывает и молодых ее представителей.

Проф. Франкл создал психотерапию, облегчающую молодым их старческий недуг. В этом его гуманность и в этом же его заблуждение.

Не смысл нужен человеку, а о б н о в л е н и е. Не в прошлое его надо погружать, а в будущее. Так бросают птенца из гнезда. Это негуманно и

это страшно. Но не потеряв опоры под ногами, нельзя научиться полету.

Человек м о ж е т стать иным, таким, каким не был прежде.

С м ы с л а в этом нет. Человек не должен, не обязан стремиться к этому. Но если он захочет, просто так, низачем, он может.

Однако одного стремления мало. Нужно еще время для того, чтобы передние конечности превратились в крылья. Это — говоря фигурально. А фактически, для этого нужно преобразовать человеческую память таким образом, чтобы она приобрела новую функцию и не затрудняла, а содействовала его взлету.

Если не прилепляться к прошедшему, а отталкиваться от него, прошедшее помогает человеку перейти из настоящего в будущее.

### РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОСТ-ИСТОРИИ

Дух времени пытается избежать уточнения, прикрываясь множеством терминов, оснащенных приставкой "пост": пост-модернизм, пост-индустриальная эпоха, пост-революционная эра. Этот список может быть продолжен — но самый всеобъемлющий из этих эпитетов, "пост-история", удостоился всего лишь апокрифической популярности. В многочисленных статьях, размышлениях и исследованиях лишь походя или вскользь, как о чем-то известном, изредка упоминается, что история приходит к концу и мы переходим в "пост-исторические времена". Это дерзкое утверждение обычно не сопровождается никаким разъяснением, словно оно и не стоит разъяснений. В результате оно воспринимается как своего рода эстетическая шалость, этакий игривый подход к серьезным проблемам.

Прежде чем согласиться, что предмет исторических исследований на наших глазах обращается в призрачный мираж, полезно будет разобраться в этих определениях духа нашего времени, концентрируясь на его предполагаемой — и так настойчиво провозглашаемой — "пост"-ности. Такой анализ тотчас показывает, что упомянутые декларации отнюдь не представляют собой какую-то преходящую моду, как и не сводятся к своему буквальному смыслу — зловещих предсказаний окончательного "завершения чего-то". Мы по-прежнему продолжаем жить в нашем парадоксальном "пост-модернистском модернизме", и все разговоры о "пост-истории" сигнализируют не столько внезапный обрыв предшествующей динамики, сколько исчезновение определенных надежд, возлагавшихся на нее прежде. История продолжается — приходит конец всего лишь уверенности, что она имеет какой-либо смысл. Всевозможные "пост"-диагнозы не лишены содержательности, но это их содержание должно быть четко определено. Нужно понять, на чем они основаны.

Концепция "пост-истории" широко представлена, прежде всего, в работах западно-германских пост-марксистских историков и социо-

логов 80-х годов, связанных с французским пост-структурализмом. Ее возникновение не очень ясно: она старше, чем ее нынешний популярный вариант, и в то же время моложе, чем хотели бы убедить читателя те, кто ввел в обращение сам этот термин. Арнольд Гелен, который первым, в 1952 году, внедрил необычное выражение "пост-история" в немецкую социологию, часто ссылаясь на его употребление в работах А. Курно, которого на самом деле, по всей видимости, не читал. Курно еще в конце прошлого века выдвинул довольно оптимистическое утверждение, что история — это промежуточная переходная фаза между двумя социокультурными ситуациями: с одной стороны, примитивным, основанным на инстинкте первобытным обществом, с другой — цивилизацией, управляемой социоэкономическим разумом. Это утверждение было подхвачено и развито после второй мировой войны Родериком Зейденбергом и Тейяром де Шарденом. Оба эти мыслителя, однако, не пользовались термином "пост-история", и он впервые возник в напряженной интеллектуальной атмосфере франко-немецких споров в канун и после войны.

В этом термине можно выделить два отчетливых корня. Один берет начало в деятельности русского эмигранта Александра Кожева, который под влиянием Хайдеггера обратился к изучению Гегеля и сделал гегелевскую философию популярной в предвоенной Франции времен Народного фронта, когда в парижской интеллектуальной моде первые места занимали сартровский экзистенциализм и хайдеггеровская феноменология. Кожев воскресил из забвения работы Гегеля, созданные в начале девятнадцатого века, когда Наполеон казался философам воплощением "мирового духа" — человеком, который пришел утвердить универсальное царство мирового разума, отменить диалектику господства и подчинения и тем самым привести историю к ее цели и завершению. Будучи коммунистом, Кожев оптимистически переформулировал гегелевскую идею, провозгласив, что подлинным "завершителем истории" является Иосиф Сталин.

После войны, став высокопоставленным государственным чиновником, Кожев проделал новый виток идеологической эволюции и, в соответствии со своими новыми взглядами, заново переставил фигуры на исторической шахматной доске. На этот раз он заменил разочаровавшего бывших коммунистов Сталина повторно вошедшим в моду Наполеоном. Новая реальность послевоенной мировой культуры, казалось, подсказывала, что ее "окончательное завершение" придет в форме наполеоновского аннулирования истории. Американ-

ский образ жизни в его универсализированных, распространяющихся на весь мир формах выдвинулся в качестве преобладающей культурной модели нашей "цивилизации пост-исторических животных", как выражался Кожев. Русские, по Кожеву, мало чем отличаются от американцев, разве что более низким уровнем материального благосостояния, а революция Мао в Китае — это всего лишь запоздалое внедрение Кодекса Наполеона в китайскую действительность. В конце 50-х годов Кожев дополнил свою концепцию утверждением, что в грядущем "едином мире", где будет покончено с диалектикой господства и подчинения (а заодно — с трудом и общественными конфликтами), люди смогут сохранить свою человеческую сущность только в качестве этаких снобов, исповедующих полностью формализованные ценности; проще говоря — им останется симулировать содержательное существование, посвящая себя чисто эстетическим, в высшей степени условным занятиям.

Второй источник концепции, не менее грандиозный по замаху и тесно переплетенный с первым, сыграл куда более важную роль в ее популяризации и распространении среди мыслителей послевоенной Германии. Этот источник восходил к анализу эволюции государственной власти, произведенному Бернаром де Жувенелем во время его швейцарского изгнания. Жувенель находился под сильным впечатлением от кожевского прочтения Гегеля. В начале 30-х годов он входил в круг французских пропагандистов идей бельгийского социалиста де Мана, известного впоследствии своим сотрудничеством с нацистами, а затем стал интеллектуальным глашатаем французского фашизма. Однако в изгнании он совершил полный поворот и снова вернулся к неолиберализму. В своем анализе он приходил к выводу, что в двадцатом веке власть государства стала опасно нарастать в результате возникновения феномена вэлфэра, то есть государственного социального обеспечения масс. Будущее государство, по Жувенелю, рискует превратиться в тоталитарный "вэлфэрный протекторат". Массы с готовностью станут служить и подчиняться такому протекторату; Жувенелю казалось, что он усматривает в его структуре слияние особенностей немецкого фашизма, рузвельтовского "нового курса" и сталинского коммунизма. По Жувенелю, появление всех этих режимов явилось следствием нарастающей структурной скованности деспотической власти и ее неспособности контролировать события. Исчезновение традиционной свободы действий, присущей прежним правящим элитам, и возникающий в силу этого "автоматизм общественной эволюции" были для Жувенеля

свидетельством наступления переходной фазы от истории к не-истории.

Отмеченная Жувенелем угроза нарастающей автономности общественных макроорганизмов стала исходным пунктом для анализа Хендрика де Мана, провозгласившего на этом основании скорое наступление пост-исторической эпохи. В послевоенные годы, когда де Ман был приговорен в Бельгии к двадцати годам тюрьмы за коллаборантство, Кожев перевел на французский его антимарксистскую работу "Социалистическая идея", а Арнольд Гелен сделал ее отправной точкой своих размышлений об отвратительной "статичной мобильности" современной цивилизации: она превращается в гигантский механизм, безостановочно трясушийся от переизбытка яростных сил в своей бессильной неподвижности, лишенной какой-либо одухотворяющей идеи, какого-либо смысла и значения.

Следующим пропагандистом подобных взглядов был Эрнст Юнгер, известный немецкий писатель, связавший свое имя с нацистским режимом Третьего Рейха. В своем романе "Eumeswil" (1972), написанном под влиянием общения с Мартином Хайдеггером и Карлом Шмитом, Юнгер изобразил фигуру "пост-исторического" анархиста, который в минуту жесточайшего кризиса режима отказывается от прежнего места в социальном мире и "удаляется в лес", то есть в своего рода мифологическое одиночество. Еще раньше, в 50-е годы, Ганс Фрайер и Гельмут Шельски, которые некогда вместе с Геленом формировали в Лейпциге "арийскую" социологию Третьего Рейха (или были сформированы ею), выдвинули концепцию так называемой "вторичной системы", порождаемой торжествующей технологией: по их мнению, человечество в ходе развития неизбежно обращается к технологии, чтобы освободиться от природных ограничений и создать свою собственную, "вторичную" реальность; но со временем в этой "вторичной системе" обнаруживаются свои, самопорожденные технологией ограничения структурного и материального порядка. Постепенно они начинают тормозить мобильность истории и разрушать механизмы демократического контроля над развитием.

Эта совокупность идей, уже в 60-е годы привлечших внимание марксистов типа Маркузе, Андерса и других, находившихся под влиянием Хайдеггера и Шмита, оказалась еще более привлекательной для левых пост-марксистов 80-х годов, которые искали, чем бы заполнить и преодолеть идеологическую пустоту, образовавшуюся в результате краха надежд конца 60-х. Размышления Петера Брукнера, посмертно обнаруженные среди его переписки с Геленом, Мар-



кузе и Беллом, позволяют понять, какая картина будущего складывалась в представлении этих мыслителей:

"Буржуазное общество было подлинно историческим обществом. В нем различные эпохи накладывались одна на другую, создавая творческое напряжение, и это наложение — через национальные государства и мировой рынок — объединяло самые разные регионы, народы, социальные процессы и экономики, которые доселе были лишь слабо взаимосвязаны друг с другом. Один итог этого объединения, во всяком случае, бесспорен: именно благодаря ему формы буржуазного индустриального производства начали порождать отностительное единообразие жизненных условий для бесчисленных групп, классов, слоев и провинций. Это универсальное единообразие не имеет прецедентов в предшествующей истории: оно охватывает формы труда и средства транспорта, организацию отдыха и способы обмена информацией, социальную организацию семьи и отношения полов... В результате воздействия этого уравнивающего фактора, органически присущего индустриальному производству, возникает призрак "пост-истории" — человечества, которое становится все более однородным "в своих взглядах и формах поведения, интересах и ценностях" (Гелен)... Итогом этой унификации и интеграции становится новая структура реальности: всепроникающая, повсеместная "нормальность", которая рассматривает всякое отличие, всякую качественную инаковость как абберацию — нечто такое, что, в сущности, подлежит ведению полицейских или психиатров. Все уникальное, специфическое исчезает, сталкиваемое на обочину общества... Различия между сверхупорядоченными эпохами выравниваются и стираются; городские центры и транспортные системы, структура образования и нюансы языка, формы социального общения и даже способы переживания подвергаются всенивелирующей "модернизации". Реальность, становясь таким образом одномерной, перестает быть исторической; она больше не разворачивается в своем саморазвитии, создававшем прежде пространство и время для борьбы соперничающих сил — скорее, она сама становится стороной в конфликте... Даже самые развитые страны неизбежно входят в тень этого "базового противоречия". Теперь это противоречие, этот конфликт состоит в борьбе цивилизации, как целого, стремящейся сохранить достигнутую (технологически) рациональную организацию общества и самовоспроизводство его "нормальности", с одной стороны, — и скрытых в обществе элементов до-буржуазного и пост-индустриального бунта, с другой. Только в этом подспудном противоречии и

кроется еще стимул возможного второго переворота — восстания против структур пост-истории."

Одна из самых странных особенностей всех этих многочисленных глашатаев надвигающейся "пост-истории" — кроме, пожалуй, де Мана и Андерса — состоит в их, так сказать, "оптимистическом пессимизме". Все они убеждены, что мировая цивилизация продолжает свое непрерывное продвижение в сторону все возрастающего единства, благосостояния, технологических достижений, гарантированного вэлфэра и роста потребительства. В их многочисленных утопических этюдах, вроде нарисованных Юнгером, встречаются, конечно, отдельные катастрофы, но они проходят без необратимых последствий: мир остается неизменным. Этих глашатаев и теоретиков пост-истории не тревожит возможность превращения мегамашин или мегакомпьютеров в самостоятельную, автономную силу, которая станет всерьез угрожать человечеству, как не тревожит их и опасность какого бы то ни было всемирного катаклизма или самоуничтожения человечества. Их тревожит, по существу, совсем другое — невозможность, как прежде, руководить миром и направлять его движение: рулевое колесо вырвано из рук капитанов культуры и представителей политических элит. Иными словами: провозглашение ими прихода пост-истории идет рука об руку с нерушимой верой в продолжающийся процесс модернизации. Концепция пост-истории означает, таким образом, не столько реальный конец истории, сколько конец интереса к ней, порожденный утратой веры в роль интеллектуалов как ее главной движущей силы. Как говорил Кожев, от остального человечества уже нельзя ожидать ничего, кроме чисто животного соперничества. Или, как говорил Гелен, "развитие приходит к концу, надвигающееся уже очевидно: синкретическая смесь всех стилей и возможностей, пост-история." И тогда подлинным кошмаром становится не столько какая-либо реальная опасность, сколько бесконечное продолжение этого сомнительного "прогресса" — не столько конец мира, сколько конец его осмысленности.

В мои намерения не входит развивать или экстраполировать эти причудливые прогнозы; я хотел бы, скорее, разобраться, что это за история, которая достигает своего конца в пост-истории, в чем состоят субъективные истоки подобных диагнозов и каково их значение для историка-профессионала.

Иудео-христианская традиция соединяет в себе три представления об истории, неизменно присутствующие и в других культурах,

но здесь образующие уникальное единство: в этой традиции миф о сотворении мира находит продолжение в специфической (линейной) структуре времени, на которое верующий возлагает свои надежды на спасение; о близости же этого спасения (или Судного дня) свидетельствует процесс воплощения Божественного начала в человеческий облик (явление Мессии). Таким образом, религиозные основы иудео-христианской западной культуры уже изначально содержат представление о мире как о чем-то историческом. Эмпирическое изучение этой истории, направленное на сохранение прошлого и выработку критериев оценки повторяющихся ситуаций, поначалу тоже развивалось в рамках этой религиозной доктрины спасения. Со временем, однако, факторы, скрытые в самой природе реального мира, стали подталкивать людей к изменению базовых форм их существования, тем самым освобождая их от цикличности природных процессов. Всякий раз, когда очередные открытия взламывали прежние границы, поставленные миру (поскольку развитие торговли, технологии и отношений власти-подчинения неминуемо высвобождало один сектор жизни за другим из-под ига природы), становилось возможным и новое, эмпирическое объяснение тех или иных элементов этого мира. Тем самым они высвобождались из-под авторитета религиозной доктрины спасения и переходили в ведение иной доктрины — научно-экспериментального объяснения истории и мира. С другой стороны, эта научно-экспериментальная доктрина, поскольку она вырастала в соперничестве с религиозной доктриной "истории как пути к спасению" и в ее рамках, вынуждена была непрерывно соизмерять себя с ее всеобъемлющими претензиями, т.е. стремиться к такой же всеобщности. В результате, научная "история мира", складывавшаяся из отдельных "индивидуальных" историй и эпизодов и постепенно расширявшаяся на весь мир, одновременно становилась новым толкованием его "всеобщего смысла", вытесняя в этой роли господствовавшее прежде религиозное толкование.

Критическое столкновение наступило в тот момент, когда стало возможным утверждать, что вся история и весь мир могут быть объяснены в чисто человеческих терминах, а религиозный элемент должен быть ограничен только сферой отношений между человеком и Богом. Этот процесс начался уже накануне Реформации. К началу Просвещения кризис был уже в полном разгаре. Затем он был дополнен преобразованием социальной сферы жизни, произошедшим в результате политических и индустриально-технических революций.

Вторжение науки в сферу религиозного толкования истории при-

дало интеллектуальным усилиям той эпохи поистине гигантский размах и энергию, поскольку им приходилось конкурировать с грандиозным и всеобъемлющим мифом. То был героический век интеллектуализма, о котором просвещенные классы не перестают ностальгически вздыхать и поныне. В ходе этого победоносного наступления наука высвобождала из-под контроля религиозной "истории как пути к спасению" все новые и новые области. Наступление было систематическим и планомерным: высвобожденные области включались в единую интеллектуальную постройку, охватывавшую весь мир и всю историю. Задачей этого построения было объяснить мир "генетически", придав ему новую осмысленность: теперь развитие истории и становление мира как целого оказывались результатом усилий отдельных индивидуумов и предшествующих человеческих поколений. Главные пути объяснения этой связи были заложены интеллектуальными гигантами типа Канта, Гегеля и Маркса, чьи прометеевы достижения стали ответом на титанический вызов — поставить разум на место мифа; все последующие историки стояли, в сущности, на плечах этих гигантов. Однако в ходе такой замены мифологического толкования мира и истории их научным толкованием разум неизбежно унаследовал от мифа его главную исходную посылку: новая, научная философия истории тоже постулировала, что мир движется к некой конечной цели, а цель эта наделялась теми же качествами, которые в мифе приписывались пост-мессианским временам — вечный мир без конфликтов и противоречий; мировой дух, пришедший в гармонию с самим собой; общество, не знающее эксплуатации и отчуждения.

Противоречие, однако, состояло в том, что построение такого конспективного очерка всей мировой истории, от ее начала до конца, и объяснение всех ее движущих сил требовало резкого упрощения действительности и принятия весьма чреватых предположений. Чтобы толковать историю как осмысленный процесс, нужно было наделить ее этим желаемым смыслом. Впрочем, на первых порах интеллектуалам казалось, что сам ход исторического процесса дает объективную легитимацию этим построениям. В то же время такая философия истории помогала обосновать претензии разума на политическое руководство и упрочить надежды людей найти замену потустороннему миру здесь, на земле.

Эти нескромные претензии противоречили всему опыту прежних цивилизаций. Но они были порождены теми же силами производства, которые, с другой стороны, способствовали падению автори-

тета религии. Одновременно эти претензии, в свою очередь, помогали расширению новой цивилизации: утверждая, что история имеет смысл, и смысл этот состоит в непрерывном социальном прогрессе, философы создавали своего рода "смазку" для самого этого прогресса — раз дело идет к лучшему, то привилегированные слои освобождались от угрызений совести, а неимущие и обездоленные получали основание для надежды.

Всему этому пришел неизбежный конец. Оптимистически-телеологическая "научная философия истории" стала тормозить, встретившись с трением жестких поверхностей социальной реальности. Те эмпирические исследования истории, которые она поощряла, вели к выводу, что история куда более сложна и непредсказуема, чем предполагалось, и не хочет подчиняться тем всеобъемлющим, тотальным прогнозам, которые делались относительно ее направленности. Пресловутый общественный прогресс упрямо не хотел вести к намеченным для него целям — всеобщему братству, вечному миру, духовной гармонии, царству прекрасного и удовлетворению всех потребностей. Уже в конце девятнадцатого века проницательные наблюдатели обнаружили, что общество, напротив, движется в сторону все более окаменевающих структур и бюрократий. Оно с возрастающей неизбежностью опутывало динамичную и целеустремленную буржуазию экономическими цепями и бюрократическими кандалами, одновременно умножая нищету пролетариата и всего остального мира. Пусть прежние властители и исчезли — рабы все равно оставались рабами.

Возможное объяснение состояло в отказе от мысли, будто история управляется неким неотвратимым законом, который можно познать, а познав — ускорить его действие. Если Бог действительно умер, то вовсе незачем менять шило на швайку — превращать надлежащее человеку смирение перед Богом в смирение перед якобы неотвратимым "законом истории". Напротив, нужно "навязать" истории те цели, ради которых человек некогда поверил в миф о грядущем спасении. Для буржуазного индивидуалиста типа Ницше это означало на практике отказ от понимания истории как непрерывного развития, дробление ее на вечно повторяющиеся циклы и, стало быть, лишение ее смысла — с тем, чтобы заменить этот смысл "волей к власти" или асоциальной эстетикой "сверхчеловека". Для какого-нибудь Сореля, представлявшего промежуточную позицию, такой "бунт против истории" сводился к попытке возродить прежнюю витальность и динамику с помощью насилия — в надежде найти

"третий путь" между "капиталом" и "трудом" и объединить их во имя "общенациональных интересов". А на противоположном конце интеллектуального спектра возникла фигура Ленина, считавшего все еще возможным заставить пролетариат подчиниться пусть и неприятным "историческим закономерностям" — путем сосредоточения власти в руках централизованной партийной бюрократии.

В преддверии первой мировой войны все эти волюнтаристские подходы были еще в зародыше, но опыт войны дал им массовую экзистенциальную базу. В послевоенный период они стали весьма динамичной силой, настойчиво искавшей способа насильственной реализации тех идеалов, которые были провозглашены предшествующей философией истории — главенство интеллектуальных элит, достижение национального величия, установление бесклассового общества желательно во всемирном масштабе. Все авторы, которые пришли после второй мировой войны к концепциям пост-истории, были сформированы этим комплексом идеологических представлений.

Теперь мы можем сформулировать наш первый вывод: история, которая объявляется переходящей в пост-историю, — это некая интеллектуальная конструкция, которая предписывает (или приписывает) историческому развитию мира как целого некую определенную цель. Эта конструкция опирается на совокупность эмпирических данных о реальности (события прошлого, природа человека, динамика общественных процессов и структур) и пытается обобщить их в рамках единой связной картины. Поскольку охватить всю эту совокупность не под силу отдельному человеку, создание такой конструкции неминуемо требует ограничиться некой произвольной выборкой тех или иных данных, вырванных из общего ряда. Интерпретация такой выборки опирается на то или иное, интуитивное или нормативное, представление о будущем. Поскольку человек наделен свободой воли, одна из таких интерпретаций может возлагать надежду на изменение наличных исторических тенденций путем волевого усилия людей. Если эти усилия не увенчаются успехом или приведут к катастрофе, нам останется либо искать новой интерпретации реальности, либо утешаться тем, что свобода воли у нас, во всяком случае, осталась.

Концепция пост-истории не представляет собой законченной теории. Скорее, это симптом определенного восприятия реальности. Это термин, нагруженный многочисленными намеками для понима-

ющих. Как я уже сказал, концепция пост-истории исходит, прежде всего, из предположения об осмысленности и целенаправленности исторического процесса, заимствованном из классической философии истории. К нему добавляется некий волюнтаристский выверт: поскольку в реальном историческом процессе такой смысл и целенаправленность обнаружить не удастся, то их нужно в него внести, пользуясь фактором силы. Разум интеллектуалов объединяется с политической властью, чтобы внести в историю желаемую направленность ("смысл"). Это содружество интеллекта и силы не имеет, однако, ничего общего с распространенным мезальянсом, когда наука и искусство протитутуют себя, идя в услужение власти имущим. Напротив: в данном случае дух времени пытается мобилизовать силу революционных средних слоев, чтобы с ее помощью реализовать некую осмысленную конструкцию будущего, противостоящую наличным (или грозящим образоваться) общественным структурам. Попытка такой бунтарской "мобилизации сил" против угрозы исчезновения "смысла истории" отражает, с одной стороны, все те же претензии интеллекта на руководящую роль в истории, а с другой — признание его обнаружившейся неспособности воздействовать на массы. Вина за эту неспособность возлагается на массы вот почему они объявляются в этой концепции таким "бессознательным элементом", который сам по себе не может поставить истории какую-либо цель. Тем не менее этому "духу на краю пропасти", если он все-таки хочет еще восстать против существующих социальных структур, отказываясь уйти в чистую эстетику, приходится неизбежно искать союза с силой, а это значит — с массами, с этой своей постулируемой "противоположностью". И тут мы приходим к третьему предположению, скрытому в глубине всех концепций пост-истории. Их создатели втайне убеждены, что вся затея "союза с массами", союза интеллекта с политической силой в действительности обречена на неудачу.

Чтобы понять, почему это так, следует обратиться к анализу времени появления пост-исторических концепций и психологии их создателей. Время — это послевоенный период, а для последней волны глашатаев пост-истории — начало 70-х годов. Психологически это люди правого лагеря, пережившие фашизм и его разгром, и левого лагеря, ставшие свидетелями вытеснения воинствующих форм коммунизма. Все они в решающие годы жизни были политически активны, причем активны в таких радикальных движениях, которые побуждали массы к действиям, направленным на фундаментальное из-

менение общества. Но еще более характерной для них является краткость этого "союза с массами". Никто из них не стал партийным функционером и не сделал карьеры в политике, многие стали профессорами или писателями, зато большинство по меньшей мере однажды добровольно и резко сменило политическую ориентацию, и это вполне объяснимо. Их становление пришлось на времена, когда мир менялся стремительно и резко, и им приходилось меняться вместе со временем — решительно и страстно. Войны и революции наложили суровый отпечаток на их судьбу: один был вынужден эмигрировать после Октябрьской революции, которой он симпатизировал, в силу своего "буржуазного происхождения"; другой вырос в чужой стране, потому что его отец вынужден был эмигрировать как раввин; пятеро метались между разными странами; еще одному пришлось покинуть нацистскую Германию как еврею и левому интеллектуалу; два так называемых "полуеврея" — один из семьи коммунистов, другой на грани флирта с фашизмом — нашли укрытие на обочинах общества; четверо потеряли работу в результате войны или после нее, еще четверым пришлось после нее уйти в изгнание. Лишь малая часть, все из правого лагеря — Жувенель, Фрейер, Гелен, Юнгер, — добились успеха при всех режимах, но и им пришлось для этого долго ждать. Левым досталось больше: Брюкнер, например, был выгнан с работы, подвергался преследованиям в ходе так называемой "осени насилия и репрессий" в Германии 1977 года и был реабилитирован только посмертно.

Все эти исторические зигзаги биографий наших авторов не сводятся просто к иллюстрации сумбурности нашего времени. Более того, в большинстве случаев их идеологические метания нельзя объяснить и просто ссылкой на "избыточную энергию", обычно свойственную ренегатам. Эти люди не считали себя пешками на исторической доске; более того — они старательно делали вид, будто никогда и не меняли своих убеждений. Их интеллектуальная деятельность была непрерывной, словно они считали необходимым доказать независимость интеллекта от любых обстоятельств. И они действительно не были игрушками в руках истории, как были ими — в большинстве своем — бесчисленные безымянные жертвы войн и диктатур. Их участие в радикальном политическом действии было обусловлено потребностью в "осмысленной истории". В каком-то смысле эти люди незаурядного интеллекта были заурядными мегаломаньяками: им казалось, что можно сохранять дистанцию от масс и властителей и одновременно руководить ими. Иллюзорность этой



попытка стала очевидной, когда их политическая активность, радикализованная поиском "смысла истории", превратилась из оправданной интеллектуальной оппозиции в сомнительный союз с правящим истеблишментом. Ибо тогда они столкнулись с неизбежностью компромиссов, не предусмотренных в их интеллектуальном проекте. В этом столкновении с насильственной реальностью бюрократий их поиск смысла стал почти бессмысленным. Вместо того, чтобы возглавлять союз между интеллектом и массами, они превратились в орнаментальное украшение союза между силой и массой.

Инстинкт самосохранения и самоуважения побудил их отойти от исторического действия. Это поражение в сфере практики они компенсировали новыми интеллектуальными усилиями, на сей раз направленными на то, чтобы скрыть провал своих претензий на духовное лидерство.

Вместо того, чтобы заняться конкретным анализом своего опыта участия в истории и уроков этой истории, они стали пытаться оправдать свой провал, объявив его "неизбежным следствием" особенностей внешнего мира. Эти особенности, провозгласили они, состоят в том, что союз между силой и массой неизбежно становится саморегулирующейся системой, складывающейся на исторически возникшей основе технологического подчинения человеком природы. Однажды сложившись, такая система, при всех несущественных различиях отдельных политических режимов, становится единой и единственной на всей планете и стремится к непрерывному самовоспроизведению независимо от войн и революций. Возникает всемирная "вторичная система", которая не нуждается в новых идеях и не допускает их и постепенно окончательно отделяется от природы: в ней невозможно какое-либо индивидуальное человеческое действие (отсюда — "неизбежность" поражения интеллекта), в ней отсутствует какая-либо осмысленная эволюция. В этом тотальном организме нет места свободе индивидуальной человеческой воли — такая воля может отныне реализоваться только в самых укромных нишах этой тотальности: в фантазиях на тему прошлого, в мифе, в эстетической симуляции, в гипотетических "если бы".

Моя трактовка генезиса "пост-истории" как специфической проекции собственных неудач на окружающий мир, то есть как попытки самооправдания, покоится на внимательном прочтении перечисленных выше авторов. Она исходит из их собственных признаний в утрате ощущения осмысленности истории. Разница лишь в том, что там,

где эти признания обращены вовне, моя трактовка обращена вовнутрь. Но это не означает, будто все концепции пост-истории сводятся всего лишь к самооправданию; напротив, мне кажется, что, изымая элемент самооправдания из этих концепций, мы окажемся лицом к лицу с чем-то объективно ценным, содержащимся в них помимо того. Поэтому присмотримся теперь к их объективному содержанию.

Говоря о мировой цивилизации как целом, авторы всех концепций пост-истории очень часто используют термин "кристаллизация". Этот термин заимствован из биологической теории эволюции, которая утверждает, что биологические виды возникают в результате генетических мутаций и выживания сильнейших; возникшие таким образом виды затем генетически закрепляются и продолжают воспроизводить себя до тех пор, пока могут выжить в соответствующей экологической нише. Переноса эти представления на историю, теории пост-истории рисуют следующую картину социокультурной эволюции: человеческая история приходит к концу своих качественных изменений в силу отрыва возникшего в ней "нового вида" — высокоразвитой, техноиндустриальной цивилизации — от природного окружения и расширения сферы господства этого вида до всемирных масштабов. Став глобальной, эта цивилизация затвердевает и кристаллизуется в структурах, которые начинают воспроизводить себя уже почти генетическим путем. Если угодно, это эволюционная теория модернизации, только изложенная в минорных тонах, поскольку такая "кристаллизация" одновременно означает для пост-историков утрату человеческой свободы и смысла истории, своего рода возвращение человечества в семью чисто биологических видов.

Де Ман и Андерс добавляют к этому прогнозу еще один элемент — стремление к смерти. В этом можно видеть скрытое влияние разрушительного опыта второй мировой войны с ее гигантским деструктивным размахом. Не случайно в программе обоих этих авторов возникают такие призывы, как прекращение войн, ограничение роста, децентрализация власти, защита ресурсов и окружающей среды, социальный мир и развитие нематериальных интересов.

Однако этот идеал, явно несущий на себе печать эпохи просветительства с ее наивной верой в возможность силой разума вернуть отчужденный прогресс на службу человечеству, тут же ставится под сомнение новыми рассуждениями об "энтропии" и "воле к смерти" современного общества. Просветительство не знало таких глобальных концепций уменьшающейся витальности цивилизации, утраты

ею последних степеней свободы и растущего стремления к небытию. Для наших авторов все это — последние исторические "мутации" на пути к полной остановке общественного прогресса.

Эволюционный подход к природе, открытый в девятнадцатом веке, сблизил естественные и гуманитарные науки; казалось бы, на стыке размышлений о конечности человеческого существования и возможном прекращении исторической эволюции общества и мира должны были бы возникнуть какие-то альтернативы традиционным представлениям о прогрессе и модернизации. Однако обращение пост-историков к социобиологическим метафорам ("кристаллизация", "термитное общество") не привело к таким новаторским результатам. Они остались в рамках своего рода социального дарвинизма: человеческий вид как сильнейший распространился по всей планете — стало быть и техноиндустриальная цивилизация как сильнейшая распространится по всей планете. Бесцельность биологической эволюции продлевается в виде прогнозов о бесцельности эволюции общественной. От Кожева через Гелена до Бодрийяра все концепции пост-истории сводятся к повторяющемуся видению будущего, как "пустого" потока событий, с одной стороны нескончаемого, с другой — лишённого смысла и цели.

Легко заметить, что все эти концепции сохраняют исходное предположение той мифологической "истории как пути к спасению", из которой они некогда выросли. Все они постулируют, будто можно сконструировать некое осмысленное "мета-повествование" о мировой истории, сюжет которого будет иметь начало и конец. Они лишь заменяют оптимистическое ожидание, свойственное религиозному "сюжету", пессимистическим апокалипсизмом "сюжета" пост-исторического. Но все дело в том, что повествовать об истории "от начала до конца" возможно лишь при условии, что эти начало и конец нам известны. Поскольку это не так, любая макротеоретическая схема исторических событий всегда остается гипотетической. Построение и проверка такой макротеории — совсем не то же самое, что научная обработка эмпирических данных прошлого, хотя и покоится на этих данных. Главное отличие состоит тут в том, что всякое обобщение, как уже было сказано, требует той или иной интерпретации, как правило — использующей лишь некоторую, произвольно отобранную часть эмпирических данных. Без такой интерпретации становится немыслимым приписать какую бы то ни было осмысленность любой, достаточно протяженной цепи прошлых событий; но нужно трезво отдавать себе отчет, что любая интерпретация, по существу,

"навязывается" событиям, а отнюдь не "вытекает" из них. Все попытки объявить ту или иную интерпретацию "содержащейся в самих событиях" — как, например, в грандиозных циклических теориях Шпенглера и (в несколько меньшей степени) Тойнби — представляют собой не более, чем мегаломаниакальный самообман и дают на выходе всего лишь тавтологические предсказания "будущего" вместо содержательного анализа реальности.

Все концепции пост-истории тяготеют к тому или иному варианту гегелевской философии истории. Все они направлены на осмысленное объяснение генезиса и закономерностей всемирной истории как целого. На этом пути они сталкиваются с двумя трудностями. Во-первых, такие обобщенные объяснения возможны только на узком историческом материале и при достаточно упрощенном подходе к нему. Упрощение же резко сужает прогностические возможности концепции, и ее прогнозы зачастую опровергаются историческими событиями, рассматриваемыми в более длительной перспективе. Во-вторых, как мы уже сказали, история, именно в силу последовательного ("повествовательного") характера ее развертывания, не открывает нам своего "смысла" вплоть до самой последней страницы. Иными словами, история должна действительно подойти к концу, чтобы мы смогли выявить, был ли смысл во всем произошедшем. Всякая попытка короткого замыкания между исходным и конечным пунктом реальной истории с целью обнаружить ее "истинный смысл" остается всего лишь интеллектуальным трюкачеством.

Тем не менее и при всем сказанном эти концепции нельзя просто сбрасывать со счетов. Ведь, с другой стороны, они сохраняют значение серьезной попытки охарактеризовать современную социальную конфигурацию и ее отношение к человеку. В этом плане поразительно, насколько сходны все такие характеристики, появившиеся после второй мировой войны — "мегамашина" Мамфорда, "пост-индустриальное общество" Белла, "социальный протекторат" Жувенеля, "вторичная система" Фрейера, "новая нормальность" Брюкнера. Всем этим диагнозам присуща релятивизация (то есть объявление относительными и несущественными) различий политических режимов, отношений собственности и других базовых категорий традиционной социальной теории; вместо них на первое место как решающая особенность выдвигается складывающееся глобальное единство техниосоциальной структуры, ее выход из-под человеческого контроля и обретение ею способности к автоматическому самовоспроизводению. Эта структура объявляется сложившейся истори-

чески, но уже не принадлежащей более к истории — поскольку в ней нет больше тех фундаментальных противоречий, который могли бы привести к ее радикальному изменению. Что же до тех противоречий, которые все еще остаются, то они рассматриваются как локальные и маргинальные, а потому легко канализируемые.

Согласно утверждениям теоретиков пост-истории, этот процесс социальной гомогенизации может наблюдаться уже и сегодня и притом сразу в нескольких планах, каждый из которых связан с техническим прогрессом. В плане экономического рост производительности труда сделал возможным относительно широкое массовое благосостояние без классовой борьбы, с преобразованием конфликта между трудом и капиталом в их, пусть и напряженное, сотрудничество. Такое сотрудничество облегчается благодаря наличию профессиональных организаций и смягчается благодаря росту сферы обслуживания и государственных общественных услуг. В социалистических странах такая гомогенизация зашла еще дальше в силу государственного контроля над организацией и распределением труда и капитала, но здесь унификация жизни менее эффективна.

В плане политическом рост государственных бюрократий ведет к быстрому исчезновению сфер жизни, свободных от государственного вмешательства, от правительственных субсидий и поддержки (в особенности, в виде вэлфэра), от навязанных властью ограничений личных и общественных свобод. По мере отвердевания этой компактной и статичной структуры в ней остается все меньше места для возникновения общественной оппозиции и каких-либо серьезных политических преобразований. С другой стороны, все потенциальные конфликты разрешаются, в основном, с помощью периодического перераспределения плодов экономического развития, что делает всех членов общества лично заинтересованными в сохранении и воспроизведении сложившейся структуры.

Наконец, в плане культурном происходит эрозия относительной независимости и специфики региональных и классовых культур, чему способствует высокая мобильность населения, государственно контролируемая система образования и всепроникающие средства массовой информации. Специфические культуры вытесняются рыночной культурой атомизированных масс, чьи пространственно-временные горизонты становятся все расплывчатей, культурой, в которой уже неразличимы кажимость и реальность, а симуляции и подобию более привлекательны и порой даже более реалистичны, чем сами первичные факты. Главной особенностью этой культуры является проти-

воречие между желанием и поведением индивидуума: его практическое поведение определяется экономическими и бюрократическими ограничениями реального мира, тогда как его желания находят удовлетворение не в реальности, а в причудливом фантастическом мире пляшущих красок и изображений.

Эта качественная характеристика современной социальной реальности, предлагаемая теоретиками пост-истории, действительно находит подтверждение во многих фактах повседневной жизни. Другое дело — с каких позиций предлагается такая характеристика. Во всех пост-исторических прогнозах звучат интонации неких "наблюдателей с Марса", этаких отстраненных созерцателей, которые настолько далеки от реальности, что могут взирать на нее как бы сверху или со стороны. Если кого-то интересует, какой видит нашу цивилизацию "наблюдатель со стороны" (а проще говоря — человек, выпавший — или вытолкнутый — из истории), ему наверняка стоит внимательно прислушаться к этой критике. Но и при этом не следует забывать о присущей ей внутренней ограниченности. Историческая ограниченность прогнозов всех глашатаев пост-истории связана, прежде всего, с их ошибочным толкованием отношений между интеллектуалами и массами. Образованные буржуа, они никак не могут смириться с мыслью, что сами составляют часть этих масс, — ведь тогда им пришлось бы вообще отказаться от концепции "нерасчленимой, бессознательной массы" и рассматривать ее как совокупность индивидуальностей вроде самих себя. Их выделение себя из "массы" сродни тому отчуждению от истории, которое придает их наблюдениям ценность "взгляда со стороны". Но, как мы видели, такое отчуждение, повышая обобщающую силу взгляда, неизбежно ограничивает перспективу наблюдения. Точно то же происходит в их теориях с человечеством. Все современники чохом зачисляются в нерасчленимое понятие "массы" без учета их индивидуальных, социальных и прочих различий. Способ коррекции этой ошибки очевиден: острие анализа должно быть переориентировано с поиска общего на осознание различий — между людьми, культурами, социальными и политическими системами и так далее.

Еще сложнее вопрос о сознательности масс. Пост-историк не считает себя частью масс, потому что массы, по их мнению, характеризуются инстинктивной и механистической реакцией на социальные требования и лишены способности постигать историю и совершать изменения в ней. А поскольку массы бессознательны и бездеятельны, то постулируемая пост-историками "глобальная социальная

структура", естественно, вольна "выходить из-под власти истории" — ведь никто ей в этом не мешает. Иными словами, анализ и прогноз пост-историков был бы, по всей видимости, куда менее пессимистичен, если бы массы в нем были наделены сознательностью, то есть, несмотря на глобальность структурных ограничений, располагали бы той же свободой мысли, которую наши теоретики приписывают себе. Как только созерцатель масс начинает осознавать, что он сам является их частицей, они тотчас распадаются в его представлении на отдельных индивидуумов, осознающих свою включенность в социальные процессы, сознательно реагирующих на ход этих процессов и занимающих позицию по отношению к ним. Разумеется, это вовсе не обязывает нас к иллюзорным надеждам, будто такой индивидуум сможет сам по себе произвести существенное изменение в этих процессах. Но ведь он не одинок — той же сознательностью обладают и миллиарды других, так что огромности проблем противостоит теперь огромность человеческих масс — и тогда возникает реальная надежда.

Пост-исторический диагноз видит в нынешней цивилизации социальную структуру, сформированную объективным процессом гомогенизации-унификации, расширяющимся от центра к периферии. Этот процесс не оставляет больше места качественным изменениям: созданная им структура идет к отвердеванию и кристаллизации в масштабах всей планеты. Сохранившиеся еще отклонения представляют собой остатки предыдущих эпох, элементы не-европейского мира и всевозможные эстетические симуляции. Естественно, что в ходе такого процесса становится маргинальной и сама роль интеллектуального лидера. А тогда уже лишённые интеллектуальных лидеров "массы", естественно, становятся покорными объектами автоэволюции "глобальной структуры" — и вот уже перспектива "пост-истории" навязывается как бы сама собой. Но достаточно отказаться от противопоставления интеллигенции и масс, столь лестного (и необходимого) для самоописания интеллектуала, как тотчас становится возможным, сохраняя то верное, что есть в пост-историческом анализе, увидеть и реальные возможности воздействия людей на историю — всех людей, а не только интеллектуалов! При таком изменении подхода изменяется и статус самого пост-исторического анализа: перспектива полной унификации и автономности социальных структур утрачивает привкус неизбежности и обретает всего лишь характер грозящей опасности, — а угроза может побудить к противодействию. Иными словами: пост-исторический анализ может

стать историческим, если видеть в нем не столько окончательный глобальный диагноз, сколько своеобразную антиутопию, предостерегающую от опасности возможной утраты всяких перспектив социального и культурного прогресса в развитых индустриальных обществах.

Противопоставление интеллектуалов массам не способно подвигнуть людей на активное участие в созидании истории. А в такой ситуации социальной пассивности история действительно может прийти к концу — или взорваться — уже не в теории, а на практике. Такой итог всегда подстерегает историка, когда он ориентируется только на фундаментальные коллективные понятия, замыкаясь в кругу простых — и упрощенных — представлений о бессознательных, бездеятельных массах и безымянных, бесконтрольных политических силах. Возрождение подобной "политической теологии" сигнализирует о банкротстве интеллекта и культуры как посредников между противостоящими друг другу силами; в этом случае столкновение таких сил может обернуться только насилием. Противоположная возможность — это пресловутая "кристаллизация", которая действительно вполне способна возникнуть в результате автономного функционирования "вторичной системы", ее культурного паралича и тех последствий, которыми она угрожает человечеству. Эта опасность, реально коренящаяся в современной цивилизации, может быть подчеркнута и описана интеллектуалами, но уменьшить ее могут только действия "масс" — коллективов людей, наделенных свободой воли, выбора и ответственности, к которым принадлежат также и сами интеллектуалы.



### РУССКИЙ ГЕРОЙ В ИЕРУСАЛИМЕ

"Евгений Онегин из Кирыт-Йовеля" — так называют друзья Фиму (Эфраима) Нисана, героя последнего романа Амоса Оза "Третье состояние". Кирыт-Йовель — новый иерусалимский район не из самых богатых, на дворе зима 1989 года, дождь, а радио рассказывает про интифаду. Фиме — за пятьдесят; несмотря на характерное русско-еврейское имя, он — местный уроженец (из России в свое время приехали его родители). Жизнь прожита бесцельно, от нее остался сборник юношеских стихов, два развода и множество холостяцких романов. На сегодняшний день — двухкомнатная квартира, купленная в свое время отцом, служба в частной гинекологической клинике (чиновник в регистратуре — как же иначе в русском романе?) и полная бытовая беспомощность (тоже характерная деталь...). Но именно этого нелепого, вроде бы никчемного человека одолевает смутное, но необоримое желание примирить всех вокруг, он чувствует свою вину за все зло на свете, и в какой-то переломный момент судьбы ему суждено пережить Третье Состояние.

#### Кое-что о родословной

На обложке романа, выпущенного издательством "Максвелл — Макмиллан — Кетер", главный герой характеризуется, на мой взгляд, достаточно точно: "пророк и шут с субботних трапез, бедный родственник иерусалимских пророков и русских правдоискателей". О фирменном "шутовстве" и нелепости мы еще будем говорить, а по поводу второй части характеристики отметим, что еврейские пророки и русские правдоискатели тоже не совсем чужие друг другу (неудовлетворенное стремление к "жизни по правде" является характерной чертой обоих народов), и Амос Оз, большой вообще сторонник всякого культурного "мичуриновства", максимально использует и обыгрывает "русскую" прививку к еврейскому стволу,

столь важную для современной израильской культуры. Говоря о российской ветви Фиминой родословной, скажем, прежде всего, что к моменту, когда мы с ним знакомимся, он до конца проделал эволюцию, которую Юрий Тынянов еще в двадцатые годы приписывал русскому герою, а именно "изъюморизировался, стал объектом насмешливого психологического анализа и окончательно опустилсЯ"<sup>9</sup>).

Здесь нужно добавить, что герой Амоса Оза — не только объект иронии, но и носитель ее. Фимина ирония по отношению к самому себе постоянно присутствует в романе и особенно усиливается к концу — поближе к озарению, названному в романе Третьим Состоянием.

А как, простите, всерьез относиться к человеку, который все утро просиживает один в неубранной квартире, слушает радио, прерываясь с дикторами и поправляя им иврит, и всем подряд, включая таксистов, объясняет, что территории нужно отдать? Этот "карфагенский" мотив израильской левой интеллигенции превратился у Фимы в навязчивость, и он к самому Ицхаку Шамиру чуть было не зашел поговорить по душам — слава Богу, полиция не дремала... Да и вообще, уходя из гостей, Фима каждый раз запутывается в рукаве куртки, а пуговицы у него никогда не застегнуты, как надо. Одним словом, недотепа, да и только!

Отец, хозяин парфюмерной фабрики и старый харьковский еврей Барух (Борис) Номберг, пользуется другим словом — "шлымазл". К русскому недотепе сей персонаж имеет примерно такое же отношение, как кантор к дьячку. Существует и другой вид еврейского недотепы — "шлумизель". Оба получают у старика определение, поразительно напоминающее аксиому евклидовой геометрии: шлумизель проливает горячий чай — на брюки шлымазлу. "Шлумизель и шлымазл бессмертны — продолжает Барух Номберг — рука об руку путешествуют они из страны в страну, из века в век, из рассказа в рассказ. Как Каин и Авель. Иаков и Исав. Раскольников и Свидригайлов. Перес и Рабин..." И правда, сегодня мы встречаем их на иерусалимских улицах, а век назад похожие недотепы-правдоискатели в чеховском вишневом саду мечтали о том, как хорошо будет жить лет через пятьдесят... Такие мечтания одолевают и Фиму. Ему воочию грезится человек, который поселится в его квартире через сто лет, даже имя у него есть — Иоззер, и окружать Иоззера будут

---

<sup>9</sup>Ю.Н.Тынянов. *Поэтика. История литературы. Кино.* — М. "Наука", 1977 — стр. 145.

логичные, рациональные люди, не такие, как сам Фима. Потом, правда, нашему герою более в духе двадцатого века начинает казаться, что через сто лет здесь не будет ничего — очень скоро сирийцы погонят танки на Голанские высоты, Израиль в ответ применит ядерное оружие... И все равно Фима, по своему обыкновению, не перестает полемизировать с будущим постояльцем его квартиры, а когда в поликлинике, где он служит, делают аборт, ему представляется, что это отнимают жизнь у дедушки Иоэзера...

### "Дядя самых честных правил" и другие

Если героя на протяжении романа два раза обзывают Евгением Онегиным, видимо, нужно принимать это всерьез. С пушкинским героем мы знакомимся в момент, когда он получает наследство. Наш иерусалимский дворянин тоже получает наследство — в конце романа и под конец жизни. В момент, когда он меньше всего этого ожидает, Фима становится владельцем парфюмерной фабрики. Герой Амоса Оза — кто угодно: мечтатель, бездельник, шут, неряха, спорщик, бабник, дилетант, правдоискатель, но только не деловой человек и уж, конечно, не фабрикант. Утешением ему служит только, что, ничего не понимая в производстве духов и одеколонов, в других житейских делах он смыслит не больше. В любом случае отвертеться не удастся: "ведь скоро ему предстоит встретиться с рабочими, узнать про условия их труда, и что можно улучшить..." Одним словом, "ярем он барщины старинный оброком легким заменил, и раб судьбу благословил..." Разве что Евгению Онегину не так угрожало банкротство...

Тем не менее, передавая фабрику в наследство, старик-отец явно что-то да имел в виду. В его завещании по этому поводу мы находим по-еврейски ироническую и по-еврейски традиционную формулировку: "...все мое имущество завещаю единственному сыну Эфраиму Номбергу-Нисану, весьма преуспевшему в различении добра и зла — в надежде, что в дальнейшем он не ограничится упомянутым различием, но посвятит все свои силы и таланты творению добра и уклонению от зла".

Он был очень традиционным евреем, старик Номберг, речь свою пересыпал анекдотами и хасидскими притчами, а в доме у него стоял неповторимый "ашкеназийский" запах, который сам Фима определяет как "запах бедствия".

Евреи, как известно, бывают двух видов — практичные и непрак-

тичные. Старый Барух Номберг был еврей практичный, при всем своем сионистском идеализме твердо стоял на земле и уж, конечно, не разделял Фиминого "левого" прекраснодушия. Сам человек левых взглядов, Амос Оз явно испытывает глубокий интерес к людям противоположных воззрений, и очень часто в его вещах один из главных героев — "правый" (Шрага Унгер в "Поздней любви", Мишель Соммо в "Черном ящике", не говоря уже о "правых" персонажах публицистического сборника "Здесь и там в Земле Израиля"). Впрочем, Барух Номберг к особо идейным правым не относится, в ближневосточную проблематику не слишком вникает и искренне считает Индию одной из арабских стран... Таков "дядя самых честных правил", чье наследство получает наш новоявленный Евгений Онегин. Другой русский герой, который в романе не назван, но все время вспоминается — это Илья Ильич Обломов. Захар, правда, куда-то девался, и рубашка у нас потому застегнута неправильно, зато Штольц, безусловно, в наличии. Зовут его Тед Тобиас, и он, как положено, говорит с иностранным акцентом (американским).

Вообще говоря, лучший способ столкнуть лбами полярно противоположных героев — это сделать их родственниками или, на худой конец, свояками. Про Фиму и его отца мы уже говорили. Фима и Тед Тобиас в разное время были женаты на одной и той же женщине — Яэль Левин. Такое построение мы уже встречали у Амоса Оза в "Черном ящике" — там одна и та же героиня поочередно выходит замуж за левого светского аншкенази и правого религиозного сефарда.

Тед Тобиас — человек максимально деловой и логичный, что-то вроде народившегося Иоззера и его друзей. Настолько логичный, что жене его, когда-то сбежавшей от сумбурного Фимы, порой становится тошно и с ним. "У Тедди всегда порядок на все сто процентов — жалуется она Фиме — нет, чтоб хотя бы на девяносто девять! Не человек, а настенный календарь, куда записывают текущие дела, а потом зачеркивают и записывают новые. Сегодня утром он предложил мне сделать подарок на день рождения — поменять распределитель тока на трехфазовый. Ты слышал о таких мужьях и таких подарках?"

Отношения между обоими героями — внешне вполне пристойные. Фима бывает в доме, по вечерам, когда родителей нет, развлекает сына Теда — очень галутного еврейского мальчика с русским (опять!) именем Дмитрий (Димми) и засыпает в самом неудобном месте и самой неудобной позе. На невыносимого Фиму сердятся, но

терпят и снова приглашают — что-то в нем есть такое... Заставляет же что-то жену друга приходить в кирьят-йовельскую квартирку, устраивать генеральную уборку и заодно изменять с ним мужу! Да и знакомая по гинекологической клинике стареющая красавица Анет Тадмор, женщина с семейной драмой и большим самомнением, однажды проговаривается: "Ты ангел, Фима!" В чем дело? Может, просто, этому бестолковому человеку хочется, чтобы всем было хорошо, и он готов всех выслушать и понять, кроме, разве, что, политических и идейных противников, да и к тем он меняется после одного события...

### Что такое Третье Состояние

Если в русской литературе есть петербургские романы, то "Третье состояние" — роман иерусалимский<sup>\*)</sup>. Святой Город является одним из полноправных его персонажей, и это естественно, потому что жить в Иерусалиме и быть свободным от Иерусалима — невозможно. Город этот вторгается в вашу жизнь, разговаривает с вами и, во-

---

<sup>\*)</sup>Кстати, русской литературе тоже есть, что сказать об Иерусалиме, и не исключено, что это один из подтекстов романа Амоса Оза. Сравним, например, два отрывка.

*"Мастер и Маргарита": "Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонеийский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана".*

*"Третье состояние": "...в ту же минуту Фима почувствовал, как всей тяжестью на Иерусалим навалилась тьма. Тьма над минаретами и куполами, тьма над стенами и башнями, тьма над каменными дворами и древними сосновыми рощами, над монастырями и оливковыми деревьями, над мечетями и пещерами, над могилами царей и пророков истины и лжи. Тьма в кривых переулках, над правительственными зданиями, над воротами и развалинами, над каменистыми полями и поросшими колючкой пустырями. Тьма над возделениями, злыми замыслами и безумными видениями, над горами и пустыней. С юго-запада, поверх холмов вокруг деревни Эйн Карем, наполнили тучи, словно невидимая рука потихоньку опускала занавес".*  
*Случайность?*

обще говоря, может сделать вас другим человеком, что и произошло с героем Амоса Оза. В день смерти отца, в корне перевернувшей Фимину жизнь, у Фимы вдруг отключают телефон — за неуплату. При фантастической рассеянности недотепы-правдолюбца — поворот дела вполне ожидаемый, и наш герой вдруг оказывается отрезан от женщин, от друзей, которым можно надоедать, от привычной шелухи политических споров — и тут вступает в дело знаменитое иерусалимское освещение...

Впрочем, предоставим слово автору: "...Фима подошел к окну, чтобы привести в порядок мысли. По склонам холмов, словно благородный металл, разливался зимний свет... Свет касался горных хребтов, соскальзывал в овраги, пробуждая в каждом камне и дереве его истинную, сверкающую сущность, обычно скрытую в серых, мертвящих буднях. Похоже, уже тысячелетия назад здесь, в Иерусалиме земля потеряла способность обновляться изнутри, и лишь краткое прикосновение благодатного света возвращает вещам их первоначальную природу. Удостоите ли меня, ваша милость, хоть легкого кивка, если стану сейчас на колени и произнесу слова благодарности? Может, ваша милость, вы хотите от нас чего-то конкретного? Мы вам еще нужны, ваша милость? Зачем вы нас здесь поселили? Зачем избрали нас? Зачем избрали Иерусалим? Вы еще слышите нас, ваша милость? Небось, усмехаетесь?.. Фима вдруг ощутил, что свет и грязь, цветы миндаля и сияние небес, пустыня, простирающаяся отсюда на восток до Междуречья и на юге до Баб эль-Мандебского пролива, что между Аравией и Эфиопией, его собственная ободранная комнатка и стареющее тело и даже испорченный телефон — все это лишь выражения одной и той же сущности. Сущности, которой суждено дробиться на бесчисленные несовершенные воплощения, но пребывать вечной, единой и совершенной... Фима подумал, что иногда сон кажется честнее бодрствования, иногда — наоборот, крайняя степень бодрствования желаннее всего. Он решил, что состояний даже не два, а три — сон, бодрствование и этот свет, заливающий все изнутри и снаружи. Подходящего обозначения Фима не нашел и назвал то, что чувствовал, Третьим Состоянием. Он ощущал, что свет излучают не только горы, но и он сам, и так рождается Третье Состояние — одинаково близкое к полному бодрствованию и самому глубокому сну и, вместе с тем, отличающееся от обоих".

Странные вещи творятся с левым интеллигентом, убежденным антиклерикалом Эфраимом Нисаном — ему приходит в голову, что

самая страшная потеря — за делами и газетными новостями упустить Третье Состояние, и от этого — все несчастья, вся безвкусица жизни... Фима начинает ощущать, что и вся жизнь — это поиск чего-то существенного, что, вроде, близко — а не ухватишь, идешь к нему — а все сбиваешься с пути... Так мы неожиданно оказываемся в атмосфере хасидских притч старика Номберга, хотя толстовских героев, видевших небо, тоже здесь не нужно забывать.

Как, пожалуй, и следовало ожидать, просветленный и душевно очистившийся Фима понятия не имеет, что делать с открывшейся ему истиной, которую он не в силах передать словами. Сумбурная попытка что-то растолковать бывшей жене оканчивается крахом, он выходит от нее в состоянии какой-то странной эйфории и идет пешком домой через Иерусалим, готовящийся к встрече субботы. Этому анабазису посвящена целая глава, где Амос Оз сталкивает Фиму с ешиботником-сефардом, пытающимся его "охмурить" и заодно, в порядке заботы о человеке, продать по дешевке автомобиль (просветление — просветлением, а религиозного опиума нам не надо...), проводит через толпу, собравшуюся по случаю очередного "подозрительного предмета", заводит в кафе и религиозное туристическое агентство... Перемещение в пространстве сопровождается путешествием во времени — по дороге Фима вспоминает детство, исчезнувший ресторанчик на улице короля Георга, куда всей семьей ходили обедать, и его хозяев — немецких евреев... Добравшись до дома, он узнает, что отец умер вскоре после того, как сам он пережил Третье Состояние...

Фима в трауре — это уже несколько другой человек. Друзья пытаются развлечь его разговорами о "положении на территориях" (как мы помним, тема эта всегда была для него любимым коньком), но Фима не откликается... Да и вообще с ним творятся удивительные вещи — в течение дня он повстречался с религиозным поселенцем и уже упоминавшимся ешиботником и не начал задиаться ни к тому, ни к другому... Конец романа — достаточно символичен. Поздно-вечером Фима выходит из дома, бесцельно гуляет по улицам и заходит в кино. Фильм — не тот, на который он хотел попасть, надо бы уйти, но герой наш слишком устал... В последних строках романа — весь Фима и, возможно, вообще вся наша жизнь: "То ли от усталости, то ли от необычной душевной легкости он продолжал сидеть в кино, запахнувшись в отцовскую куртку, глядел на экран и все спрашивал себя — зачем герои фильма так мучают и обижают друг друга? Что им мешает друг друга чуточку пожалеть? Если бы только люди на

экране захотели немного послушать Фиму, он бы им объяснил, что, если они хотят почувствовать себя дома, нужно оставить друг друга в покое, да и каждому самого себя тоже. Постараться проявлять доброту — насколько это только возможно, покуда видят глаза и слышат уши, как бы ни наваливалась усталость. Проявлять доброту, но что это значит?

Вопрос показался Фиме странным, так просто все было. И он без труда продолжал следить за сюжетом, покуда не сомкнулись его веки и он не уснул в кресле".

И здесь героя моего в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим... Евгений Онегин из Кирыт-Йовеля тоже остается без авторского присмотра в ситуации полной неопределенности — даже забытый у него перстень Анет Тадмор (той самой, что называла его ангелом), который Фима в последних главах романа неоднократно порывался ей вернуть, в момент нашего прощания с героем все еще лежит в кармане его куртки. Подобно пушкинскому прототипу, роман Амоса Оза об иерусалимце, сыне харьковчанина, его друзьях и подругах — структура принципиально открытая и незавершенная, допускающая неограниченное число толкований. Потому попра- щаемся с читателем и мы.



## ИСКУССТВУ ПРИНАДЛЕЖИТ

*Искусство принадлежит Ленину.  
Народ*

Вот книга, которая с изрядным (почти пять лет) опозданием попала в мои руки: том 3А "Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны", издаваемой К.Кузьминским и Г.Ковалевым (США). Основными авторами и героями этого тома являются харьковчане. И я оттуда. В Харькове прошла моя молодость, там остались друзья и могилы родных. И там же тридцать лет назад я начал писать критику.

...Начало 60-х. Литературная студия при одном из харьковских дворцов культуры. Студией руководит поэт Борис Чичибабин. Посещают ее занятия Александр Верник, Юрий Милославский — тогда просто Саша и Юра. Иногда захаживает Эдик (не знаю — уже Лимонов или еще Савенко). И я там околачиваюсь. С Юрой не лажу, стихи его не люблю, а еще больше не люблю его самого — за зазнайство и высокомерие по отношению к товарищам и даже к руководителю, которого почитаю безмерно. Эдика не замечаю. Симпатизирую Саше и его стихам, которые нравятся безусловной искренностью, несделанностью, что диаметрально противоположно манере (манерности) Милославского. (Впоследствии нас с Верником свяжет многолетняя переписка по маршруту Ленинград-Иерусалим и обратно. Отношения с Чичибабиным останутся весьма тесными до самого моего отъезда.)

Господи, странно-то как! Те самые Саша и Юра — ныне среди авторов такого солидного, увесистого (свыше 900 страниц!) тома, и не только в своем законном амплу стихотворца ли, беллетриста, но и в качестве мему... нет! лучше сказать по-русски — воспоминателей, так почтенности больше. А ведь Саша и Юра... Оказывается, то, что было тогда, в шестидесятых, это были не детские игрушки, не "бездельники карабкаются на Парнас" (так назывался один гнусный фельетон, тех же примерно лет, о начинающих литераторах той же генерации). А было это сотворение литературы и теперь на законных основаниях (книжища-то какая, — как свод законов) вошло — входит — в ее историю. Литературы, потому что сегодня многие тексты: и те, что представлены на страницах антологии, и те, что вышли отдельными книгами, — даже на самый взыскательный вкус, состоялись.

А теперь поговорим о текстах. Начну с Милославского, как самого неблизкого мне автора. К тому же он представлен жанрово шире, чем все его соседи по харьковскому тому. Тут и стихи, и проза, и нечто сценическое, и мемуарные очерки, и автокомментарий. И ничего не скажешь, уже само это изобилие впечатляет. Вот сказы, созданные в соавторстве с К.Скоблинским. Вопреки безоговорочному утверждению зрелого Милославского, они имеют отнюдь не только историческое значение, как образцы "черного" полуполитического самиздатфольклора. Литературе они принадлежат столько же, сколько истории. (Равно как и крохотки В.Бахчиняна, вроде той, что предпослана настоящим заметкам.)

Я небольшой любитель цензурищины. Авторы харьковского тома "Лагуны" частенько злоупотребляют этой "краской". Но, право, в сказках Милославского и Скоблинского она на месте. Без нее совершенно непредставим, например, "Лимон" — сказ о том, как путеец Григорий Харченко угощал жену лимоном.

Читаешь эти полстранички и думаешь: в какой былинной дали остались модели Зошенко, как, в сущности, идиличен его герой, нервничавший из-за того, что барышня взяла лишнее пирожное, и шипевший ей: — Ложи взад! В наше время к людям пришла состоятельность. Путеец Григорий Харченко имеет возможность и считает своим долгом (бытие определяет сознание!) подарить жене на праздник не какое-нибудь заурядпирожное, а экзотический плод юга — лимон. Но жену советского путейца лимоном не удивишь. "- А на х... мне лимон? — удивилась жена", и дальше пошло такое... Иностранцу эта сцена покажется отрывком из какой-то чудовищной антиутопии (куда там Оруэллу с Хаксли!), но мы, бывшие советские, знаем, что степень сгущения "вещества жизни", допущенная здесь авторами, не так уж и велика, а речь героев подслушана на одной из харьковских (московских, брянских и т.д.) улиц.

Ранние стихи Милославского, опубликованные в "Лагуне", меня, как и в те годы, не задевают. Они слишком пряны, слишком нагромождено в них уродливое, отталкивающее ("Кто пить умеет из горла, чтобы обратно не поперло?" и т.п.). И подчас сдается, что вся эта экспрессия — не от нутра, а от ума. Впрочем, я вовсе не хочу сказать, что ум поэту — одна помеха. В стихотворении 1967 года "Седьмое ноября" я не знаю, отчего "вопит гусак в осоке" (скорее все-таки для красного словца), но там же очень даже уместно "качанье кумачей с башками Ильичей". И хорошо начало стихотворения "Борису Чичибабину":

Перетроганный всеми руками,  
всяким кладеный на зубок,  
зажурчал по траве боками  
Ваши брошенный колобок.

Ну вот. А потом идут стихи 70-х, сочиненные уже вне России, в Израиле. О них мне судить труднее: ведь я израильтянин начинающий. И все же. Кое-что могу понять.

За столом и за пером  
вертухает с двух сторон:  
палестинским пегим прахом  
и российским смертным страхом.

Здесь есть преемственность (по отношению к себе прежнему): ну, хоть это словечко "вертухает" и изысканная небрежность выражения: "за пером". Но есть и нечто новое: значительная плотность лирического высказывания и — неожиданная для этого автора простота.

Имя Бориса Чичибабина в опусах Милославского возникает дважды: сперва (стр. 50) в мемуаре, потом (стр. 89) в стихах. Дистанция здесь не маленькая — пятнадцать лет. В 67-м, когда писались стихи, все было с пылу с жару. Кажется, вот только мгновение назад оттремела очередная перепалка между старшим и младшим поэтами. Отсюда — от неостывшего возбуждения стычки — и это "перетроганный всеми руками... Вами брошенный колобок" (в сущности, обидный упрек в общедоступности), и краснопалый упырь, нацелившийся клонуть чичибабинский колобок. А вот и прямое обращение к живому человеку: "Не хотели, а влипли в ад!" И все-таки побеждает не раздражение, не почти криминальная "переверсия", упомянутая в мемуаре, а — то ли ум, то ли любовь (какой бы она ни была странной), то ли чувство справедливости... То ли Ее Величество Поэзия на один миг заслоняет собой, растворяет в себе все случайное, временное, суетное. "Между Вашими берегами мне кружиться и выплывать" — и (перекидываю мостик к воспоминаниям): "крупнейший русский поэт нынешнего старшего поколения, высочайший "КПД поэтического слова", искусство, не боящееся искусства..."

А примерно тридцатью страницами ранее читаем: "Чичибабин, по моему мнению, был и есть нормальный рядовой советский поэт из провинции". Вот тебе и раз. Что за отзыв? Лимонова. И ведь ни о ком так обидно не написал. А о Мотриче — очень сильно ("Отец-поэт"). Чичибабин же запомнился Лимонову н и к а к и м. "На кой тебе Чичибабин? Брось ты его, Костик. Он был похож на верблюда". Ну, конечно, на верблюда. Все тот же Леша Пугачев, которого Лимонов вспоминает в связи с "омузицированием" чичибабинских "Красных помидоров" нарисовал их автора верблюдом, а потом появилось стихотворение "Верблюд", начинающееся строчкой: "Из всех скотов мне по сердцу верблюд..." А у Лимонова, видать, вкусы другие. Имеет право.

Любопытно, что Лимонов как бы разрешает Милославскому иметь о Чичибабине "куда более сентимент. воспоминания", а Милославский этим "разрешением" как бы пренебрегает. Его воспоминания отличаются жесткостью, иной раз беспощадностью. Но есть и другое. Например, описывает Милославский, как он впервые услышал (именно услышал, а не прочитал) "Красные помидоры" — и, кстати, это было вообще его первое знакомство с именем Чичибабина и его текстом. Цитирую:

— Ты Чичибабина знаешь? — спросил Шумицкий.

— Нет.

Тогда превратилась комсомольская морда — в человеческую и подала мне тайну.

(Далее приведены два четверостишия из "Помидоров".)

Очень хотелось бы мне вспомнить, — что я тогда сообразил. Но что-то сообразил, хотя, в основном, воспринял "хорошие рифмы" и "анти-сталинскую направленность": мне-то было семнадцать, а Чичибабин — поэт для взрослых..."

Воля ваша, нет тут и следа "сентимент. воспоминаний". А только — ум, зоркость, благородная сдержанность.

Очерку Милославского предшествует в "Лагуне" мемуар другого чичибабинского студийца — Александра Верника. Вот здесь хватает сентиментов — может быть, потому, что и автор характером помягче, и связывали его с его героем иные узы. Милославского Чичибабин, как говорится, на дух не переносил. Верника взял под свое крыло. Несмотря на разницу лет, они дружили, покуда Верник не собрался в отрыв. Но главное: Верник "застрял" в стихах Чичибабина — и не только в качестве объекта посвящения. Это уж, точно, говорит о многом.

Впрочем, дело не в одних сентиментах. Верник вообще все как-то по-иному вспоминает. В отличие от Милославского и тем более Лимонова, он очень аккуратен в изложении фактов. (Единственная допущенная им фактическая ошибка, что студию Чичибабина закрыли в 1968 году. На самом деле это случилось в январе 1966-го.) С другой стороны, если Милославский постоянно держит себя в руках, дабы не растечься мыслью по древу, Верник дает себе полную волю. Он говорит и о том, и о другом: и "вокруг" Чичибабина, и даже — "помимо". Ему то и дело хочется отвлечься от главного предмета воспоминаний. Не потому, разумеется, что предмет его мало интересует, а потому, что хочется дать фон пошире: и ради самого фона (ведь и фон — это люди, и все они достойны быть упомянутыми), и во имя захвата как можно большего клубка связей героя с окружающим. "Так сладко говорить о них. Только не ко времени. Но дай-те лишь повод: все — прошлое, все — Харьков, все — Чичибабин".

У Верника (как и у Милославского) есть свои претензии к Чичибабину. Но опять-таки: высказаны они в другом регистре. Милославский едок и безжалостен, как прокурор, Верник же горестен, избегает о б в и н е н и й: он только у п р е к а е т. И хотя общая оценка поэтического дара Чичибабина у обоих мемуаристов совпадает, и здесь сказывается разница в подходе и темпераменте. Если выводы Милославского подчеркнuto объективны, то Верник, боясь окончательно "распуститься", "передает слово" Мандельштаму (а затем Межирову). Ну да, лучше Мандельштама разве скажешь: "Вот уже четверть века наплываю на русскую поэзию... Вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе..."

А кстати, сколько времени наплывает на русскую поэзию Борис Чичибабин? Уже почти полвека!

В целом, сопоставляя три мнения о Чичибабине, три вердикта трех разных судей, в свою очередь приходишь к выводу, что такой способ знакомства с литератором вполне себя оправдывает. Когда-нибудь (пусть это будет как много позже) эти странички из "Лагуны" приобретут неоценимое значение. Как памятник поэту...

А сейчас о другом. "Черный" полуполитический самиздат-фольклор, — помните выражение Ю.Милославского? Там у него дальше (в эссе "Черный смех") сказано: "Покуда приходится счесть "черные" эпиграммы — фольклором: изустность распространения, отсутствие авторства, обилие вариантов. А если найдется кто — претендующий, то пусть и доказывает..." Однако и сам автор этих строк — претендующий. Я уже говорил об его сказах, есть и рассказ — "Смерть Манона", тоже нечто вполне черное и достаточно политическое. Отбросим в формуле Милославского слово "фольклор" и пристальнее всмотримся в прозу как самого Милославского, так и Лимонова и Бахчиняна. Проза эта — тоже своего рода памятник, памятник временам и нравам. И вместе осиновый кол в могилу окончательно сгнившего коммунистического режима.

Когда Милославский в том же "Черном смехе" сравнивает советский и американский анекдоты конца 70-х (не в пользу последнего), он отчасти ерничает, забавляется. Но, с другой стороны, сами темы (если можно так выразиться) анекдотов не свидетельствуют ли о некоем стерильном благополучии в одной сверхдержаве и, напротив, страшном одичании в другой. Все эти скабрёзности, которые с таким тщанием (почти нежностью) отбирает и преподносит Милославский и с еще меньшей разборчивостью Лимонов, — все они пропитаны политикой, хотя, казалось бы, какая связь между политикой и физиологией. Но, перефразируя кого-то из великих немцев, можно сказать, что физиология есть продолжение политики, только другими средствами. Кстати, этот пассаж, в его классическом варианте (война — продолжение политики), случалось цитировать Ленину. И, помоему, у Ленина-то я его и нашел. Политика принадлежит Ленину. А искусство? "Зарезали Шамиля после танцев в саду имени Крупской" ("Смерть Манона"). Что-то не припомню я такого сада в Харькове. Парк Горького, Лермонтовскую и Пушкинскую — знаю, а сад имени Крупской... (В общем, и природа и м принадлежит.)

Пожалуй, в "Смерти Манона" политики даже слишком много. Хладнокровие и выдержка иногда изменяют автору, да и не мудрено: ведь в каком-то смысле он находится в положении одного из своих героев — того самого, в рот которого Манон "отлил". Только Черепу пришлось вытерпеть эту операцию однажды, а партия и правительство развлекались таким манером долгие годы и десятилетия.

Не стану скрывать: "Смерть Манона" при первом прочтении меня шокировала. Что же тогда сказать о фрагменте из книги Э.Лимонова "Подросток Савенко" — истории зверского изнасилования двух девушек группой хулиганов? Если бы я не знал похожей — и тоже харьковской — были, вряд ли был бы способен прочесть эти восемь страничек, "под завязку"

набитых отвратительными подробностями жуткой расправы. Можно ли оценить такую вещь с точки зрения эстетики? Иными словами, искусство ли это (вопрос, не раз возникающий при чтении харьковского тома "Голубой Лагуны")? Боюсь сбиться на советские критерии. Справедливо обвинить Лимонова в смаковании мерзости, в том, что он находится внутри созданной им картины действительности, не поднимаясь над нею ни на дюйм? Справедливо поставить на вид автору, что он не пытается отделить свет от тьмы и вместо этого только увеличивает массу тьмы на этой и без того грустной планете? Справедливо и — несправедливо. "Грешен лишь тот, кто сознает свой грех" (Абеляр). Лимонов — не сознает. Он столько же "черен", сколько и "бел". Вот такую жизнь он наблюдал с младых ногтей. Другой — не видел. Не представляет. (Теперь-то, надо полагать, и видел, и представляет.) "И так вот все мужчины и женщины на Салтовке, и в Харькове, и в мире лежат вместе и делают так. И так, наверное, Светка делает с Шуриком. <... >

И что же, так и Светка делает? — спрашивает себя с ужасом Эди. — С Шуриком? А должна бы со мной, — растерянно думает Эди. Ему становится страшно".

Есть большой соблазн увидеть здесь искомый просвет. Дескать, вот, герою (а герой неотличим от автора, даже имя его носит) все-таки страшно. Но не надо обольщаться. Страшно ему не за человечество, а только за самого себя. "Впервые за всю его жизнь Эди вдруг ясно видит, что в конкурентной борьбе зверей мужского пола у него х... изначальные данные, чтобы выиграть". Если это и прозрение, то не в свет, а в еще большую тьму.

Политика это или не политика? Думайте, как хотите. Только обратите внимание на такой штришок. Кузьминский помещает лимоновский текст в качестве и л л ю с т р а ц и и (выделено Кузьминским), дополняющей картинки (определение Кузьминского) к репортажу журнала "Крокодил" о замечательном почине работников харьковского общепита по вытеснению питейных заведений безалкогольными "чистенькими" кафе (очередное образцово-показательное фуфло тех лицемерных лет). Ах, возросший духовный уровень, умиляется корреспондент "Крокодила" (а "Крокодил", между прочим, журнал сатиры и юмора), ах, город станет еще светлее. — Вот тебе, сука, духовный уровень! — оскаливаются малопривлекательные персонажи Лимонова. Оскаливаются? Нет, разумеется. "Крокодил" сам по себе, а они сами по себе...

И наконец, Вагрич Бахчанян, "Бах" — неистощимый универсальный "Бах", существо "смехопитающее" и "смехосозидающее". Вот где истинное раздолье ее препюхавию политике!

"Каждый второй харьковчанин пишет стихи, каждый третий рисует, каждый пятый — физик, каждый шестой — стукач".

"При въезде в Харьков на мраморной плите (100 на 120 метров) золотом написаны известные слова Маркса (он учился в Харькове): "Пойдите и посмотрите, хотя бы только для того, чтобы сделать мне приятное".

Высеивается все и вся, но как-то беззлобно, светло. Почему? Я думаю, потому, что, в отличие от Милославского и Лимонова, "Бах" — человек абсолютно свободный. Это качество природное, редкое и — крайне неприятное для тех, кто хочет завладеть не только мыслями людей, но и отравить их кровь. "Бах" — Ванька-Встанька: его не положить на лопатки. Его веселья хватает даже на такую унылую фигуру, как Маркс, который изрекает у него нечто в высшей степени легкомысленное. У него даже стукач — какой-то домашний: ну что вы хотите, профессия не хуже других, и не так уж их много — меньше, чем физиков. А какие смешные "стихи на рисунках"! А чего стоит хотя бы этот вот "коллаж из Маяковского": "Я волком бы выгрыз только за то, что им разговаривал Ленин!"

Как я сожалею, что не знал "Баха" в Харькове! Мне кажется, что, зная его, вся моя жизнь была бы здоровее и меньше зависела от закона всемирного тяготения. Не припомню за последнюю четверть века такого остроумца и потешника, как Вагрич Бахчанян. Войнович, по-моему, тяжеловат в сравнении с "Бахом". Жванецкий слишком профессионален. Разве что Зиновьев, да и то ранний ("Зияющие высоты").

Итак, выясняется, что у нас (в Харькове) была не только великая эпоха ("У нас была великая эпоха" — название одной из вещей Лимонова), но и настоящая литература. Настоящая не только в том смысле, что она оказалась насыщенной и содержанием, и умением, но и в том, что она была — богатой. Я-то, по незнанию, полагал, что в Харькове есть один Чичибабин, а остальное — Союз писателей. Студийцев чичибабинских — Верника, Милославского — я всерьез не принимал: литературные мальчики. А мальчики-то выросли и стали настоящими писателями. Ошибся. Каюсь. Белинского из меня не вышло.

У Кузьминского основной принцип: "Печатаю, потому что нашел. А потом — РАЗБЕРЕМСЯ" (стр. 646). Правильный принцип, если учесть, сколько русских талантов погибло в этом веке. Благодаря этому принципу мы имеем возможность постичь истинные размеры того континента, который именуется русской Литературой XX века. То, что считалось (полагалось считать в сталинско-хрущевско-брежневской России) навеки отлитой формой, на поверку оказалось грудой развалин, не представляющих ни архео-, ни антропологического интереса. Зато проступили контуры каких-то других сооружений, и вся картина волшебным образом преобразилась. Не перестройка, а восстановление — вот суть процесса, в котором участвуют все, кому небезразлична судьба русской литературы. Кузьминский и Ковалев — коренники в этой езде в незнаемое и забытое, которое должно стать известным и вспомненным.

## ОБ АВТОРАХ НОМЕРА

*А.Добрович (Ришон-ле-Цион) — психолог; поэт и писатель, автор ряда научно-популярных книг и многих статей.*

*С.Гринберг (Иерусалим) — поэт, автор нескольких поэтических сборников.*

*Д.Юст (Бейт-Эль) — псевдоним.*

*Л.Улицкая (Москва) — генетик; автор нескольких пьес и ряда киносценариев.*

*С.Рузер (Иерусалим) — докторант Еврейского университета (кафедра иудаики); писатель и переводчик.*

*Е.Макарова (Иерусалим) — писательница, автор нескольких книг прозы.*

*Э.Норден (США) — журналист, автор статей на еврейские темы.*

*Л.Кельберт (Иерусалим) — кинорежиссер и журналист.*

*Р.Алтер (США) — профессор Колумбийского университета, специалист по еврейской и израильской литературе.*

*Лег Оф (Хайфа) — псевдоним.*

*В.Файвишевский (Бат-Ям) — психолог, доктор медицинских наук.*

*Бен-Барух (Иерусалим) — псевдоним.*

*Л.Ниттхаммер (ФРГ) — немецкий философ и публицист.*

*Д.Сливняк (Ариэль) — журналист, сотрудник израильской газеты "Звенья", автор статей на общекультурные темы.*

*М.Копелиович (Маале-Адумим) — литературовед.*

---

В последние месяцы журнал поддерживали пожертвованиями следующие лица: Анер А. (Холон) — 40 шек., Богданов Е. (Реховот) — 10 шек., Бегун Н. (Кирият-Арба) — 20 шек., д-р Брук З. (Хайфа) — 20 шек., Гинзбург Э. (Беер-Шева) — 30 шек., Кроль Н. (Ришон ле-Цион) — 30 шек., Кешет И. (Хайфа) — 100 шек., Костяновский А. (Кирият-Ям) — 50 шек., Лихтерев Э. (Иерусалим) — 20 шек., Липкинд М. (Шеарей Тиква) — 15 шек., д-р Мучник Г. (Хайфа) — 20 шек., Минц И. (Кфар Саба) — 25 шек., Фабрикант Л. (Иерусалим) — 50 шек., Бильдгрубе Г. (США) — 25 долл., Заубер Е. (США) — 10 долл., Эфрос А. (США) — 25 долл., Цукерман Л. (США) — 10 долл., Шварцман Л. (США) — 60 долл. Редакция выражает глубокую признательность этим друзьям журнала.



**Главный редактор — РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН**

*Редакционная коллегия:*

**В.БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н.ВОРОНЕЛЬ,  
Н.ГУТИНА, Э.КУЗНЕЦОВ, Ю.МЕКЛЕР,  
М.ХЕЙФЕЦ, Я.ЦИГЕЛЬМАН, И.ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией — Мирьям БАР-ОР  
технический редактор — Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять по адресу:  
"22", п/я 44050, Тель-Авив 61440.  
Телефон редакции — 03-394525*

**Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.**

Стоимость годовой подписки в Израиле 100 шек., для организаций — 110 шек., за рубежом — 75 долларов (авиапочтой в Европу — 85, в США — 90 долларов), для организаций — 95 долларов (включая почтовые расходы).

**Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране — 60 шекелей (с рассрочкой в два платежа).**

*Отвергнутые рукописи не возвращаются  
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

---

---

### **ПОДПИСНОЙ ТАЛОН**

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с № .....  
Прилагаю чек (чеки) № ..... на сумму .....  
Журнал прошу выслать по адресу .....  
.....  
(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)  
Жертвую в фонд журнала .....  
..... (фамилия)  
Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050

